РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ–АПРЕЛЬ

БИБЛИОТЕКА
Общественно-
политического центра

"НАУКА"

МОСКВА – 1997

СОДЕРЖАНИЕ

О.Н. Трубачев (Москва). Мои воспоминания о Никите Ильиче Толстом 5
Н.И. Толстой. Slavia Orthodoxa и Slavia Latina – общее и различное в литературно-языковой ситуации (опыт предварительной оценки) 16
В.Л. Янин, А.А. Зализняк (Москва). Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1996 г. 24
Е.Э. Бабаева, А.Ф. Журавлев, И.И. Макеева (Москва). О проекте "Исторического словаря современного русского языка" 34
В.Г. Гак (Москва). Типология аналитических форм глагола в славянских языках (Иррадиация и конкатенация) 47
Н.Д. Арутюнова (Москва). О стыде и стуже 59
Т.И. Вендина (Москва). К проблеме центрального и маргинального ареалов Славии 71
А.А. Плотникова (Москва). Семантический подход к описанию терминологии южнославянской обрядности 77
В.Б. Крысько (Москва). Verba pretii в истории русского и других славянских языков 90
Е.В. Падучева (Москва). Родительный субъекта в отрицательном предложении: синтаксис или семантика? 101
О.А. Лаптева (Москва). К формально-функциональному моделированию системы устно-разговорного синтаксиса 117
Т.А. Михайлова (Москва). К "грамматике" заговора (о словесной магии в древнеирландской поэтической традиции) 132
Т.В. Топорова (Москва). Индоевропейские параллели древнегерманских заговоров 142
Н.А. Замятина (Москва). Из истории изучения иконных надписей 150

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Г.Ф. Благова (Москва). Периодизация литературных тюркских языков в архивных работах академика А.Н. Самойловича 160
VII*. А. Самойлович. О среднеазиатско-турецком литературном языке и его отношении к другим турецким языкам. Петроград 1917 165

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

А.В. Юдин (Одесса). Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах 169
В.В. Усачева (Москва). *Ласло Дэжё*. Деловая письменность русинов в XVII–XVIII веках. Словарь, анализ, тексты 174
Т.И. Вендина (Москва). Лексічны атлас беларускіх народных гаворак (Т. 1–5) 176
В.М. Мокиенко (С.-Петербург). Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей 181
А.Ф. Журавлев (Москва). Новгородский областной словарь 185

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов (отв. секретарь), *Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев, О.Н. Трубачев* (главный редактор), *А.М. Щербак*

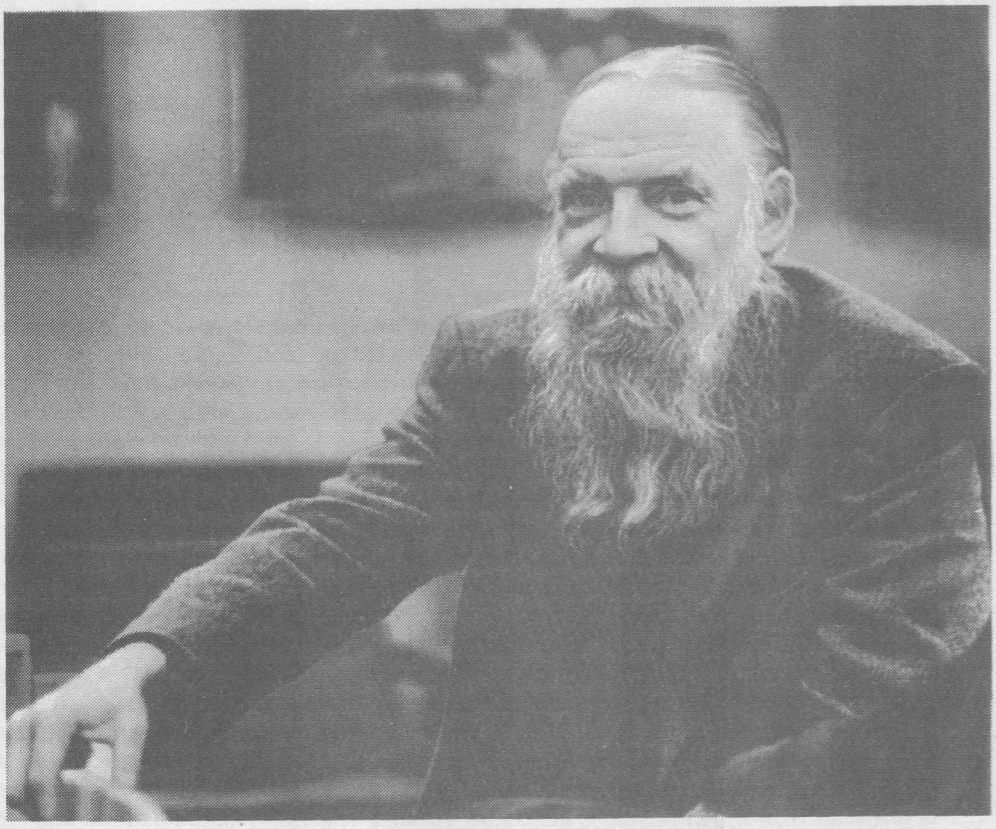
Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строкова*

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"

Тел. 201-74-42

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1997 г.



НИКИТА ИЛЬИЧ ТОЛСТОЙ

(15 апреля 1923 г. – 27 июня 1996 г.)

Никита Ильич Толстой обладал двумя родовыми свойствами выдающегося ученого и крупной личности: он был предсказуем и неожидан. Предсказуем, потому что его научная деятельность и жизнь были организованы естественными и ясными идеями. Неожидан и абсолютно интересен, потому что его ошеломляющие познания, научная глубина и человеческая проницательность позволяли ему видеть то, что скрыто от простых смертных глаз.

Никите Ильичу Толстому

посвящается

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О НИКИТЕ ИЛЬИЧЕ ТОЛСТОМ

Моим воспоминаниям о Н.И. Толстом уже много лет. Знакомство наше и общение, имевшее место первое время почти исключительно в стенах тогдашнего Института славяноведения АН СССР, восходит к началу пятидесятых годов. Вспоминается, например, одно заседание сектора славянского языкознания, руководимого нашим общим учителем, Самуилом Борисовичем Бернштейном. Институт занимал несколько комнат в третьем, кажется, этаже академического здания на улице Волхонка, 14, заседание происходило в институтской библиотеке, дело было в 1953 году. К сожалению, воспоминания обрывочны, на секторе обсуждались какие-то проблемы, люди выступали, и вот там, скорее всего, впервые я видел и слышал Толстого. Он тоже выступал и что-то говорил – молодой (тридцать лет), высокий, худощавый, задолго до появления своей толстовской бороды. Живые глаза, приветливый, склонный к контакту ("контактный", как говорят сейчас), расположенный к улыбке и шутке, – таким он запомнился и таким оставался всегда, до конца жизни. Первые впечатления оказались не только стойкими, но и удивительно верными: я и позднее не встречал, пожалуй, ни в ком столь располагающей, дружелюбной свободы человеческого общения, отзывчивости, готовности всегда и во всем помочь. Остается добавить, что дам неизменно покоряла эта его красивая старомодная галантность, умение преклонить колено и поцеловать ручку и все это – непринужденно, полушутливо, с тактом, все – как положено настоящему, живому русскому comme il faut, с которым мы имели честь общаться в его лице.

Этот цельный образ распространяется и на все последующие годы, но память возвращается к ранним воспоминаниям, особенно дорогим, потому что им – сорок или почти сорок лет.

Знавшие Толстого, думаю, согласятся, что он обладал в выдающейся степени чувством самоиронии и что с годами эта черта в нем даже усилилась, – явный признак крупной личности и широкой натуры. Эта способность судить о себе с усмешкой и критично, безусловно, оставила по себе теплую память у его друзей. Один штрих – из времени приблизительно 1954 года после его работы над кандидатской темой о кратких и полных прилагательных в старославянском языке. Приверженность молодого слависта этой действительно узловой проблеме, а также, возможно, проявленное нежелание с ней расстаться вызвали критическую реплику руководителя диссертанта, которую сам Толстой потом охотно повторял в разговоре: по его словам, Самуил Борисович предостерегал против навязчивой ассоциации типа "Толстой и прилагательное". Возникающий при этом смешной лингвистический каламбур сам Никита, естественно, не без удовольствия обыгрывал, поскольку фамильное имя *Толстóй* – генетически прилагательное (прозвище), отличающееся своим архаизмом (ударение) от современной стандартной формы – *тóлстый*. Правда, этот шутливый пассаж разговора Толстой заканчивал уже совершенно серьезно, как бы оправдывая свою невольную верность теме: "Ведь так важно знать проблематику". И в этом был весь Толстой, так что ошибется тот, кто в его постоянной самоиронии, усмешке в собственный адрес вздумал бы увидеть только проявление легкости, тем паче – легко-

весности, хотя порой казалось, что он сам провоцирует именно такое восприятие, например, рассказывая, как он увлекся структурализмом "по легкомыслию". Эти, в частности, его рассказы восходят ко временам IV Международного съезда славистов в Москве 1958 года. Тогда в значительной части нашей лингвистической общественности царил определенный энтузиазм по поводу структурных методов изучения языка, проблемы машинного перевода с большим подъемом обсуждались с трибун славистического съезда. Кстати, Толстой принимал самое активное участие в организации и проведении московского съезда славистов. Но, возвращаясь к структурализму и позиции Толстого, следует отметить глубоко серьезную и личную продуманность, которая привела его потом к собственной постановке проблем структурной типологии лексики и семасиологии. Конечно, можно соглашаться или не соглашаться с основополагающей структуралистской идеей изоморфизма языковых уровней и опытов "фонологизации" всех нефонологических уровней, в частности семантического (десемантизация – семантизация – транссемантизация), можно не разделять полностью анализ семем как составленных из элементарных сем, но когда и то и другое выполнено с таким пристальным учетом диалектологии и лингвистической географии и с таким знанием добротного фактического материала, как это имеет место у Толстого, ясно, что перед нами серьезное исследование (исследования), требующее серьезного чтения и отношения. Вообще – чтобы "покончить" с этим экскурсом в структурализм в настоящих мемуарных и вынужденно обрывочных записках прежде всего о личности Толстого, следует спокойно признать (необходимая для этого временна́я дистанция уже представляется достигнутой), что в каждом из нас, хоть, наверное, в разной степени, засели зерна структурализма, непротиворечиво согласующиеся с исследовательской практикой (оппозиции всякого рода, нейтрализация оппозиций, etc.), и было бы неблагодарностью отрицать это.

Но интересная тема самоиронии Толстого еще далеко не исчерпана, поэтому – еще один штрих, тоже памятный мне тем, что рассказан самим Никитой. Дело было опять-таки давно, никак не позже 1960 года. Предысторией послужило то, что Толстой, родившийся и выросший в Югославии, Сербии, вывез оттуда превосходное практическое знание сербского языка. И вот как-то раз С.Б. Бернштейн на своем секторе, видимо, в ходе какого-то живого обсуждения, заявил, что Толстой не знает сербского языка, вызвав шок в слушателях (слушательницах): "Как же так? Никита знает сербский язык..." – на что Самуил Борисович, по-своему резонно, отвечал: "Знать язык значит знать его историю и диалектологию". Замечательно, что молодой Толстой рассказывал об этом с выраженной готовностью признать правоту этого сурового, но, применительно к исследователю-лингвисту, справедливого мнения: практического знания языка недостаточно, более того – профессиональному лингвисту оно необходимо далеко не в первую очередь. Ну, и еще один штрих, почти мимолетный жест, позволяющий судить, что Толстой сохранил эту человеческую черту до последних лет жизни. Преподнося дружески свою книгу 1988 года "История и структура славянских литературных языков", он как бы шутя обмолвился: "Можете, не читая, выбросить" (!). И эти озорные слова небрежно обронены о книге, за которой стоит более чем двадцатилетний опыт поисков по истории древнеславянского литературного языка и его отдельных славянских идиомов, – книге, ломающей въевшиеся представления об однодиалектной базе литературных языков, более того – об "искусственной" природе этих языков, и расчищающей дорогу для концепции о междиалектности и наддиалектности литературных языков, иными словами, в теории литературных языков трудно назвать аспект более актуальный и подход более незаурядный. Воистину, если кто вообще имел право так иронизировать, то только сам автор о своем детище, да и то едва ли.

Впрочем, этот ряд так и нельзя считать замкнутым, закрытым; он шутил над собой до конца (каков в колыбельку, таков и в могилку...). Задуманный, возглавляемый и осуществленный под руководством Н.И. Толстого том 1 этнолингвистического словаря в пяти томах "Славянские древности" [*(А-Г)* Москва, "Международные отношения",

1995] был передан мне с дорогой для меня дарственной надписью: "...от Никиты сей первый блин". Но не комом вышел первый блин, нет, не комом, и можно было бы заслуженно долго говорить о самобытности также пути, приведшего Толстого в лексикографию, но не станем делать этого здесь, да это и трудно: перед нами не только фундаментальный, но и интердисциплинарный, выходящий за рамки языкознания в этнографию, этнологию, историю культуры словарь слов-понятий "Ведьма", "Веник", "Венок", "Верба", "Верх–низ", "Веселье", "Ветер", "Вино", "Вол", "Волк", "Ворота", "Восток–запад", "Время" и др. Уже простое перечисление этих словарных позиций, за которыми на каждом шагу стоит авторское участие самого Н.И. Толстого и его соратников по созданию новой отрасли славяноведения – славянской этнолингвистики и среди них ближайшей к Н.И. Толстому – Светланы Михайловны Толстой, действует внушительно. Можно только грустно порадоваться, что по причине избранной нами в нашем Этимологическом словаре славянских языков латинской транскрипции словарный отрезок на *V*- ждет нас (или наших продолжателей) далеко впереди и весь кладезь материала на *B*- этнолингвистов-толстовцев еще будет использован и осмыслен в нашем собственном словаре...

Я не дерзну отнести себя к числу ближайших друзей Толстого, были, наверное, и ближе, и их было всегда много вокруг этого человека, обладавшего даром привлекать к себе людей. Но несомненный факт дружбы между нами, в общем редко и мало чем омрачавшейся, а главное – оставившей неизгладимый след в моей жизни, стоит того, чтобы сказать об этом особо. Начну, пожалуй, с конца, с нашей последней с ним встречи.

...Уже в канун нового, 1996 года, стало известно, что Толстого положили в больницу – в одну, потом – в другую, диагнозы были противоречивыми, время шло, настраивало все это невесело. Но в конце марта Толстой вдруг появился на годичном собрании нашего Отделения литературы и языка, и было это воспринято – мной, по крайней мере (может, по незнанию действительно серьезной ситуации), как добрый знак. Он к тому времени сильно потерял в весе, но одновременно казался бодрым – не знаю, возможно, только казался. Я подошел, мы обнялись по старой привычке, я что-то ему говорил о 22-м выпуске своего Словаря, которого, к сожалению, с собой не захватил, не зная, что встречу его, а он – он говорил о настоящей мужской дружбе, для последней встречи (а встреча оказалась, повторяю, последней) – слова самые главные.

В конце концов он был щедр на дружеские проявления к очень многим. Ценя и любя книгу, будучи настоящим библиофилом и собирателем богатой славистической библиотеки, он и тут готов был поделиться последним. Мне памятен его рассказ, как в дни IV съезда славистов в Москве он подарил одной малоизвестной английской славистке, Элизабет Хилл, **всю** свою коллекцию курсов славянской палеографии разных авторов. "Второго такого собрания я больше никогда иметь уже не буду", – говорил он потом. Эти книжные дары сочетались у него с чутко улавливаемой потребностью другого именно в **этой** книге, как, например, случилось со мной, в пятидесятые годы – начинающим славистом-этимологом, который был несказанно обрадован и тронут, вдруг получив антикварный экземпляр этимологического словаря болгарского языка Ст. Младенова (София, 1941) в дар от Никиты Толстого, вернувшегося из диалектологической экспедиции в Болгарию.

Его знали и любили очень и очень многие, он был популярен и у нас, и в разных странах, в первую очередь, разумеется, в славянских. Какую-то роль играло при этом прямое родство с великим Толстым, но сводить все только к нему было бы ошибочным упрощением. Вот два конкретных примера на эту тему; оба воспоминания связаны с Польшей. ... 1973 год, VII Международный съезд славистов. По вестибюлю перед актовым залом Варшавского университета ходит размеренными шагами Ежи Курилович. Встретившись со мной (мы познакомились в 1962 году, во время первого моего выезда в Польшу), он обращается ко мне с единственным вопросом – внук или правнук Льва Толстого Никита Ильич Толстой. Второй случай, пожалуй, колоритнее. В 1980 году

нам с Г.А. Богатовой случилось посетить пожилого уже Б. Сыхту, получившего широкую известность благодаря изданному им богатейшему, многотомному "Словарю кашубских диалектов на фоне народной культуры". Этот старенький католический ксендз, доживавший последние годы жизни в заштатном городке Пельплин под Гданьском и заинтересовавший нас своей уникальной словарной практикой (похоже, весь свой фундаментальный словарь он создал **без всякой картотеки**), в свою очередь, живо интересовался Толстым как лексикологом-этнолингвистом, но делал он это в склеротически забывчивой манере, неоднократно на протяжении нашего разговора повторяя один и тот же вопрос и получая на него, естественно, один и тот же ответ: "A czy jest w Moskwie, proszę pana, taki pan profesor Tołstoj?" – "Tak jest, znam go osobiście, on jest własnie moim przyjacielem...". После короткой паузы – опять так же оживленно: "A czy jest w Moskwie...".

Надо ли говорить о том, как его любили и привечали в родной ему Югославии, причем, кажется, не в одной только Сербии, его родине. Тесные связи он поддерживал и с хорватскими коллегами и со славистами остальных югославских республик. Здесь нельзя не упомянуть об одном казусе в дни VIII съезда славистов в Загребе 1978 года, о котором сам Толстой, смеясь, рассказывал во время одной тогдашней нашей встречи. Видите ли, загребские слависты отнеслись настолько серьезно к приезду Толстого, что даже поспорили, кому из них его встречать, а в результате никто его не встретил вообще. Невольно приходит в голову bon mot И.Н. Голенищева-Кутузова, прожившего часть жизни, как и Н.И. Толстой, в русской эмигрантской среде в Югославии: "Русские по неорганизованности были бы на первом месте в мире, если бы не было югославов...". Нет, они очень любили и почитали Толстого, одна из ведущих газет страны даже вышла во время загребского славистического съезда с аншлагом: "Tito u Ljubljani, Tolstoj u Zagrebu", то есть пребывание Толстого в Загребе ставилось в одну строку с визитом тогдашнего президента тогдашней СФРЮ И. Броз-Тито в Любляну...

Упоминание об Илье Николаевиче Голенищеве-Кутузове, видном филологе-литературоведе, близком Н.И. Толстому и семье Толстых, тесно увязывается в моей памяти, скорее, с гораздо более ранним, IV, московским, съездом славистов и временем, непосредственно ему предшествовавшим[1], когда я, как и другие рядовые сотрудники, был в авральном порядке привлечен к участию в подготовке IV МСС и порой беспорядочно толклись в номере гостиницы "Метрополь", отведенном под штаб оргкомитета, – научные сотрудники, функционеры иностранного отдела Президиума АН СССР вперемешку с работниками КГБ (или МГБ?). С благодарностью храню память о том, как меня, человека молодого и нервно-резковатого, Толстой оберегал от бесцеремонной нахрапистости чиновников иностранного отдела, подчеркивая, что я – "без пяти минут кандидат наук". Ну, словом, в этот штаб, где я маялся, люди входили и выходили, бывал там и Голенищев-Кутузов, привлеченный для встреч прибывающих зарубежных славистов, на которые ездили и Н.И. Толстой (временами даже с отцом, Ильей Ильичом Толстым), ездил и я. Тема эпохального IV МСС – огромная, съезда, для нас, научной молодежи, принесшего общение с еще живыми корифеями науки – Р.О. Якобсоном, М. Фасмером, А. Мазоном, А. Вайяном, А. Стендер-Петерсеном, Б. Гавранеком, А. Беличем, Т. Лер-Сплавинским, Э. Петровичем и другими, из наших – В.В. Виноградовым, эта тема заслуживала бы особого разговора и мемуарного изложения. Но сейчас мой рассказ о другом. Продолжая выделять толстовскую тему, повторю лишь, что съезд (или его подготовительные кулуары) свел, познакомил меня с Ильей Ильичем Толстым, недавно (в 1957 году) издавшим свой "Сербскохорватско-русский словарь", а за годы подготовки съезда (заседание Международного комитета славистов в 1956 году) мне удалось впервые с участниками МКС посетить толстовскую Ясную Поляну.

---

[1] К большому моему сожалению, возможен как бы взаимонаплыв воспоминаний о подготовке IV МСС и заседания МКС 1956 года (см. ниже).

Одно из ярких впечатлений дружеского общения оставила теплая многолюдная встреча на квартире Толстого в 1957 году, летом. Он тогда жил еще не на Большой Ордынке, а по другому адресу. Друзей-товарищей собралось довольно много, но я сейчас уже не очень твердо помню всех участников: из старших были уже упоминавшийся И.Н. Голенищев-Кутузов и, кажется, С.К. Шаумян, а из тогдашней лингвистической молодежи – В.К. Журавлев, Л.А. Гиндин, В.Н. Топоров, Вяч.Всев. Иванов, из иностранцев, если не ошибаюсь, – Славомир Вольман из Праги, больше – не помню. Атмосфера была, повторяю, теплая, Альберт (Кондратьевич) Кошелев веселил компанию песнями под гитару. Засиделись далеко за полночь и расходились, шли группой по тихой Москве уже на рассвете, часа в три утра. О чем говорили в столь долгой беседе – все осталось за пеленой времени... Лишь сохранилось прочно в памяти это впечатление чего-то неповседневного и интересного. Второй раз я был в этом доме у Толстых еще в 1960 году, зимой. Была как бы встреча с Ф.В. Марешем, приехавшим еще из Праги, были также отец и мать Никиты Ильича. Но главное, о чем не забыть сказать, это крупные для меня события в моей жизни и крутые перемены, случившиеся примерно около этого времени, состоявшиеся, это хочется всячески подчеркнуть, благодаря дружескому участию Толстого.

Хотя я продолжаю думать, что идея или инициатива перевода и издания у нас русского Фасмера определенным образом восходит к инициативам московского съезда славистов, все же она стала мне известна лично от Толстого в виде предложения взяться за этот перевод. Предложение было связано с Издательством иностранной литературы (позднейший "Прогресс"), где редакцию языкознания возглавлял В.А. Звегинцев, который скорее всего тогда не подозревал о моем существовании, значит, благая мысль привлечь меня для этого дела целиком принадлежит Толстому. Надеюсь, я не подвел Толстого, и русский Фасмер мной был исполнен за два с небольшим года (четырехтомник издавался "Прогрессом" в первом издании долго и неповоротливо, почти десять лет, во втором издании – в 1986–1987 годах, а совсем недавно, в 1996 году, словарь вышел третьим, фототипическим, изданием в петербургском издательстве "Азбука"). Я не буду распространяться о том, как и сколь напряженно я работал, воспоминания об этом мной в свое время уже были опубликованы на страницах "Вопросов языкознания". Здесь хочется добавить личное, не высказанное в тот раз. Добрый Никита, уговаривая меня взяться за это дело (разговор конца 1958 – начала 1959 года) и заботясь о том, чтобы трудности и объемы меня не отпугнули, рисовал картину примерно так: "Олег, вы ведь можете этим заниматься просто вечером, за чаем...".

А весной 1961 года, когда огромная машинопись русского перевода "Этимологического словаря русского языка" Макса Фасмера, с дополнениями, была готова, заполнила целый чемодан и в таком виде отвезена и передана В.А. Звегинцеву, я уже начинал работать в другом академическом учреждении – Институте русского языка. Я пришел в Институт с созревшим и обдуманным планом – организовать работу по созданию у нас впервые этимологического словаря славянских языков. Это был правильный шаг, и за многие истекшие с тех пор годы я ни разу не пожалел об этом переходе. Выполнить задуманное можно было, лишь пойдя на прямой контакт с академиком В.В. Виноградовым, организатором (с 1958 года) и тогдашним директором Института. Я был, мягко выражаясь, "не вхож" к В.В. Виноградову, но тут мне помог Толстой, достаточно близкий к Виктору Владимировичу, и чрезвычайно облегчил мою задачу, после того, как, проникшись моими интересами и замыслами, которыми я с ним откровенно поделился, немедленно отправился с этой миссией к Виноградову. Тот откликнулся положительно, и моя судьба была решена. Надо ли говорить, что всякий раз, когда я возвращаюсь мыслью к этому поворотному моменту своей судьбы, я испытываю чувство самой глубокой признательности к Никите Толстому – за дружбу, за проявленное понимание, за дипломатичность. Но о дипломатичности (тема при разговоре о Толстом тоже не последняя) – потом. Между прочим, именно Толстой

помог мне советом при комплектации самого первоначального состава сотрудников группы Этимологического словаря славянских языков, порекомендовав взять Л.А. Гиндина, с которым мы потом работали вместе добрый десяток лет.

Так завязалась, практически с тех еще ранних лет, эта дружба двух коллег, двух научных работников, в которой непродолжительные встречи и контакты сменялись периодами заочного обмена публикациями, иногда – телефонными звонками, участием в общих мероприятиях. Мне приятно вспомнить, что он читал доклад на нашем первом международном симпозиуме по славянской этимологии (январь 1967 года). Я нашел еще в те годы в Толстом внимательного читателя, а порой и редактора своих работ (ответственный редактор моей книжки о происхождении названий домашних животных в славянских языках 1960 года; сразу назову и последний случай такого сотрудничества с ним – ответственный редактор книги по этногенезу и культуре древнейших славян – 1991 год).

Бывали случаи, когда он буквально вступался за меня, за мое научное достоинство, а его авторитет делал такое заступничество весьма эффективным. Что-то в этом роде случилось в Софии, на X Международном съезде славистов 1988 года. К тому времени Толстой был уже академиком АН СССР и председателем Советского комитета славистов. В этом качестве (после утверждения программы съезда на предшествующем заседании Международного комитета славистов, как это обычно бывает) он, помнится, ориентировал меня, что мой доклад на съезде утвержден как пленарный. Однако по приезде в Софию я был неприятно удивлен: новым изменением программы мне предписывалось выступать в другое время и в другом месте, уже на секции, а это означало, кроме прочей досадной путаницы, что я вправе рассчитывать лишь на половинное время доклада. Будучи в некоторой растерянности, граничившей с решением отказаться вообще выступать, я, думаю, правильно расценил все это как закулисные предсъездовские интриги и поделился с Толстым, сказав, что мне следует, наверное, отказаться от мысли втиснуть свою пленарную тему "Славянская этимология и праславянская культура" в пятнадцатиминутный регламент. Толстой не только согласился со мной, но и увидел в этом определенную некорректность болгарской стороны в отношении принятых на Международном комитете славистов решений. Вместе с С. Вольманом, если не ошибаюсь, они связались с болгарским оргкомитетом и восстановили все, как планировалось прежде. Понятно, что это теплых чувств к болгарским организаторам не прибавило.

И еще в том памятном для меня 1988 году вступился за меня Толстой – за мои достоинство и честь, когда в Институте славяноведения и балканистики АН СССР обсуждался цикл моих работ под общим названием "Славяне, язык и история", выдвинутых на госпремию. Я не стану здесь вдаваться в причины того, почему обсуждению придали погромный характер, могу лишь понять, что рассчитывались за инакомыслие ("никто так не думает, один он так думает" – это о концепции дунайской прародины славян; "граничит с шовинизмом" – это о лингвогеографической идее русского языкового союза в СССР, вполне созвучной мыслям Н.С. Трубецкого, которого за это никто в шовинизме не укорял). Не буду говорить об оппонентах, дело прошлое; кстати, один из них недавно уже приносил мне извинения. Гораздо приятнее и важнее для меня то, что в мою поддержку там выступили С.Б. Бернштейн, Н.И. Толстой, И.Г. Добродомов и ныне уже покойные Л.А. Гиндин и Г.Ф. Одинцов.

Я имел возможность не раз и не два на себе почувствовать, как Толстой искренне и от души радовался успеху ближнего и, наоборот, сострадал несчастью. Когда на академических выборах в июне 1992 года я уехал из Отделения, не дожидаясь результатов ("будет опять, как всегда"), а вышло иначе, и хватились меня искать, в телефонные поиски включилось все семейство Толстых, даже его милые дочери... Потом вскоре, числа 18-го июня, удачно совпало, что Толстой посетил наш Институт – мы встретились на защите докторской славистической диссертации А.Ф. Журавлева, а потом и Толстой, и Д.Н. Шмелев зашли ко мне, и мы немножко

выпили коньяку, а Толстой – и это очень похоже на него – картинно встал рядом со мной, выпрямился и произнес из Писания: "Нынѣ отпущаеши раба Твоего, Господи!" – А я в ответ – совсем уже невпопад (бывает, когда расслабишься): "Нынѣ же прѣбудеши съ мною в раи" (евангельские слова, обращенные к сораспятому разбойнику благоразумному). Потом я, наверное, слишком уж часто, говорил всем "спасибо", на что Дмитрий Николаевич Шмелев назидательно заметил: "Вы никого не обязаны благодарить!".

Годом позже состоялся последний, XI Международный съезд славистов в Братиславе, последний, в котором Толстой весьма активно участвовал и был полон сил. Из Москвы в Братиславу и обратно мы путешествовали вместе, в одном железнодорожном купе. Из тогдашних братиславских контактов запомнилось: мы с Толстым приглашены в телецентр, едем в машине, а напористая телевизионная дама обращается то к одному, то к другому с предварительными вопросами, как бы готовя нас к тому, о чем каждый будет говорить перед телеобъективом. Вопрос ко мне: "Господин профессор, как вы думаете, откуда славяне пришли на Дунай?" – Я в ответ: "Думаю, что они ниоткуда не приходили!" – Никита (с живостью): "Олег, а вы так и скажите!". Ну, я так и сказал...

Толстому совершенно не свойственно было безучастное равнодушие, он весь светился дружеским участием, таким и остался в нашей, моей памяти. Из относительно недавнего времени: мы сидим на каком-то заведомо длинном заседании, Толстой понимающе смотрит на меня и вдруг говорит, наверное, уловив тоску в моем взоре: "Олег, а ведь вам совсем необязательно здесь сидеть!". Редко кто другой так проницательно понял меня, то, что я тягощусь заседаниями и предпочел бы проводить время иначе.

Эта доброта, как и отзывчивость на добро, на доброе слово были органически присущи ему как личности, но были тут, по-видимому, и глубокие фамильные, толстовские корни. Помню и считаю неслучайными слова Льва Николаевича Толстого, которые услышал от Никиты Ильича: «Если мне скажут: "Лёв Николаевич, какие у вас жемчужные зубы", – а у меня во рту всего один зуб, да и то гнилой, то завтра я буду искать этого человека, чтобы он мне повторил то же самое».

Толстой умел вовремя, в нужный момент вспомнить о человеке, привлечь его для участия в деле. И это всегда стоило того и было интересно. В 1988 году был учрежден Фонд славянской письменности и славянских культур, и Толстой стал его первым председателем, что, надо сказать, очень одухотворило эту зыбкую общественную организацию. Я с удовольствием вспоминаю именно это короткое время его председательства, и то, как он говорил свое проникнутое гуманизмом слово на учредительном заседании Фонда во Дворце молодежи на Комсомольском проспекте (сдерживая отдельные экстремистские поползновения, он уместно напоминает слова первоучителя славян, св. Кирилла, сказанные тем на венецианском диспуте с треязычниками: "Не идеть ли дождь от Бога на все равно?"), и то, как мы с ним участвовали в праздновании тысячелетия крещения Руси в Новгороде (1988), потом в выездной кирилло-мефодиевской сессии Фонда в Киеве (1989), после чего Толстой сложил с себя полномочия председателя, утомленный писательскими дрязгами. А я, получив заряд воодушевления на празднике Тысячелетия, все еще продолжал начатую тогда серию "В поисках единства" и некоторое время выезжал с Фондом на праздники славянской письменности, потом перестал выезжать. Не в укор будь сказано председателю Фонда В.М. Клыкову, с которым у Толстого до конца сохранились добрые и добрососедские отношения (оба жили на Б. Ордынке), Фонд толстовские традиции не сохранил.

Эта любезность и необычайная отзывчивость Толстого, готовность к контакту порой даже с теми, кого, казалось, и близко к себе подпускать не стоило, вызывала у меня иногда, не скрою, внутренний спор, но весьма возможно, что названная черта непротиворечиво укладывалась именно в толстовский вариант широты натуры, а

также более, чем вероятно, что он отдавал себе и тут трезвый отчет сам во всем, сознательно не избегал и таких контактов, шел на это в интересах дела. Я заговорил о дипломатичности Толстого, о качестве, которым он (думаю, со мной согласятся) был наделен в высокой степени, обладая и терпимостью, и гибкостью, и мудрым расчетом. Незаурядные качества – если за ними стоит благородство побуждений, а это как раз был случай Толстого, который, любя науку и благоволя к людям науки, руководствовался бескорыстными и высокими помыслами. Я уверен, что он и сам задумывался о дипломатии и дипломатичности в своей жизни и в жизни научной. Ведь не спроста же, наверное, он вспоминал как-то в разговоре об одном своем дальнем предке, стольнике Толстом – первом русском дипломате.

Именно такие люди, с такими качествами души и ума призваны руководить наукой, занимать высокие организаторские посты и должности. Никита Ильич Толстой отлично смотрелся как главный редактор журнала, как глава научного направления, как председатель комитета славистов, в последние годы жизни – как член Президиума Академии и в более ранние годы – как руководитель экспедиций в дорогое его сердцу Полесье.

Кроме упомянутой бытовой дипломатии, он прекрасно владел и тем, что называется дипломатикой, высоким стилем и культурой делового письма, документа. Но он одновременно был в высшей степени живым человеком, чутким к скромным радостям жизни. Мимолетный эпизод из старых воспоминаний, никак не позже 1964 года. Мы сидим в ЦСБ библиотеки имени Ленина, каждый – над своими словарями. Окно в помещении открыто, снаружи доносятся детские голоса. Вдруг Толстой, улыбаясь, говорит: "А все-таки мальчишки кричат уже по-весеннему..."

...Он был трогательно дружен с собаками. Вспоминается живший давно в квартире Толстых спаниель Малыш с шелковистыми вислыми ушами, породистый и интеллигентный. "Очень умная собака! – восхищался Самуил Борисович Бернштейн. – Может диссертации писать". Когда пришло время и Малыш умер, Никита сам отнес его на руках и похоронил. А в последние годы жизни Толстого семья призрела, уже на Б. Ордынке, одну совсем беспородную, уличную черненькую собачку. Мы приглашены к ним на масленицу 1992 года. В доме гости, под ногами путается собачка, жмется к хозяину, а Толстой ей назидательно-ласково говорит: "Надо вести себя прилично...".

Вопреки всей своей дипломатичности, он мог порой просто взорваться в ответ на искусственно кем-то создаваемые сложности в нашей и без того сложной жизни, – здоровая реакция здорового организма. Есть в нашей аэрофлотской практике такое не очень гуманное правило – не пускать пассажиров по мере их прибытия на свои места, а предварительно сбивать в кучу, томить людей неопределенное время и только после этого пускать. Этот человекоотстойник даже название имеет соответствующее – *накопитель*, как будто речь идет об осадке каком-нибудь, как в сантехнике. Однажды я явился невольным свидетелем того, до какой ярости, до какого белого каления довела Никиту Ильича унизительная необходимость ждать битый час в таком накопителе. Буквально пылая гневом и со словами "Это черт знает что такое!" он ворвался после этого в салон первого класса авиарейса Москва – София и не сразу отошел или пообещал отойти с одним условием: "если мне здесь дадут выпить водки". Юмор и веселое отношение к жизни всегда в конечном счете выручали этого человека, хотя – дипломатия дипломатией и юмор юмором, но порой он, наверное, просто изнемогал от накопившейся огромной усталости, от назойливого внимания людей, от бестолковой организации. И я прекрасно понимаю его. Помню, какой раздраженный и явно огорченный неудачным днем, он буквально ввалился в нашу братиславскую гостиницу в тот момент, когда мы, остальные, уже направлялись на вечерний прием по случаю окончания съезда славистов. А ему было впору рухнуть от усталости, что он, по-видимому, и сделал. Перед окончанием приема все-таки появился среди нас.

И все-таки не надломленным и усталым от бремени обязанностей или еще от чего (причину ведь всегда можно найти) он запомнился мне, нет – веселым и по-молодому озорным. И хотя то, о чем я вспоминаю далее, имело место в давние уже, молодые его годы, но именно в этом – весь Толстой со своим умением озорно обыграть ситуацию. ...В конце июня 1965 года, после благополучного завершения моей докторской защиты, решено было отметить событие банкетом в ресторане "Узбекистан" на Неглинной улице (кухня там считалась хорошей). Но к вечеру того дня над Москвой разразился страшный ливень, и речка Неглинка, захлебнувшись в своей подземной трубе, сорвала крышки люков и наводнила улицу. Помню точно, что на свой банкет я шел по колено в воде, неся туфли в руках. Парадный ход оказался закрыт и частью уже затоплен, пришлось перелезать через чугунную ограду. Люди, лучше ориентировавшиеся в Москве, добирались посуху дворами и арками. Несмотря на стихийное бедствие, народу пришло много. И вот в ресторане появился Толстой. Он шел, высокий, в длиннополом плаще, на голову нахлобучен капюшон, шел через весь ресторан, бодро шлепая босыми ногами по ковру, и капюшон не мог скрыть довольного выражения его лица... Он наслаждался впечатлением, произведенным на сидящий вокруг ресторанный люд.

Этот жизнерадостный, крепкий дух обитал в крепкой, жизнелюбивой плоти. Его худоба, несколько подчеркнутая ростом выше среднего, пронзительной живостью взгляда и некоторой как бы изможденностью лица, были обманчивы: на самом деле это был сильный физически человек, выносливый, хорошо плававший (и через Припять в Полесье, по рассказам, и в Черном море – это уже на моих глазах, когда мы съехались в Крыму осенью 1983 года, после IX, киевского, Международного съезда славистов, и провели вместе несколько незабываемых часов у нас, в санатории "Украина", и в Гурзуфе, где жила мать А.Ф. Журавлева, в доме которой остановились Толстые). Показательно, что Толстой обходился без всякого там санаторного лечения и вообще не докучал врачам, полагаясь на свои силы. Он и в год своего семидесятилетия (1993) легко, одним махом, забрасывал свое тело на верхнюю полку четырехместного купе, в котором мы ехали со своими женами в Братиславу. Кстати, светлое воспоминание оставил сам акт празднования его семидесятилетия в июне 1993 года в нашем Отделении. Звучали приветствия, сам юбиляр прочитал научный доклад в улыбчивой, ненавязчивой манере, как бы приглашая собравшихся сильно не напрягаться, а в конце, уже совсем придя в веселое расположение, выразил надежду, что вот теперь все перейдут в другое помещение и смогут там выпить с ним водки. Он знал толк в вине, а точнее – в водке или водках, не довольствовался магазинным ассортиментом и творил одному ему известные настойки на травах и при случае угощал ими друзей – дома, в дороге, в заграницах. Он был жизнелюбив, не упускал случая ввернуть соленое словцо, но никогда, ни при каких обстоятельствах не покидала его эта завидная толстовская одухотворенность.

Но и этот здоровый, крепкий организм все же исподволь подтачивался – и заложенными в нем генами, и жизнью. Во время недавней сравнительно встречи он прозрачно пожаловался – я так понял – на кишечное недомогание, и вспомнилось, что еще летом далекого 1958, перед IV МСС, я посещал его, когда он лежал в барачных помещениях старой Боткинской больницы (фамильную слабость желудка еще у Л.Н. Толстого отмечали биографы, например, В. Шкловский). Помню, у кровати Никиты сидел там еще Илья Ильич и сердито отчитывал меня: "Ну, что вы все ходите, ходите...". Я так понимаю, мне заодно попало за то, что Толстого и там стремились посетить его многочисленные друзья...

Семьдесят лет есть семьдесят лет, и какие-то сигналы, видимо, давали себя знать. Он и к этому готовился достойно. Одно довольно свежее воспоминание: зима, февраль 1992, мы с Г.А. Богатовой находимся в санатории "Узкое". Совершенно неожиданно узнаем, что туда же, дней на десять, нагрянули Е.П. Челышев и Н.И. Толстой с супругами (исключительно по настоянию Челышева: "надо перерваться"). Теплая

встреча вокруг 23-го февраля, бравые воспоминания Е.П. Челышева о Параде Победы... Но и – лечебные мероприятия. Г.А. Богатова и Н.И. Толстой встречаются у процедурного кабинета (уколы). Толстой галантен и улыбчив, как обычно, но в его словах сквозит грусть: "Я знаю, что старость надо встречать достойно...".

И все же опять – о духе этого необыкновенного человека. Нет, широту и щедрость его натуры, его открытость и общительность (еще давно покойный Иллич-Свитыч говаривал: "у Толстого есть эта общественная жилка"), его готовность к диалогу и с "теми" и с "этими" не следует путать с некой всеядностью. Модный среди части нынешнего общества протеизм, смена взглядов и убеждений ему были несвойственны, Толстой и тут был красиво старомоден. Я во всяком случае слышал из его уст, что власовцы и власовство для него чужды, предатель есть предатель. Честь фронтовика, которым он себя сознавал, оставалась священной для него. Уже будучи членом Президиума РАН, он отказался участвовать в акции поддержки высшего лица государства, имея свое собственное мнение о действиях этого лица. Осенью 1992 года на заседании Отделения Толстой вдруг сказал мне с теплой улыбкой, что читал мою статью "Унаследовано от Кирилла и Мефодия" в "Правде" от 15 сентября 1992 г., которой я разразился в знак протеста против мерзкого и невежественного писания некой Павловой-Сильванской в "Независимой газете", замаравшей и панславизм, и славян вообще, и межславянскую взаимность, и затравленных Западом сербов, дорогих сердцу Толстого. "Ведь это я должен был бы написать", – сказал он мне. А я был обрадован такой оценкой и приятно удивлен – ну, хотя бы потому, что не относил Толстого к читателям "Правды". Что ж, признаем, что мы, то есть и я тоже, мало знали этого человека, и в чем-то недооценивали смелость, независимость его суждений. Совершенно случайно, например (из выступления археолога А.В. Чернецова на международной конференции по славянской археологии в Пскове, апрель 1991 г.), я узнал, что этнолингвист Толстой публично высказался против огульного охаивания национализма. Это простить могли у нас только Толстому, любого другого с долгожданным наслаждением вываляли бы за это в смоле и перьях... Я думаю, что он был глубоко патриотичен, и позволю себе привести еще одно воспоминание ad hoc. 1993 год, все съехались в Братиславу на съезд славистов, который начнется завтра-послезавтра. Встречи, приветствия... Никита Ильич утром в столовой университетского общежития, тоже со всеми раскланивается (он, как известно, был подчеркнуто вежлив). И вдруг – совершенно неожиданная реакция на появление одного вальяжного украинского слависта-литературоведа, которому Толстой, изменившись в лице, отказался подать руку, будучи возмущен дошедшими сообщениями о его антирусских высказываниях ("оккупанты"...). Было неловко смотреть на этого, обычно уверенного в себе, человека, слушать, как он оправдывался перед Толстым.

Его уход от нас – не следствие старости и старческих недугов. Ужасно сознавать, что этой трагической нелепостью он поплатился за собственное мужество, за презрение к болезням, за беспечную веру в собственные силы, но и – за косность нашей академической медицины, которая так пока (в наше время!) и не удосужилась развернуть гематологию в медицинских учреждениях РАН, и нас продолжают слать от Понтия к Пилату, а там оказывается, что время упущено безвозвратно (сам знаю по себе, у Толстого была лейкемия, у меня – эритремия). Непростительный, преступный трагизм этой медицинской бюрократии – в том, что лейкемия, оказывается, излечима... Меня каждый год летом в Шереметьеве посещают уже давние немецкие друзья – известный мюнхенский славист профессор Йозеф Шютц и его жена, Эрика. Они "заболели" русской культурой и историей. Вот и в этом августе завернули к нам после очередного своего русского тура. На этот раз разговор зашел о поразившей всех кончине Толстого; говорили по-немецки, фрау Эрика не знает русского языка.

"Aber die Leukämie ist heilbar", – успела укоризненно заметить она. Лейкемия излечима...

Но оттого, что мы знаем, на кого возложить вину, легче не станет. Нам предстоит еще не раз и в полной мере осознать невосполнимость этой утраты. Нам – всем, кто работал с ним в "Вопросах языкознания" и кто, как автор этих строк, продолжает верить и надеяться, что человеческий феномен Толстого никогда не улетучится из нашей памяти и выручит еще не раз в трудные минуты. Одно обидно: никто ни в редакции, ни на редколлегии уже больше не спросит нас своим очень индивидуальным франкофонным прононсом про наш "портфёль...".

О.Н. Трубачев

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. Н.И. ТОЛСТОЙ

SLAVIA ORTHODOXA И SLAVIA LATINA – ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ

(опыт предварительной оценки)*

Более ста лет тому назад, в 1892 году, в Варшаве вышла двухтомная книга известного в свое время русского филолога Антона Семеновича Будиловича "Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы" [Будилович 1892][1]. Автор книги избрал для своих наблюдений, помимо церковнославянского и двух классических европейских языков – греческого и латинского, пять современных ему западноевропейских языков и четыре славянских. По его определению, "самое главное преимущество языка церковнославянского заключается в возможности его культурной роли в истории славянства, которую можно сравнить с ролью не готского языка в судьбах германизма, а скорее – средневековой латыни в жизни романских народов и языков" [Будилович 1892, II: 27].

Главное преимущество труда самого А.С. Будиловича – не в изложении и трактовке фактов, число которых за прошедший вековой период возросло очень значительно, а в попытке дать сравнительный и в известной мере типологический анализ двенадцати литературных языков Европы, ставя в центр исследования "общеславянский" (церковнославянский) язык и рассматривая при этом судьбу четырех крупных славянских языков. И хотя, как судили многие лингвисты, опыт А.С. Будиловича во многом не удался, вероятно, в основном из-за неразработанности в конце прошлого века принципов и методов изучения литературных языков, монография об "общеславянском" языке оставалась долго единственным в своем роде опытом сравни-

---

* Доклад, прочитанный на славистической конференции в сентябре 1993 г. в Кастель Ивано (Италия). Материалы конференции опубликованы в Ricerche slavistiche. V. XLII. 1995 [Roma].

[1] А.С. Будилович в книге "Общеславянский язык" ставил своей задачей "опознать законы образования общих языков и проверить их на данных славянского прошлого". С этой целью он рассматривал в I-м томе "условия образования более известных и важных языков древней и новой Европы, а именно: греческого, латинского, итальянского, испанского, французского, английского и немецкого" [Будилович 1892, I: VI–VII]. Для славянского мира были избраны во втором томе языки церковнославянский, сербский, чешский, польский и русский. Все эти языки А.С. Будилович называет "общими" языками и вводит при этом понятие "частного" языка, наряду с понятием диалекта. Термины "общий" и "частный", судя по контекстам, относятся у А.С. Будиловича к литературным языкам. При этом делается попытка определить отношение "общего" языка "к местным говорам и частным языкам, условия борьбы между ними, значение в этой борьбе естественных и нравственных сил" [там же: VII]. Во втором томе А.С. Будилович главное внимание сосредоточивает "на международном значении церковнославянского языка в древнее время, сербохорватского и чешского в 15–16 вв., польского в 16–17 вв., а русского в 18–19 вв." [Будилович 1892, II: VII]. К сожалению, однако, идея создания или принятия одного литературного языка, который был бы в ближайшем будущем, т.е. в XX веке в употреблении у всех славян, наряду с другими "общими" и "частными" литературными языками, идея, волновавшая в прошлом еще хорвата Крижанича, а позже – чеха Юнгмана и многих других славистов и славянофилов, отвлекла А.С. Будиловича от первоначально поставленной задачи компаративного анализа славянских литературных языков, и в конечном результате такого исследования читатель не получил.

тельного рассмотрения группы славянских литературных языков на европейском фоне. В середине и в конце XX в. славистика обогатилась рядом фундаментальных описаний истории отдельных славянских литературных языков, однако компаративные исследования материала в общем ограничились созданием трех примечательных коллективных разысканий – итальянского сборника начала 70-х гг. [Studi... 1972], двух русских книг конца 70-х гг. [Нац. возрождение... 1978; История слав. лит. яз.... 1979] и американского двухтомника начала 80-х гг. [Aspects... 1984] и целым рядом ярких и принципиальных статей, чаще всего носивших скорее характер постановки вопроса, чем его решения и разрешения. Имеются в виду известные труды Н.С. Трубецкого, В.В. Виноградова, Д. Брозовича, Б. Гавранка, А. Едлички и других ученых. Особую и значительную роль в славянской литературно-языковой компаративистике сыграли ранние и новейшие исследования Р. Пиккио, анализировавшего развитие литературных языков в свете исторической эволюции и противоположения двух славянских культурных миров – Slavia Orthodoxa и Slavia Latina. Как и А.С. Будилович, Р. Пиккио в своих трудах ставит в центр внимания "общий" литературный язык древнего славянства – церковнославянский [Picchio 1991; Пикио 1993]. Именно к нему и следует обратиться в первую очередь.

Феномен церковнославянского, или древнеславянского, литературного языка заключается в том, что он с самого начала замышлялся и создавался как язык сакральный, богослужебный, обращенный к Богу, во-первых, и как язык общеславянский, предназначенный для всех славян, во-вторых. Главенствующая сакральная функция делала церковнославянский (старославянский) язык схожим с латинским и греческим языком византийского образца, а также с готским языком. Однако функциональное сходство с латинским и греческим сочеталось с существенным историческим различием: оба упомянутых сакральных языка уже имели и христианскую традицию, и свою длительную многовековую историю в виде культурных языков античного периода. Церковнославянский язык, так же как и готский, ни той, ни другой традиции не имел, и потому, возникая, во многом, особенно в синтаксисе и лексике, он опирался на греческую традицию, греческий образец. К этому образцу в античные времена прибегали и ранние латинские авторы, о нем вспомнили и в эпоху Ренессанса, хотя в этих случаях дело касалось другого – античного греческого языка.

В эпоху создания старославянского языка, в пору моравской кирилло-мефодиевской миссии, в Европе, в романо-германском этническом и культурном мире господствовала латынь, а в византийских пределах – греческий, хотя византийская имперская традиция допускала богослужение и книжность и на других языках. Именно в условиях византийской толерантности возник стараниями и подвигом равноапостольных солунских братьев старославянский язык, подобно тому как пятью веками раньше в близких условиях был создан готский книжный язык и известный перевод Священного Писания для готов. Однако функционирование готского сакрального языка, хотя и длилось несколько веков, охватывало лишь одну из южных ветвей германского племени и было к тому же связано с арианством – относительно локальным и со временем затухшим отклонением ("ересью") от ортодоксального христианства, усугублявшим замкнутость готского языка.

Кирилл и Мефодий ставили задачу создания и распространения сакрально-книжного языка для всего славянства, которое в их времена еще не было целиком христианским. Решению этой задачи способствовало не только состояние славянского языкового континуума в IX веке, еще не разорванного территориально приходом венгров и хорошо сохранявшего черты праславянского языкового единства, но и этническое (национальное) самосознание славян, о котором мы можем судить, правда, по более поздним, но достаточно достоверным свидетельствам [Толстой 1993]. Они убеждают нас, что осознание славянского единства в ту эпоху было весьма четко выражено и однозначно, особенно в ситуации противопоставления "свой–чужой". Девятый век можно считать веком стабилизации славянского этноса на весьма обширном пространстве центральной, юго-восточной и восточной Европы, после

великой миграции славян в VI в., после освоения новых земель и тесных, уже довольно длительных контактов с новыми европейскими соседями. Не случайно стремление славян "**причьстисѧ велицѣхъ ꙗзыцѣхъ**" ('быть причастными к великим народам'), спровоцированное византийской кирилло-мефодиевской миссией, обретало силу и реальное воплощение параллельно или вслед за возникновением первых славянских государств – великоморавского, сербского, хорватского, польского, русского (болгарское возникло намного раньше и притом на тюркской племенной основе). Все это определило судьбу древнеславянского книжного языка совершенно иным образом, чем судьбу готского книжного языка, известного по библейским переводам епископа Ульфилы, дошедшим до нас в рукописях V–VI веков. Уместно еще раз подчеркнуть, что язык кирилло-мефодиевских переводов создавался как сакральный, богослужебный и в то же время общеславянский. Создавался третий культурный макроареал в Европе, долженствовавший соседствовать с романо-германским ареалом, где господствовала латынь, и греко-византийским, также далеко не моноэтническим ареалом, где абсолютно преобладал греческий язык[2].

Поставленная задача, как часто бывает в истории, не была разрешена в полной мере. В то время как кирилло-мефодиевская традиция принималась западными и южными славянами (распространение старославянского письма и богослужения в Великой Моравии, вероятно, на юге Польши, в Чехии, Паннонии, у альпийских славян – предков словенцев, в Далмации, в болгарских, македонских и сербских пределах), восточные славяне еще не знали "**свѣта разумѣнія книжнаго**" на родном славянском языке. Когда же этот свет пришел на Русь, к восточным славянам, ученики Кирилла и Мефодия были уже изгнаны или заменены иноязычными проповедниками и пастырями в мире западнославянском и западной части южнославянского ареала. Исключение составляли стойкие "глаголяши" в Далмации, пользовавшиеся древним глаголическим письмом и церковнославянским языком до XX века, т.е. почти до наших дней.

С угасания моравского книжного центра, с изгнания из Моравии и Паннонии учеников Кирилла и Мефодия, а затем с разделения церквей в 1054 г. берет свое начало появление двух автономных культурных ареалов славянского этнического массива, двух территориально и культурно очерченных миров – восточного, Pax Slavia Orthodoxa, и западного, Pax Slavia Latina. На эти культурные миры некоторые исследователи смотрели как на противостоящие и даже антагонистические, что в принципе неверно. Во все времена существовало взаимодействие, взаимопроникновение этих миров, и примеров такого соотношения немало. Это и возрождение славянской литургии в пражском Эмаусском монастыре в 1344 г. при Карле IV, и участие глаголяшей в переводах "Геннадиевской библии" в Новгороде в XV в., и деятельность Франциска Скорины в Праге в 1517–1519 гг., и пребывание Юрия Крижанича в России в 1659–1676 гг., и многие другие факты[3].

Сама длительная консервация глаголической традиции, сама глаголяшская книжная культура и славянская литургия – удивительный пример сохранения кирилло-мефодиевского наследия и языка в славянском католическом ареале. Глаголяши как бы принадлежали одновременно и к миру Slavia Latina, и к миру Slavia Orthodoxa, и тем самым осуществляли живую связь между этими мирами. Естественно, что речь идет о культурной, а не конфессиональной, церковной принадлежности [Hercigonja 1983].

---

[2] Возникновение славянского культурного и религиозного мира происходило в условиях притяжения и притязаний двух европейских духовных центров – Константинопольской патриархии и Зальцбургского архиепископа, позже Римского папского престола. Из обильной новейшей литературы, посвященной началу славянской письменности и духовной культуры, отметим лишь два издания, вышедших в славянской католической среде, в Люблине в Католическом университете и в Любляне на Богословском факультете Люблянского университета [Cyryl i Metody... 1991; Bogoslovni vestnik 1985].

[3] Изложенные факты хорошо известны и подтверждены богатой литературой, среди которой хотелось бы выделить исследование Р. Якобсона "Основа сравнительного славянского литературоведения" в книге [Якобсон 1987] или [Jakobson 1985].

В мире Slavia Latina прекратилась в общем недолговечная для него кирилло-мефодиевская традиция, и в качестве сакрального языка, а также языка науки и литературы, вновь оказалась или осталась средневековая латынь. Литературные языки – польский, чешский, локальные неглаголические микроязыки в хорватских пределах не были сакральными, что позволяло им не стремиться к строгому единству формы, не иметь единой, объединяющей нормы. Эти языки не вырастали из одного общеславянского (старославянского, церковнославянского) корня, они были отдельными ростками, языками, возникавшими сами по себе на местной почве. С угасанием кирилло-мефодиевской традиции на западе угас и словенский книжный язык, едва нарождавшийся, как можно судить по Брижиньским (Фрейзингенским) отрывкам. Не было книжного языка и у лужицких сербов и полабян[4].

Такая ситуация не означала, что славяне мира Slavia Latina не пользовались благами религиозной, культурной и литературной жизни, не участвовали в ее развитии – они были причастны единой западноевропейской средневековой культуре, пользующейся латинским языком и опирающейся на связанную с ним традицию. И только Реформация с ее обращением к народному языку и "народной" вере решительно изменила ситуацию, только пример Лютера побудил словенцев, сербов-лужичан и отчасти хорватов заняться созданием своих литературных языков на народной основе, своих литератур. Эти языки уже не были сакральными в полном смысле этого слова, они не были языками богослужения, ибо сама Реформация, и особенно некоторые ее ответвления, заменяли богослужение в строгом смысле этого слова проповедью и чтением молитв.

Совсем другая картина и ситуация наблюдается в мире Slavia Orthodoxa. Там в те же времена прежде всего сохранялся культ славянского сакрального языка, единого языка всех православных славян, валахов и молдаван, там наблюдался путь его непрерывного, постепенного и замедленного развития, периодически сопровождаемого консервативными реформами, имеющими своей задачей строгое соблюдение или восстановление принципа "святой старины". Эти консервативные реформы мы называем деятельностью разных школ, "влиянием" или "книжной справой": тырновская школа патриарха Евтимия в XIV в., ресавская школа (XV в.), видным представителем которой был Константин Философ (Костенечский), первое и второе южнославянское влияние на Руси (XI и XIV вв.), книжная справа на Руси XVII в. и др.

В мире Slavia Orthodoxa национальные литературные языки (точнее, языки преднациональные или донациональные) не возникали порознь, как бы сами по себе, опираясь на ту или иную диалектную базу или койне, как это происходило с языками мира Slavia Latina, а отпочковывались от единого церковнославянского языка сначала в виде его вариантов (изводов или редакций), а затем в виде самостоятельных языков, не теряющих связи с церковнославянской традицией и друг с другом. В разных церковнославянских изводах и книжных центрах постепенное отклонение от нормы само превращалось в норму. Отход и удаление от церковнославянского стандарта происходил не фронтально, а в отдельных жанрах, текстах, в отдельных функциональных сферах одного языка или разных языков. Такая же неравномерность в языковом отношении наблюдалась и в двух типах текстов – переводных и непереводных, оригинальных. В последних приверженность к церковнославянскому книжно-языковому канону была нередко ослаблена или даже сознательно потеснена. Такие явления наблюдались чаще всего в периоды действия в мире Slavia Orthodoxa центробежных сил, которые сменялись периодами центростремительными и были связаны с укреплением авторитета той или иной книжной школы[5]. Развитие

---

[4] Исследование А. Фринты о богемизмах и славизмах в серболужицкой христианской терминологии позволяет предполагать, что христианство пришло к сербам-лужичанам из Чехии в X в. еще до немецкой колонизации южной окраины Лужицы. Пришла ли вместе с христианством и славянская кирилло-мефодиевская письменность – сказать трудно (см. [Frinta 1954]).

[5] См. мою работу "К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян" [Толстой 1988].

языков мира Slavia Orthodoxa длительное время регулировалось и определялось историческим путем древнеславянского (церковнославянского) языка, имевшего свои локальные разновидности, но остававшегося единым вплоть до XVIII в. В дальнейшем он был оттеснен исключительно в церковную сферу.

Процесс развития отдельных литературных языков в мире Slavia Latina имел иной характер. Во-первых, самостоятельное развитие этих языков, исключая период бытования кирилло-мефодиевской традиции, началось относительно поздно: для чехов – в XIV в., для поляков – в XV в., для словенцев – в XVI в., для сербов-лужичан – в XVI–XVII вв., для словаков – в конце XVIII в., в то время как литературные языки мира Slavia Orthodoxa прошли за первые четыре века (XI–XIV вв.) весьма значительный для их становления и утверждения исторический путь, имея при этом свое как бы единовременное и общее начало.

Во-вторых, возникая и функционируя в условиях гетерогенного двуязычия, т.е. имея в качестве языка-посредника чужую латинскую письменную и устную речь, языки мира Slavia Latina имели иную, чем в мире Slavia Orthodoxa, систему литературно-языковых взаимоотношений[6]. Для этих языков не существовало единого центра (не столько географического, сколько нормативно-авторитетного), гомогенного им языка-основы вроде церковнославянского, выполнявшего и роль языка-посредника, поэтому в ареале их распространения не наблюдалось процессов центростремительного и центробежного характера[7]. Взаимное влияние, например, влияние чешского языка на польский, осуществлялось попарно, не через посредствующий центр, а напрямую[8]. А в период возникновения национальных литературных языков наблюдался обратный процесс отталкивания (например, словацкого от чешского).

В-третьих, в мире Slavia Orthodoxa и в мире Slavia Latina по-разному развивалась и строилась стилистическая система литературного языка. Первоначально в мире Slavia Orthodoxa было установлено достаточно четкое распределение жанров и текстов между двумя языками – общим и частным, например, между церковнославянским и древнерусским или древнеславянским и древнесербским. Существовали и жанры пограничного характера, в которые в равной мере допускался и тот, и другой язык, и именно в такой пограничной сфере чаще всего наблюдалось смешение двух языков, что не считалось предосудительным и нежелательным. В мире Slavia Latina такого взаимопроникновения и "среднего" решения не было и не могло быть, поскольку компоненты были слишком далеки друг от друга. Жанры и тексты между двумя сферами – латинской и соответствующей славянской – разделялись или распределялись достаточно четко, и языковая интерференция имела свои жесткие пределы.

К концу своего бытования в сфере Slavia Orthodoxa гомогенное двуязычие (или диглоссия), например, церковнославянско-русское, постепенно трансформировалось в систему стилей, которую М.В. Ломоносов воспринимал как некое единство, расчленяющееся на три "штиля" – высокий, средний, или "посредственный", и низкий, или "простой" [Вомперский 1970]. Эти "штили" перешли затем в стилистическую систему,

---

[6] Нами не ставится задача ответить на вопрос, был ли древнеславянский (церковнославянский) язык "славянской латынью", т.е. насколько функции и культурная роль латинского и церковнославянского языка были идентичны. Этот вопрос затрагивается в работах И. Гылыбова [Гълъбов 1986] и Г. Кайперта [Keipert (б/г)].

[7] *По мнению Риккардо Пиккио: «Объединяющая и наднациональная функция латинского языка оставалась господствующей в течение нескольких веков. Но выраженная на этом "сверх-языке" литературная цивилизация не была столь компактно латинской, сколь монолитно славянской была литературная цивилизация, формируемая церковнославянским языком»* [Пикио 1993: 97].

[8] Н.С. Трубецкой делил современные славянские литературные языки на две группы "по признаку примыкания к определенной традиции". К группе церковнославянской традиции он относил языки русский и болгарский, к группе польско-чешской традиции – польский, чешский, словацкий, верхнелужицкий, нижнелужицкий и украинский. Связь между литературными языками первой группы он называл связью по преемству, а связь языков второй группы – по влиянию. Сербскохорватский и словенский литературные языки он причислял к "совершенно выпавшим из всякой связи с литературно-языковыми традициями" [Трубецкой 1927: 28].

характерную для современного русского языка. В мире Slavia Latina гетерогенное двуязычие или диглоссия завершились полным вытеснением из всех сфер функционирования языка-посредника – латыни, не оказавшей на последнем этапе своего присутствия существенного влияния на стилистичекую структуру тех языков, с которыми она сосуществовала. В тот же период становления национально-литературных языков, в первой половине XIX в., сербы, в отличие от русских, пошли на решительный разрыв с церковнославянской традицией и уравняли свой литературный язык и его стилистические возможности с хорватским штокавским вариантом литературного языка. Болгары свой отход от той же традиции совершили в более осторожной форме, опираясь в известной мере на русский литературный язык. По пути отталкивания от церковнославянского наследия и литературного русского (великорусского) языка пошли белорусы и украинцы (малороссы), а от болгарского и сербского – македонцы, создавшие свой литературный язык позже всех других славян. Так в XIX–XX вв. структурно-типологическое противостояние двух миров – Slavia Orthodoxa и Slavia Latina – разрушилось, или, проще говоря, перестало существовать. Пользуясь словами Н.С. Трубецкого, заключим, что "будучи модернизированной и обрусевшей формой церковнославянского языка, русский литературный язык является единственным прямым преемником общеславянской литературной традиции, ведущей свое начало от Первоучителей славянских, т.е. от конца эпохи праславянского единства" [Трубецкой 1927: 94].

Предложенный выше краткий анализ ситуации в области письменных и литературных языков славян в их двух культурных мирах может быть дополнен еще более кратким и конспективным обзором ситуации в сфере книжности и литературы. Литературная ситуация в мире Slavia Orthodoxa и Slavia Latina была во многом изоморфна литературно-языковой ситуации в этих ареалах, что объясняется не только тем, что литературный, книжный язык есть орудие литературы и книжности и одно без другого существовать не может, но также и тем, что литературный язык и литература как таковая являются компонентами культуры. В таком случае можно сказать, что наблюдается изоморфность отдельных культурных слоев.

В мире Slavia Orthodoxa существовала единая древнеславянская (церковнославянская) литература, которая имела определенный состав текстов (памятников), определенную жанровую структуру, свои жанры и каноны и свое развитие, т.е. историю. Эту единую церковнославянскую литературу едва ли можно считать только литературой-посредницей (термин Д.С. Лихачева), ибо она возникла сама по себе, как и древнеславянский (церковнославянский) язык, до появления в славянской среде отдельных древнеславянских "национальных", т.е. этнически окрашенных и очерченных литератур. Поэтому ее следовало бы считать и называть либо ранней общеславянской литературой, т.к. при своем возникновении она была распространена и в среде западных славян и западной части южных славян, либо литературой-основой для всех литератур мира Slavia Orthodoxa. От нее также отпочковывались отдельные литературы – древнерусская, древнесербская, древнеболгарская, она также начинала свою историю с локальных "изводов" (вариантов текстов), а затем имела параллельное развитие с отпочковавшимися славянскими древними литературами. Именно это параллельное развитие позволяло ей выполнять и посредническую функцию, которая, однако, не была основной.

При своем возникновении общая древнеславянская (церковнославянская) литература свою идеологическую сущность и систему ключевых жанров калькировала с системы византийской литературы. Многочисленные переводные с греческого тексты создавали ее основу, и сама она была в раннем периоде развития чем-то вроде суженной проекции византийской книжности конца I и начала II тысячелетия н.э. Переводы текстов перемещали их в другую этническую и культурную среду, делали их из греческих славянскими, ставили в один ряд с другими славянскими, уже не переводными, оригинальными текстами, вводили в литературу в общем иную, чем

византийская. Унитарные литературы, как и унитарные языки, мира Slavia Orthodoxa и Slavia Latina были, таким образом, разного характера. Православные славяне имели свою территориальную и этнически ограниченную, но общую для них и для валахов и молдаван литературу, независимую от греческой и латинской, а общая для славян-католиков латинская литература распространялась и на весь германский и западно-романский мир. Со временем, в преддверии и во время Ренессанса, появились и творили славянские писатели-латинисты, обогащавшие общеевропейскую латинскую литературу и создававшие почву для выхода национальных славянских литератур мира Slavia Latina из общеевропейского русла. Отметим еще раз, что в мире Slavia Orthodoxa национальные литературы отпочковывались, в то время как в мире Slavia Latina они возникали чаще всего по отдельности из ряда жанрово ограниченных текстов-произведений, дополнявших в конкретных локальных условиях разветвленную систему жанров латинской общеевропейской литературы.

Общая церковнославянская литература с возникновением отдельных древних славянских литератур – древнерусской, древнесербской и др., находилась с каждой из них в отдельности в отношении дополнительного распределения, составляя с каждой из них одну систему жанров, одну систему текстов. Такая система объединяла "открытую" и "закрытую" традиции текстов, при том что между двумя традициями существовала переходная группа текстов – зона смешения традиций, что в полной мере изоморфно языковой ситуации и практике, сохранявшей и противопоставленность церковнославянского языка древнерусскому или древнесербскому и другим, и условия смешения двух языков, что наблюдается, например, в русских летописях или сербских агиографических текстах. "Закрытая" традиция в мире Slavia Orthodoxa отдавала предпочтение древнеславянскому (церковнославянскому) языку, "открытая" – его корреляту, древнему "национальному" языку. Такое положение в мире Slavia Orthodoxa наблюдалось до XV–XVI вв., хотя и в более позднее время частично сохранялось такое соотношение.

Историки отдельных древних литератур православного славянства искали в доступном им материале истоки конкретных национальных литератур, их корни, их специфические национальные особенности, сюжеты и мотивы. Их интерес длительное время был направлен почти исключительно на "национально окрашенные" тексты, на творчество "своих" книжников и школ. Исследовалось только "свое", а "чужое" обычно описывалось как некий фон "своего", как дополнительный план. Между тем современные представления "своего" и "чужого", на которые опирается большинство исследователей, во многом не соответствуют древним представлениям о своем и чужом, к тому же описание исключительно "своей" сферы книжности и литературного творчества грешит односторонностью. Поэтому, признавая допустимость и правомерность "национального" подхода к истории древнего периода отдельных славянских литератур, следует также признать необходимость полного, в известной мере "наднационального" обозрения истории древнего периода отдельных славянских литератур, истории книжности и литературы как оригинальной, так и переводной – всего того, что читал древнерусский или древнесербский читатель, не полагавший, что переведенное с греческого житие св. Николая Мирликийского – "чужое" произведение, а житие св. Феодосия Печерского – "свое". Так же невозможно выводить за пределы древней литературы или книжности сакральную богослужебную сферу, богослужебные тексты, которые, как показал в своей новейшей работе Александр Наумов (см. [Наумов 1995]), являются осью, стержнем, вокруг которого организуются другие, не богослужебные тексты вплоть до светских жанров различного вида. Литургические богослужебные тексты можно назвать также вершиной пирамиды жанров и текстов, упорядоченных иерархически и взаимосвязанных по ряду признаков и показателей.

История древнеславянской (церковнославянской) литературы необходима также для понимания сущности литературного процесса в целом, происходившего у православных славян. Для столь же цельного и широкомасштабного понимания литературного процесса у славян мира Slavia Latina необходимо обратиться к истории средневековой и

ренессансной латинской литературы в Европе и определить долю и характер вклада в эту литературу славянских авторов-латинистов. Сколь перспективен такой путь разысканий, показывают хотя бы работы И.Н. Голенищева-Кутузова, исследовавшего творчество итальянских латинистов XI–XII веков и славянских латинистов эпохи Возрождения [Голенищев-Кутузов 1972; 1963].

Структура этнического и национального самосознания у славян, все еще недостаточно исследованная, обнаруживает свою изоморфность по отношению к структуре славянской книжности (литературы) и славянских книжных (литературных) языков. Однако этот вопрос заслуживает своего отдельного и подробного рассмотрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Будилович А.С. 1892 – Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы. Т. I–II. Варшава, 1892.

Вомперский В.П. 1970 – Стилистическое учение М.В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970.

Голенищев-Кутузов И.Н. 1963 – Итальянское Возрождение и славянские литературы XV–XVII вв. М., 1963.

Голенищев-Кутузов И.Н. 1972 – Средневековая латинская литература Италии. М., 1972.

Гълъбов И. 1986 – Старобългарският и латинският език през Европейското средновековие (Към проблематиката на наднационалните културни езици) // И. Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София, 1986.

История слав. лит. яз.... 1979 – Славянское и балканское языкознание: История славянских литературных языков и письменность. М., 1979.

Наумов А. 1995 – Средневековая литература и богослужение // Ricerche slavistiche. V. XLII. 1995. Roma.

Нац. возрождение... 1978 – Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978.

Пикио Р. 1993 – Православното славянство и старобългарската културна традиция. София, 1993.

Толстой Н.И. 1988 – К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

Толстой Н.И. 1993 – Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора "Повести временных лет" // Исследования по славянскому историческому языкознанию. М., 1993.

Трубецкой Н.С. 1927 – К проблеме русского самопознания. Собрание статей. Париж, 1927.

Якобсон Р. 1987 – Работы по поэтике. М., 1987.

Aspects... 1984 – Aspects of the Slavic language Question. V. I: Church Slavonic – South Slavic – West Slavic; V. II: East Slavic / Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt. New Haven, 1984.

Bogoslovni vestnik 1985 – Bogoslovni vestnik. Let. 45, štev. 2. Ljubljana, 1985.

Cyryl i Metody 1991 – Cyryl i Metody apostołowie i nauczyciele Słowian. Cz. 1. Studia; Cz. 2: Dokumenty. Lublin, 1991.

Frinta A. 1954 – Bohemismy a paleoslovenismy v lužickosrbské terminologii křesťanské a jejich dějepisný význam. Praha, 1954.

Hercigonja E. 1983 – Nad iskonom hrvatske knjige. Rasprave o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju. Zagreb, 1983.

Jakobson R. 1985 – Selected Writings. V. VI. Berlin – New York – Amsterdam, 1985.

Keipert H. (б/г) – Kirchenslavisch und Latein. Über die Vergleichbarkeit zweier mittelalterlicher Kultursprachen // Sprache und Literatur Altrußlands. Münster, б/г.

Picchio R. 1991 – Letteratura della Slavia ortodossa (IX–XVIII sec.). Bari, 1991.

Studi... 1972 – Studi sulla questione della lingua presso gli Slavi. A cura di Riccardo Picchio. Roma, 1972.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. В.Л. ЯНИН, А.А. ЗАЛИЗНЯК

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ НОВГОРОДСКИХ РАСКОПОК 1996 г*.

Настоящая статья является третьей в серии оперативных публикаций новгородских берестяных грамот [Янин, Зализняк 1994; 1996]. До некоторых пор введение новых текстов в научный оборот основательно запаздывало в ожидании того момента, когда новых материалов накопится достаточно для очередного тома их традиционного издания. По настоятельной инициативе Н.И. Толстого страницы "Вопросов языкознания" были предоставлены для неотложного издания очередных результатов пополнения новгородской коллекции берестяных текстов. Поэтому каждая новая их публикация будет включать в себя и чувство благодарной памяти об инициаторе этой серии.

Работы 1996 г. велись в Новгороде на Троицком раскопе, который в предшествующем сезоне был расширен, включив в себя новые участки Троицкий-XI (руководитель П.Г. Гайдуков) и Троицкий-XII (руководитель А.Н. Сорокин), а также в северной части Детинца около Лихудова корпуса (руководитель С.В. Трояновский). На раскопе Троицком-XI, где вскрывались напластования конца XII – середины XIII в., было найдено 10 грамот (№ 758, 761, 763, 765, 767, 768, 769, 770, 773, 774). На Троицком-XII раскопе в слоях второй половины XIII – первой половины XV в. найдено пять грамот (№ 760, 766, 771, 772, 775). Две грамоты (№ 762, 764) происходят из раскопок в Детинце.

При воспроизведении текстов в квадратных скобках помещены буквы, читаемые неоднозначно (из-за обрывов или из-за плохой сохранности бересты), а в круглых скобках – конъектуры издателей.

*

Грамота № 758. В 1995 г. в напластованиях конца XIII в. в квадрате 1224 на усадьбе И был обнаружен обрывок берестяного листа с текстом полностью сохранившейся первой строки и небольшим фрагментом второй [Янин, Зализняк 1996: 15]. Теперь в квадрате 1232 на территории той же усадьбы найдена недостающая часть записи, в результате сложившейся полностью:

прольжь : три гривне
бес пати мордоко

Перевод: 'Пролежь – три гривны без пяти мордок'. "Пролежью", как можно полагать, назывался товар, пролежавший (не проданный) дольше обусловленного срока (никакими словарями слово *пролежь* не зафиксировано). Возможно также, что так называлась и пеня за то, что товар пролежал дольше срока. "Мордка" – мелкая денежная единица, составлявшая, вероятно, одну двадцать восьмую часть гривны (если она тождественна немецкому "Marthoupte") [Хорошкевич 1962: 303]. Подтверждает такое равенство следующее сопоставление. В XV в. новгородская гривна

* Работа выполнена при финансовой поддержке INTAS/РФФИ и РГНФ.

делилась на 14 денег и, следовательно, "Marthoupte" должна равняться половине новгородской денги. Между тем в конце XV в. мордка приравнивалась московской денге [Янин 1970: 171], тогда как последняя составляла половину денги новгородской.

Следует отметить необозначение мягкости: *бес пати.*

Грамота № 760. Найдена в квадрате 1365 Троицкого раскопа в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке концом XIV – первой половиной XV в. Это небольшой фрагмент средней части документа:

... к наѧлъ ...
...инила ...
...и · кони ... (| ...)

Для комментирования текста мало данных.

Грамота № 761. Найдена в квадрате 1289 Троицкого раскопа на усадьбе Г в напластованиях, датированных по предварительной стратиграфической оценке второй половиной XIII в. Это пространная запись в пять строк, сохранившаяся почти полностью; поврежден ее правый край, где в первых четырех строках утрачено примерно по три буквы:

на жьстове селищь деваносото а в оке третеѧ цасте на радошкове зе[м](ле :-:) |
грвно а на баране на бьсъньске :н҃: грвно на ньговить сороко на хотиль ·г҃: грвне
на --(-)|диль поло :д: грвне оу грена грвна оу пятшь грвна на хвибовь земле
:в·і· грвне на сен--- | :ѳ: грвно на насиловь :в:і: грвне на льскь сороко на бабине
грвна зарьць[н](аѧ) | на саль[к]ь в грвне

Для конца предпоследней строки наиболее вероятна конъектура *зарьць[н](аѧ)* = = ⟨*зареченаꙗ*⟩. На стыке второй и третьей строк, очевидно, стояло (в форме М.ед.) одно из имен: *Радила, Судила, Жидила, С(ъ)дила, Несдила.*

Грамота представляет собой роспись каких-то податей, причем в одних случаях указано поселение (или земельный участок), с которого поступает подать, в других – конкретный человек.

Перевод: 'На Жестове селище девяносто [гривен], а налицо [должна быть] третья часть. На Радошкове земле ... гривен, а на Баране Бессынском 80 гривен. На Неговите сорок. На Хотиле 3 гривны. На ...диле три с половиной гривны. У Греня гривна. У Пятши гривна. На Хвибовой земле 12 гривен. На Сен... 9 гривен. На Насилове 12 гривен. На Леске сорок. На Бабине гривна отсроченная (?). На Сальке 2 гривны'.

Встретившееся дважды слово *сорок*⟨*ъ*⟩ двусмысленно: это либо '40' (подразумевается: гривен), либо 'сорочок' (товарно-денежная единица). В данном контексте более вероятным представляется первое. Во всяком случае в целом грамота фиксирует наличие значительной недоимки (более 230 гривен; к сожалению, какая-то, вероятно немалая, сумма, следующая с Радошковой земли, не уцелела).

Написание *на Баране* (вместо *на Боране*) в принципе может быть отражением аканья. Но в данном контексте, где оба соседних слога содержат *а*, все же более вероятна простая описка (под влиянием этого соседства). В *на Саль[к]ь* предпоследняя буква имеет вид *к* с лишним горизонтальным штрихом внизу (или *в* без верхнего горизонтального штриха); таким образом, интерпретация ее как *к* не совсем надежна.

Выражения *въ окѣ* и *гривна зареченаꙗ* ранее не встречались. Можно предполагать, что речь идет, с одной стороны, о немедленной выплате наличными деньгами, с другой – об отсроченной плате. Для *въ окѣ* ср. прежде всего *въ очью* 'воочию' (разница только в грамматическом числе), а также укр. в *óці бýти* 'быть на глазах, на виду' [Гринченко, 3: 47]. Заметим, что современные слова *налицо* и *наличные* формировались на базе отчасти сходного зрительного образа.

Для *зареченаꙗ* (если только это слово правильно восстановлено) ср. *зарокъ* в значении ‘обусловленный срок (в частности, платы)’ в Псковской судной грамоте (статья 74): *а кто почнет имат своего исца въ своемъ сребрѣ до зарока, ино емꙋ гостинца не взят* [Пск. суд. гр.: 338]. Это позволяет предположить для причастия *зареченыи* значение ‘назначенный на определенный срок’, ‘отсроченный до определенной даты’.

Все имена собственные, прямо или косвенно упомянутые в грамоте, – дохристианские. К хорошо известным древним моделям принадлежат *Нѣговитъ*, *Хотила* (или *Хотилъ*), *Насилъ*, *Радошко*. Имя *Пѧтша* – гипокористическое к *Пѧтыи*. Труднее определить, от какого первоначального имени произведено гипокористическое *Грень* (ср. топоним *Гренево*) [НПК 1886: 462]; таким именем могло быть, например, *Гремиславъ*, *Гречинъ*, *Гребень* и т.п. Прозвище *Боранъ* – весьма распространенное; напротив, эпитет *Бесынескъ* – уникальный.

Для *Жестово* ср. *жéстый* ‘громкий, зычный’ перм. [СРНГ, 9: 147]. *Лѣсокъ* – скорее топоним, чем антропоним. Для сомнительного *на Саль[к]ь* ср. топоним *Салково* [НПК 1862: 228]; но трудно объяснить *ь* после *л*. Основа *хвиб-* (в *Хвибова землѧ*), возможно, сопоставима с такими, топонимами, как *Свиблов* (волость в Козельском уезде) [ДДГ: 122, акт № 41, 1445 г.], *Свиблово* (бывшая деревня под Москвой); но она может быть и иноязычного происхождения.

Грамота № 762. Найдена при раскопках в Детинце. Стратиграфическая дата отсутствует; палеографические признаки указывают на XIV–XV вв. Это маленький двухстрочный ярлык:

ко души-
ли

Такой адресный ярлык мог быть прикреплен к посылке для некоего Душилы.

Грамота № 763. Найдена в квадрате 1265 Троицкого раскопа на усадьбе И в слое, датируемом по предварительной стратиграфической оценке первой половиной XIII в. Это фрагмент последней строки берестяного письма:

...|-ослы[ш]а[ти] -----[до]ров[ее и п]о[кл]анаюся

По-видимому, его автор желает услышать о здоровье адресата и кланяется ему.

Грамота № 764. Найдена при раскопках в Детинце. Стратиграфической даты не имеет; для палеографических наблюдений мало данных. Это крохотный фрагмент, не дающий возможности однозначного толкования:

(... |) ... город... (| ...)

Грамота № 765. Найдена в квадрате 1249 Троицкого раскопа на территории усадьбы Г в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке первой половиной XIII в. Это целое письмо, текст которого написан в шести строках:

+ поклонание ѿ данила ко брату к ѕыгнату брать
попецалися о мне хожю ти наго ни мат[л]а ни иого цого
[а] прислы матьле рудаво а седе кунъ дам[о]
[а] сомещи колико даси на сукне | а госпожа не придала
а уомилоседри[с]а брать дае ми место зади не на цеме са ко-
рмити и кланаю ти са

Левый край грамоты (1–2 буквы в каждой строке) читается с трудом; поэтому чтение [*а*] в начале третьей и четвертой строк не вполне надежно. В конце третьей строки последняя буква повреждена; скорее всего это [*о*], но не исключено также и [*е*].

Перевод: ‘Поклон от Данила брату Игнату. Брат, позаботься обо мне: хожу ведь голый – ни плаща, ни иного чего! Пришли же буро-красный плащ, а я здесь деньги отдам. Да скинь, сколько дашь за сукно. А госпожа [меня] не пожаловала. Умилосердись же, брат, дай мне место на задах: не на чем кормиться. Кланяюсь тебе’.

По-видимому, сукно у Данила есть и он собирается отдать его брату натурой (или уже отдал). Кто такая госпожа, из контекста неясно. Понятно, что Данил надеялся получить от нее некое пожалование (или добавку к уже выданному), но не получил. *М⟨ѣ⟩сто зади* – очевидно, участок земли в задней части Игнатовых владений или вообще на задах деревни: автор придает своей просьбе как можно более скромную форму.

В тексте письма некоторые описки остались неисправленными: *ни иого* вместо *ни иного* (или, может быть, вместо *ни ного*), *уомилоседри[с]ѧ* (перестановка *р* и *д*).

Большой интерес представляет словоформа *прислы*. Написание *ы* здесь указывает на твердость *л*, а отвердение прежнего [*л’*], очевидно, объясняется прогрессивной ассимиляцией по твердости: [*съл’*] > [*сл’*] > [*сл*].

Автор явно имел установку на "правильный" язык: он не выдал своего родного диалекта ничем, кроме цоканья и формы *прислы*. Свое имя он дает в мужском морф. роде (ѿ *Данила*), тогда как в живой речи несомненно преобладал женский морф. род (ѿ *Данилѣ*). Выражения *умилосердисѧ, хожю ти нагъ*, как можно полагать, имели некоторый церковный оттенок. Письмо являет собой искусное соединение красивых разжалобливающих фраз с весьма конкретными практическими просьбами.

Мѧтель (ранне-др.-русск. *мѧтьль*) – ‘плащ’, ‘верхняя одежда’ (старое заимствование из латыни через германское посредство); перед нами одна из самых ранних фиксаций этого слова.

Рудавыи – ‘буро-красный’, ‘цвета руды, ржавчины’. В других источниках само это слово ранее не встречалось; отмечено только производное *рудавьщина* в берестяной грамоте № 713.

Сметати (презенс *смечеть*) – ‘сбросить, скинуть’, здесь о вычете из цены (ср. в современном языке *скидка, сделать скидку*).

Придати могло означать ‘добавить’, ‘дать впридачу’, но также и просто ‘дать’, ‘пожаловать’ [Срезн., 2: 1398; Слов. XI–XVII, 19: 140]; контекст данной грамоты в принципе допускает оба эти значения.

Грамота № 766. Найдена в квадрате 1403 Троицкого раскопа в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке первой половиной XIV в. Это фрагмент средней части письма:

(... |) ... возъ в...
себѣ которои взѧли бу(елъ) ...
мьръ въдерли вз(ѧли) ... ... (гри)
внахъ : шест...
взѧли ... (| ...)

Несмотря на исключительную ущербность уцелевшего текста, возможно понять его общий смысл. Речь идет об ограблении пасеки и исчислении нанесенного этим грабежом ущерба. Лексика донесения находит прямое соответствие в формуле Русской Правды: *Аже бчелы выдереть, то 3 гривне продаже* [ПР: 112, 158, 174, 195, 255, 271, 288, 310, 336, 357, 383, 436, 437].

Грамота № 767. Найдена в квадрате 1262 Троицкого раскопа на территории усадь-

бы Г в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке рубежом XII и XIII вв. Это небольшой фрагмент средней части берестяного текста:

(... |) ...--- [ос]м[є] юн[д]... (| ...)

Слово *юнда* зафиксировано в олонецких говорах, где оно означает 'рыбачью мережу особого устройства' [Даль, 4: 667]. В грамоте, следовательно, упоминаются восемь таких юнд.

Грамота № 768. Найдена в квадрате 1296 Троицкого раскопа на мостовой между усадьбами Г и В в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке первой половиной XIII в. Это фрагмент нижней правой части письма:

(... |) ...[аро]во[к]оли
...[вь]зли ко собє оутворо
... · а тъі како вьлиши

Словом *оутворъ* обозначалось 'приготовление, снаряжение' [Срезн., 3: 1305]. Автор письма сообщает, что кто-то вывез к себе снаряжение (некий припас), и запрашивает адресата о его распоряжении по этому поводу.

Грамота № 769. Найдена в квадрате 1237 Троицкого раскопа на территории усадьбы И в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке второй половиной XII в. Это небольшой фрагмент средней части берестяного текста:

(... |) ... [о]у малатѣ в[ъ] ... (| ...)

Имя *Малѧта* уже было встречено в берестяной грамоте № 688, найденной в 1987 г., на той же усадьбе И и в тех же пластах второй половины XII в. Очевидно, в обоих документах речь идет об одном и том же человеке, который в грамоте № 688 поименован *Малѧта Радонежь воноуке* [Янин, Зализняк 1993: 72].

Грамота № 770. Найдена в квадрате 1237 Троицкого раскопа на территории усадьбы И в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке второй половиной XII в. Это небольшой обрывок окончания записи:

(... |) ...новичь :з гривьнъ

Для понимания контекста, в котором упомянуты 7 гривен, недостаточно данных.

Грамота № 771. Найдена в квадрате 1467 Троицкого раскопа в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке концом XIII в. Это целое письмо, текст которого написан в шести строках:

офимиѧ каже вєстє къ
тобє ґрвнꙋ сєрьбра прис-
ли на дьвкє | дѣтатию
присли вєстє ажь долго
бꙋдє долго мєдлати
присли вєстє

Перевод: 'Офимья сообщает тебе весть. Пришли гривну серебра за девку. С ребенком пришли [об этом] весть. Если [тебе] придется долго медлить, то [тоже] пришли весть'.

Слово *дѣтѧтию* отчеркнуто слева и сверху: таким способом Офимья показала, что отсюда начинается новая фраза. В данном случае разделительный знак дейст-

вительно важен: он предотвращает ложное чтение ‘Пришли за девку гривну серебра с ребенком’. Слово *долго* написано дважды. Офимья решила поставить это слово в другое место фразы, но первое *долго* не зачеркнула.

Чрезвычайно интересен Т.ед. *дѣтѧтию,* с окончанием женского, а не среднего морф. рода. Этот уникальный для древнерусского языка пример показывает, что морфологически аномальная словоформа *дитятею* (*дитятей*), ставшая нормой для русского языка XVIII–XIX вв., начала формироваться уже в древний период. Контекст не дает никаких оснований полагать, что здесь имеется в виду именно девочка, а не мальчик; ср. безразличие к полу и в позднейшей форме *дитятею.*

Медлѧти – ‘медлить’, ‘задерживаться’ [Слов. XI–XVII, 9: 61]. О том, что этот глагол был употребителен в живой речи новгородско-псковского региона, говорят примеры из Фенне: *Ia tebe dlæ duedni: tridni: sotiridni smeskal: s m e d l æ l* [Fenne: 380], *Ia tebe sagodne p e r e m e d l e i u da safftro k tebe budu* (там же).

Аже буде медлѧти – безличная конструкция с *буде* в значении ‘доведется’, ‘придется’, ‘случится’ и с подразумеваемым актантом ‘тебе’; ср. фразы типа *аже боудѣть търговати смолнѧниноу съ немьчицемь* в Смоленском договоре 1220-х гг. [Смол. гр.: 26]. Такая конструкция в данном случае вежливее, чем, скажем, *аже почнеши медлѧти* ‘если будешь медлить’: задержка предстает как нечто не зависящее от воли адресата.

Грамота № 772. Найдена в квадрате 1409 Троицкого раскопа в напластованиях, датируемых второй половиной XIII в. Это фрагмент средней части документа:

... | мною [п]ро хороме ѕ҃ї грвно тако поусти [м]н... | ...

Для истолкования общего смысла текста данных явно недостаточно. Не исключено, что упомянут долг автора в 17 гривен за какие-то хоромы. Далее, по-видимому, было сказано: ‘поэтому пошли...’ (или ‘поэтому пусти...’).

Грамота № 773. Найдена в квадрате 1233 Троицкого раскопа в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке второй половиной XII в. Это фрагмент средней части письма:

... [и] ѿ ...
...-- въıпр...
... [съ]пєреть ...
...моу [и] дьрж[и] ...
...-[ѣ] то · поклан...

Невосполнимые утраты документа позволяют утверждать только, что он сохранил остатки как первой строки с адресной формулой, так и последней с традиционным *покланѧю ти сѧ*.

Грамота № 774. Найдена в квадрате 1301 Троицкого раскопа на мостовой между усадьбами Г и В в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке концом XII в. Это два не соединяющихся друг с другом фрагмента одного письма:

1-й фрагмент

... | --- възьмъши а тако [собѣ] въ[зм]...

2-й фрагмент

...--до пє[л]ьпьлокє на къ|...

Слово *пелепелъка* имело два значения: 1) птица перепелка; 2) деталь мелких металлических украшений, блестки, бляшки, резные фигурки [Слов. XI–XVII, 14: 188]. Здесь, вероятно, оно употреблено во втором значении.

Грамота № 775. Найдена в квадрате 1390 или 1328 Троицкого раскопа в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке концом XIII в. Это целое письмо, текст которого написан в шести строках:

ѿ дроцили · ко поникарпу · куплено ти рожи · ѡсми надсѧте полушоко :| а пешеници ·є· полушоко · а нинѧ · намово нету · а бес куно не везю^те^ · любо же ·| присли кунъı · любо же · а смолови с къıмо [·] любо є · седе тите приеха возмете : а ку|плено по полу гривни роже · а пешеница · по сороку бес куни · а на кони приши ·| ли ми ·в· гривни серебра · а ѧ муже небогатое кланаюсѧ · нама ти хотѧ ти по ·й· | куну и по мородоки

Перевод: ‘От Дрочилы к Поникарпу. Вот куплено (или: куплено тебе) ржи восемнадцать полушек, а пшеницы пять полушек. А нынче денег на наем нет – а без денег не везут. Так что либо пришли деньги, либо договорись с кем-нибудь, либо это здесь возьмет, приехавши, Тит. А куплена рожь по полугривне, а пшеница по сорок [кун] без куны. А за коня (или: на коней) если пришлешь мне две гривны серебра, то я, человек небогатый, кланяюсь (= прошу с поклоном): комиссионных-то [мне] хотя бы по восемь кун и по мордке’.

Полушка – мера зерна [Слов. XI–XVII, 16: 278]. *Мордка* – мелкая денежная единица. Как выше предположено, она была равна в XV в. половине новгородской денги.

На основании этой грамоты могут быть сделаны некоторые наблюдения относительно денежной системы Новгорода ее времени. Как показывают летописные свидетельства, примерное соотношение цен на рожь и пшеницу в XII–XIII вв. равнялось 3:5 [Аристов 1866: 292]: в голод 1228 г. кадь пшеницы продавалась по 5 гривен, тогда как кадь ржи стоила 3 гривны [НПЛ: 66, 271], а в 1230 г., когда цена кади ржи возросла до 25 гривен, кадь пшеницы продавалась за 40 гривен [НПЛ: 69, 277]. Следовательно, если в нашей грамоте полушка пшеницы стоит 39 кун, а полушка ржи – половину гривны, то гривна должна включать около 50 кун, что идеально соответствует счету Пространной Правды (гривна = 50 кунам). Если гривна серебра (196,2 гр. серебра) и в это время делилась на 4 гривны кун, в ней содержалось 200 кун, а куна приравнивается 0,96 гр. серебра. Между тем, если в XV в. мордка равнялась московской денге (т.е. половине новгородской денги), то "Память, как торговали доселе новгородцы" утверждает, что куна была равна двум московским денгам [Янин 1985]; там же зафиксировано тождество мордки двум четверетцам, т.е. той же половине новгородки. Иными словами, Дрочила желает получить в качестве комиссионных по 8,5 кун, иначе по 17 мордок. Более важен другой вывод из предложенных наблюдений. Во второй половине XIII в., как свидетельствует статья "А се бещестие", гривна серебра делилась не на 4, а на 7,5 гривен кун [НПЛ: 498], тогда как равенство гривны серебра 4 гривнам кун фиксировано документом 1229 г. [Смол. гр.: 40]. Поэтому, вопреки предварительной стратиграфической оценке, рассматриваемая грамота датируется самое позднее серединой XIII в.

Сложное место представляет отрезок *любо е* (строка 3) и соседние с ним. В предложенном выше толковании *любо* понимается как союз ‘либо’, продолжающий ряд из двух предшествующих *либо*, а *е* – как В.ед. среднего рода ‘его’, ‘это’ (т.е. ‘всё закупленное’). Практически тот же смысл получается при истолковании *е* как связки: *любо е* ‘[если же] любо (подразумевается: тебе)’; последнее *любо* выступает в этом случае в своей исконной функции краткого прилагательного (‘приятно’, ‘угодно’). Но в

принципе мыслимо и совсем другое прочтение: *а смолови с кымо любо е, седе ти те приеха возмете* ‘договорись с кем [тебе] угодно, и тот здесь, приехавши, возьмет’ (где *е* – связка, *ти* – частица, *те* – И.ед. муж. ‘тот’). Эта версия довольно привлекательна (особенно если учесть, что точка после *кымо* не совсем надежна), но все же весьма уязвима: конструкция *с кым⟨ъ⟩ любо е* (вместо обычного *с кымъ любо*), как кажется, не засвидетельствована (вдобавок, для нее гораздо естественнее был бы порядок слов *с кымъ е любо*); в *те ... возмет⟨ь⟩* подлежащее *те* скорее всего должно было бы быть опущено.

Неясен также отрезок *приши.|ли* (строки 4–5). Усматривать здесь запись без ошибок, т.е. презенс от книжного глагола *пьрѣти* ‘спорить’ (непереходного), по-видимому, невозможно. Но характер ошибки неочевиден. Скорее всего это пропуск слога в *прислеши ли* (ср. *виши* вместо *видаеши* – потом исправленное – в грамоте № 59, *буше* вместо *будеше* в грамоте № 277, *присъте* вместо *присълите* в грамоте № 424 и т.п.). Но не исключено также, что перед нами *пришли* (императив), записанное с лишним *и* (перфект *пришли* не подходит по смыслу). В этом случае, однако, придется допустить, что автор один раз записал этот императив с *с* (*присли*, строка 3), а другой раз с *ш*. Заметим, что точка после *ши* при версии *пришли* предстает как прямая ошибка; но она, вообще говоря, малоуместна и при версии *прислеши ли*. К счастью, на общий смысл фразы различие этих двух версий почти не влияет. Весьма интересно *ѡсми надсѧте*, с *ѡсми* вместо *ѡсмь*. Это самый ранний ныне известный пример диалектной (новгородско-псковской) инновации, состоящей в замене И.В. *ѡсмь* на *ѡсми* (как в составе сложных числительных, так и в самостоятельном употреблении).

С синтаксической точки зрения следует отметить фразы с *куплено*: *куплено ти рожи ѡсми* (И.В.) *надсѧте полушоко*; *куплено по полу гривни роже* (И.В.), *а пшеница* (И.) *по сороку бес куни*. Здесь возможны две синтаксические интерпретации: 1) *ѡсми надсѧте* и *роже* – это В., т.е. перед нами конструкция типа *куплено корову*; в этом случае И. падеж словоформы *пешеница* должен рассматриваться как разновидность "именительного присоединения"; 2) *ѡсми надсѧте* и *роже* – это И. (как и *пешеница*), т.е. перед нами конструкция без согласования, сходная с той, где участвуют краткие прилагательные (во фразах типа *почта побѣ буде гоже, велико человѣку тому мьзда*).

Слово *намъ* в эту эпоху уже тесно сблизилось со словом *наимъ*: и то и другое обнаруживает как значения ‘проценты’, ‘лихва’, так и значения ‘арендная плата’, ‘плата за работу, услугу’, ‘комиссионные’. В настоящей грамоте *намов⟨ъ⟩* (строка 2), по-видимому, означает деньги, которые Дрочила должен был отдать за перевозку купленного зерна, *нама* (строка 5) – комиссионные (очевидно, за покупку коня или коней).

Смолвити съ кымь – ‘уговориться, договориться с кем-либо’; ср. *по сомолове* ‘по уговору, по договоренности’ в грамоте № 344 (любопытно, что там речь идет о договоренности не с кем иным, как с Дрочилой; не исключено, что в этих двух грамотах, близких по датировке, но найденных в разных районах Новгорода, фигурирует одно и то же лицо).

Сорокъ выступает в настоящей грамоте явно в том же значении, что ныне (т.е. ‘40’), а не в значении ‘сорочок’ (связка из сорока шкурок – в качестве таковой или в качестве особой товарно-денежной единицы).

Поникарпъ – народная форма имени Поликарп ([л’] сменилось на [н’], вероятно, в результате диссимиляции с [р]). Ранее, по-видимому, не отмечена; но именно к этой форме восходят (через посредство гипокористических производных) топонимы *Понишково, Поникша, Поникши* [НПК 1910: 194; 1886: 309; 1905: 573].

*

Следует упомянуть еще две находки сезона 1996 г., имеющие отношение к рассматриваемой теме.

1. В квадрате 1289 Троицкого раскопа на территории усадьбы Г в напластованиях, датируемых по предварительной стратиграфической оценке первой половиной XIII в., был найден берестяной лист, правый край которого был занят трехстрочной "надписью":

жлнхлѿ
овонруо
нвлхл[а]

Не исключая того, что это может быть некий образец тайнописи, предлагаем читателям принять участие в его дешифровке.

2. В квадрате 1535 Троицкого раскопа в перекопе найден небольшой кольцеобразный камень (рис. 1) с надписью на одной стороне:

лѣса камѣна(...)

а на обороте:

во сморо[ж]---[ѣ] нашле ѥсифъ

Палеографическая дата надписи – XV в.

*Лѣса камѣна(*или *камѣнаꙗ)*, – возможно, наименование самого предмета как грузила при рыболовной 'лесе', 'леске'. Вторая надпись сообщает, что этот камень Есиф нашел в 'смороде' (?), в 'смородине', 'смороже' (?), в речке, название которой начиналось на *Сморо-* (?). Ср. с надписью на шиферном пряслице: *Иваноке налезе* [Янин, Зализняк 1993: 113].

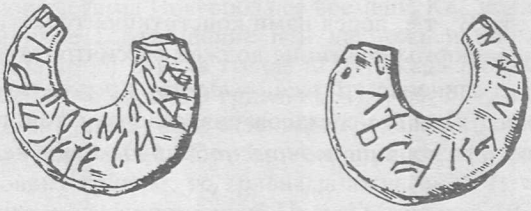


Рис. 1

ИСТОЧНИКИ

Гринченко – *Гринченко Б.Д.* Словарь украинского языка. Т. 1–4. Киев, 1907–1909.

Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. СПб.; М., 1880–1882.

ДДГ – Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.

НПК – Новгородские писцовые книги. Т. 2. СПб., 1862; Т. 4. СПб., 1886; Т. 5. СПб., 1905; Т. 6. СПб., 1910.

НПЛ – Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

ПР – Правда Русская. Т. 1: Тексты. М.; Л., 1940.

Пск. суд. гр. – Псковская судная грамота // Российское законодательство X–XX вв. В девяти томах. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М., 1984.

Слов. XI–XVII – *Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1-*. М., 1975–.

Смол. гр. – Смоленские грамоты XIII–XIV вв. М., 1963.

Срезн. – *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1–3. СПб., 1893–1903.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1– М.; Л., 1965–.

Fenne – Tönnies Fenne's Low German manual of spoken Russian (Pskov 1607). V. 2. Copenhagen, 1970.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аристов Н. 1866 – Промышленность древней Руси. СПб., 1866.

Хорошкевич А.Л. 1962. – Иностранное свидетельство 1399 г. о новгородской денежной системе // Историко-археологический сборник. М., 1962.

Янин В.Л. 1970 – Берестяные грамоты и проблема происхождения новгородской денежной системы XV в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. III. Л., 1970.

Янин В.Л. 1985 – "Память, как торговали доселе новгородцы" (К вопросу об эволюции новгородской денежной системы в XV в.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XVI. Л., 1985.

Янин В.Л., Зализняк А.А. 1993 – Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.

Янин В.Л., Зализняк А.А. 1994 – Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990–1993 гг. // ВЯ. 1994. № 3.

Янин В.Л., Зализняк А.А. 1996 – Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1995 г. // ВЯ. 1996. № 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. Е.Э. БАБАЕВА, А.Ф. ЖУРАВЛЕВ, И.И. МАКЕЕВА

О ПРОЕКТЕ "ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА"*

"Исторический словарь современного русского языка" (далее: ИС) был задуман ныне покойным Дмитрием Николаевичем Шмелевым. Работа над словарем ведется в Отделе современного русского языка Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

Д.Н. Шмелевым была выдвинута идея исторического лексикона современного русского языка, в котором основным предметом лексикографического анализа станет развитие значений слов, принадлежащих актуальному словарному составу, вне зависимости от степени древности или новизны самих лексем, семантическая эволюция того или иного слова в ее достижимой целостности и полноте, пути сложения семантических структур отдельных слов, лексических гнезд и групп. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что к созданию такого словаря, имеющего дело со всей актуальной лексикой русского языка, отечественная лексикография еще не готова, и его подготовка и реализация – задача, к сожалению, не слишком близкого будущего, Д.Н. Шмелев предложил концепцию работы, в значительной мере предварительной, экспериментальной, не стремящейся к полному охвату лексического состава современного русского языка, работы, в которой могут быть испытаны различные приемы диахронического описания лексической семантики, выработаны типы словарных статей, обращенных к разным категориям и группам слов, детализован и отшлифован необходимый лексикографический аппарат.

Нужно сказать о том, что в отечественной лексикографии жанр собственно исторического словаря (если к таковому не относить, разумеется, этимологические словари, преследующие существенно иные цели) до сих пор не представлен. Те лексиконы, которые мы привычно называем "историческими словарями" ("Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам" И.И. Срезневского, "Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)" – ДРС, "Словарь русского языка XI–XVII вв." – СлРЯ XI–XVII и под.), скорее представляют собою статическое описание лексики и семантики, хотя бы и совмещающее лексический материал разных временных "срезов". Они дают сведения, которые должны быть положены в основу диахронического исследования, результаты которого в дальнейшем могут быть представлены в словарной форме, но самой этой динамики в открытом виде читателю не предъявляют. Сказанное ни в коем случае не следует понимать как указание на какой-либо недостаток упомянутых лексиконов: ценность письменных свидетельств в исторической лексикологии и семасиологии неоспорима, и значимость упомянутых словарей исключительно велика. Определения "исторический" в названиях словарей типа ДРС и СлРЯ XI–XVII вв. нет, и это не случайно: истории лексического состава русского языка, истории семантики даже отдельных слов они не дают, у них другая задача – прежде всего выявление и как можно более точная лексикографическая фиксация как можно большего числа лексических и семантических

* Работа выполнена в рамках проекта, получившего финансовую поддержку Российского гуманитарного научного фонда. Грант № 95-06-17330.

фактов, извлекаемых из письменных документов, создание базы (точнее, одной из баз) для будущих диахронических построений, но еще не сам целенаправленный диахронический анализ. Характеризовать эти словари как исторические – это то же самое, что относить диалектные словари к области лингвогеографии на том основании, что слова в них снабжены территориальными пометами.

До некоторой степени исключение составляют "Словарь русского языка XVIII века" и "Историко-этимологический словарь современного русского языка" П.Я. Черныха. В первом из них элементы собственно исторического лексикографического анализа присутствуют в виде системы специальных помет (символов), эксплицирующих те или иные моменты эволюции отдельных слов, а тем самым и динамики лексического состава (вхождение слова в лексикон, рост употребительности, ее угасание, исчезновение слова, семантические, стилистические, функциональные изменения и т.д.). Однако этот словарь ограничен узкими хронологическими рамками в сто с небольшим лет и, в основном развивая принципы вышеуказанных лексиконов, к жанру словаря исторического может быть отнесен лишь отчасти. В словаре П.Я. Черныха имеются суждения о развитии конкретных значений того или иного слова, но они носят как правило весьма фрагментарный характер и касаются лишь заголовочного слова при явно гнездовом построении словарной статьи.

Историю слов нельзя восстанавливать, опираясь лишь на письменные свидетельства. Причиной тому – довольно узкий спектр жанров письменной речи, обусловленный заметной тематической и функциональной ограниченностью памятников, особенно относящихся к древним эпохам, неполнота и случайность многих словесных фиксаций. Существеннейшие звенья семантической биографии многих слов, в особенности начальные, письменностью вообще не свидетельствуются.

В "исторической" лексикографии большое значение, и вполне разумно, придается первым фиксациям слов – как явлению, призванному отразить вхождение слова по крайней мере в письменный узус. Однако критерии первой фиксации надежно применимы лишь к сравнительно поздней лексике определенного характера (заимствования, наименования поздних реалий и явлений социальной, культурной жизни, специальная терминология и т.д.). Лексикологам-историкам прекрасно известны недостоверность и неубедительность хронологии лексических и семантических фактов лишь по письменным источникам: памятники отражают лексику и в еще большей степени семантику весьма избирательно. Например (если судить по данным изданных выпусков СлРЯ XI–XVII вв.), до XVII века включительно в русских памятниках не фиксируются такие праславянские слова, как *безусый, глушить, густота, добавить, доказать, душить, желвак, клещ, коренастый, котловина, листопад*...; только с XVII века фиксируются праславянские по возрасту слова *бабушка, брызгать, верность, гнет, груз, двойка, двойня, зевать, лиса, малина, мелеть, набег, нарезать, ноша, нырять, плутать*...; только с XVI века – *бездетный, гибкий, глупость, гриб, долото, журавль, кашлять, клин, клоп, кусок, кутать, линять, липа, манить, мякина, ножка*...; только с XV века – *бельмо, вернуться, волокита, ель, кислый, коса* 'волосы', *наказ, пар*...

В качестве источников для построения истории слов наряду с данными памятников письменности прошлых времен (при исследовании которых применяется филологический метод реконструкции прежних состояний лексики и семантики) пристальное внимание должно уделяться современной лексике, как литературной, так и находящейся за пределами кодифицированных форм языка. В этом случае на первый план выдвигается метод внутренней реконструкции: восстановление лексем по сохранившимся производным, реконструкция несохранившейся семантики мотивирующего слова по ее отражению в мотивированных, производных словах, устойчивых словосочетаниях, фразеологии и т.д.; диалектная лексика часто сохраняет семантику, отсутствующую в литературном языке, но существенную для истории слова (ср., например, значения '(какая-то) часть тела птицы' в древнерусском и 'грудная кость

курицы' в вятских говорах у слова *память* при отсутствии чего-либо подобного в современном литературном языке; диалектные значения 'зависть' у слова *зазор*, 'благоприятная пора' у *год*, 'верх, верховья', 'суша' у *гора*, утраченные литературным языком). Для восстановления потерянных звеньев семантической эволюции слова немаловажным является обращение к родственным внешним данным, в нашем случае прежде всего инославянским.

Непосредственными источниками ИС служат изданные и издающиеся словари Срезневского, ДРС, СлРЯ XI–XVII вв., словарь XVIII века, их картотеки, толковые словари современного русского языка, диалектные словари, этимологические справочники, аналитические публикации по истории русской лексики, собственные историко-лексикологические разыскания составителей.

Как было сказано, создание относительно полного исторического словаря русского языка – дело отдаленного будущего, сейчас речь может идти лишь о некоем предварительном жанре. Этим вызывается ряд особенностей ИС, которые следует оговорить.

ИС является кратким словарем. Как можно заметить по предлагаемым в данной публикации образцам словарных статей, требование краткости имеет отношение главным образом к объему словника. Составители ориентируются на словник в 1000–1200 единиц. В него включаются только знаменательные слова (апеллятивы) современного литературного языка. Диалектная лексика, как сказано выше, специальным предметом внимания в ИС не является, однако диалектные семантические факты занимают в диахроническом анализе слов подобающе важное место.

Основная цель словаря – представление семантической эволюции русской лексики, процессов сложения семантической структуры слов современного русского языка, поэтому в словник ИС включаются лишь те слова, история которых связана со значительными преобразованиями в их семантике. Несмотря на стремление составителей продемонстрировать судьбу значений каждого отдельного слова в известной полноте, для слов с богатым спектром диалектной семантики это свое желание составители вынуждены оставлять удовлетворенным не вполне: в противном случае словарные статьи могут разрастись до труднопредсказуемых размеров (в сводном "Словаре русских народных говоров" у слова *пазуха*, например, фиксируется 17 значений, у *гнездо* – 24, у *нога* – 35, у *колода* – 55...). Кроме того, семантика диалектных слов негомогенна, диалектный язык является резко выраженным полисистемным конструктом (теоретико-множественной суммой, реально в полном составе нигде не представленной).

Поскольку основным предметом анализа в ИС является лексическая семантика, постольку грамматические сведения о том или ином слове сводятся к минимально необходимым: они даются лишь в том случае, если тесно связаны с семантическими преобразованиями в истории слова.

Сведения о формальном варьировании слов (для древней лексики, осваиваемых заимствований и т.п.) даются очень ограниченно. Один из лексикографических принципов ИС – не повторять информации, которая может быть найдена в других словарях (хотя, разумеется, это правило не может быть безусловным).

Сведения о стилистической принадлежности слова подчинены общей цели словаря. При наличии сдвигов в стилистической характеристике слова они отмечаются применительно к отдельным значениям. По отношению к древнерусскому периоду стилистический комментарий может сводиться к указанию на степень распространенности слова или значения в том или ином жанре.

В отличие от упомянутых лексиконов, традиционно относимых к "историческим", которые рассматривают свой материал в ограниченном хронологическом пространстве, ИС ставит своей задачей восстановление истории слова на протяжении всего тысячелетнего существования русского языка (начиная с древнерусского, т.е. общевосточнославянского периода).

ИС адресован главным образом образованному непрофессионалу, предпочтительной

в качестве "потребителя" словаря мыслится широкая фигура гуманитария-нелингвиста. Этим назначением словаря определяются некоторые особенности применяемой в нем лексикографической техники: минимальное количество эзотерической лингвистической терминологии, неприменение нумерованных рубрик, особых графических символов (как в словаре XVIII века), непрозрачных для неспециалиста сокращений, глухих ссылок, умолчаний и т.д.

При расположении значений слова внутри словарной статьи из трех возможных принципов – логико-иерархического, хронологического и генетического – в ИС предпочтение отдается последнему (об иных принципах, например, базирующемся на учете частоты встречаемости разных значений слова, в словаре предлагаемого типа не может быть речи).

Логическое построение, которое преобладает в словарях синхронистического типа (первым дается наиболее общее или абстрактное значение, затем – конкретные, с принятием во внимание употребительности соподчиненных значений), в качестве основного принципа в историческом словаре не пригодно: абстрактные значения обычно развиваются позже (например, значение 'починка, устранение неисправностей' у слова *ремонт* в русском языке вторично, первоначально слово употреблялось с семантикой 'обновление "парка" лошадей в войсках', ср. еще современное специальное значение 'пополнение стада молодняка'). При следовании логическому принципу в статье исторического словаря семантическая эволюция весьма часто рискует быть представленной с нарушением реальной зависимости между значениями.

Хронологический принцип размещения значений (значения располагаются в порядке их появления в языке) неприменим по нескольким причинам. Во-первых, хронология возникновения тех или иных значений может быть совершенно неизвестна (свидетельства памятников, как говорилось, ненадежны). Во-вторых, первые фиксации разных значений слова могут давать хронологически неадекватную картину (например, исходное значение глагола *основати* 'сделать основу ткани' в памятниках впервые фиксируется в XVII веке, тогда как очевидно производная семантика 'утвердить, учредить' свидетельствуется уже Остромировым евангелием, XI век; к XI же веку относятся фиксации значений 'сильный, крепкий' и 'крюк' у слов *железный* и *ноготь* соответственно, в то время как первичные их значения 'сделанный из железа' и 'ноготь' отражаются восточнославянской письменностью лишь в XII–XIII веках). В-третьих, значения многозначного слова весьма часто образуют древовидную структуру; линейное расположение значений такого слова в словаре в порядке возникновения лишает их внутренней связи.

Генетический принцип построения значений внутри словарной статьи, избранный в ИС, опирается на сохранение и явное представление древовидной структуры: сначала дается первичное значение, даже если оно весьма редко или представлено только поздними письменными фиксациями, затем производное$_1$ и его дальнейшие производные, производное$_2$ и его производные и т.д. Однако неясность генетических зависимостей между значениями многозначного слова, по-видимому, потребует применения иных последовательностей, прежде всего логической; выдержать генетический принцип следования значений без отступлений от выбранного правила можно будет, вероятно, далеко не во всех случаях. В связи с оговоренной ранее сложностью хронологизации лексико-семантических изменений по имеющимся источникам указания на время появления и исчезновения у слова того или иного значения могут носить предположительный характер.

Для наглядного представления сложной картины семантических изменений в истории слова во многих случаях авторы ИС считают необходимым сопроводить словарную статью графической схемой его семантического развития.

В связи с тем, что ИС обращен главным образом к истории значений, специальное внимание в нем уделяется такой проблеме, как отражение системных связей и зависимостей в семантической эволюции лексики (межпарадигматические семантические связи, аналогическое семантическое развитие, взаимная смысловая

специализация разных слов, групповая эволюция и т.п.). Ср., например, связанность во времени (конец XVIII века) смысловой специализации слова *овощ* 'плод' > 'огородная культура' с семантической дифференциацией слов *сад* : *огород* (следы старого значения слова *овощ* можно усмотреть, например, в современных сочетаниях *овощной магазин* 'магазин, торгующий различными плодами [а не только овощами]' и под.).

Представляется важным показать в ИС меру самобытности семантической эволюции русской лексики. Весьма желательной представляется экспликация различий между "банальными" и "оригинальными" моментами в истории лексической семантики. Помимо прочего, это может достигаться включением в состав словарной статьи семантических параллелей – диалектных, инославянских, внеславянских (ср. *цыпки* 'трещинки на обветренной коже' : псков., твер. *гуси* 'то же'; *собачка* 'блокиратор, чека, спусковой крючок' : укр. диал. *тютік, цуцик* 'то же', болг. *кучка* 'то же', букв. 'собачка'; русск. *книжка* 'отдел желудка жвачных животных' : франц. *psautier* 'то же', англ. *psalterium* 'то же', букв. 'псалтырь'; русск. *свинка* название болезни : нем. *Ziegenpeter* 'то же', букв. 'козий Петр').

В тех случаях, когда семантические преобразования оказываются тесно зависимыми от изменений во внеязыковой действительности (в т.н. "культурной лексике"), составители ИС считают целесообразным сопровождать собственно лингвистический комментарий справками энциклопедического характера.

В качестве иллюстративного материала используются цитаты из памятников письменности, по возможности сведенные к минимальному контексту, классической и современной литературы, отдельные речения.

ГОРОД[1]

Слово восходит к праслав. основе **gordъ* (**gorda, *gordь*), которая продолжает и.-е. обозначение **gherdho-/*ghordho-*, ('то, чем огораживают', 'отгороженное место', 'отделенная часть чего-либо', данное обозначение происходит от глагольного корня **gher-/*ghor-* 'огораживать'), производной от глагола **gorditi* (ср. *городить*). Слово *городъ* в русском литературном языке фиксируется с XII в., однако за пределами книжной письменности оно известно и в XI в. (см., например, новгородские берестяные грамоты). В истории русского языка исконная полногласная форма конкурирует с заимствованной (южнославянской) неполногласной формой *град(ъ)*. С начала функционирования слово являлось полисемантичным. Внутренняя структура слова на протяжении XII–XVIII вв. оказывается более сложной, чем в современном языке. Взаимодействуя со словами *град, ограда, огород, городок*, она сильно упростилась и свелась к стилистически нейтральному обозначению крупного населенного пункта, а также, по принципу метонимии, жителей данного населенного пункта. Однако в современных русских диалектах слово сохраняет более разветвленную систему значений, объединяемых общим компонентом 'сооружение, нагромождение', ср., напр., *город* 'нагромождение льдин, образованное при взломе льда на море' (урал.), 'несколько бабок льна, поставленных в определенном порядке' (рост., яросл.), а также *городок* 'лабиринт, выложенный (в древности) из камней на земле' (кольск.), *городки* 'скопление, груда посуды (обычно грязной)' (соликам.). Экспрессивный характер носят моск., влад. *город* 'высокая, крупная женщина', олон. *город-девка* 'богатая и пригожая девка, завидная невеста' (не исключено, что в последних примерах косвенно сказалось влияние библейских текстов, содержащих метафорическое отождествление города – Иерусалима, Вавилона и др. – с девой-невестой и блудницей, ср., напр., Откр. 21, 9–10; Ис. 1, 21, в конечном счете восходящее к универсальному мифопоэтическому отождествлению земли и женского начала, ср. *мать-земля*, греч. μητρόπολις 'столица', букв. 'мать-город').

---

[1] После каждой словарной статьи стоят инициалы автора.

– ‘ограда, стена’: Многы *городы* разсыпа (Ипатьевская летопись, XV в.). Значение является, по всей видимости, наиболее древним (так, оно фиксируется в тексте "Житье и хоженье Данила Русьскыя земли игумена", сохранившийся список которого восходит к 1106–1107 гг.) и утрачивается к XIX в. В др.-русск. письменности обычно используется для обозначения крепостной стены, вала вокруг населенного пункта, крепости, монастыря (ср. старославянское *градъ* ‘стена’). Значение ‘изгородь’, т.е. ‘ограда’, не предназначенная для обороны при военных действиях, в отличие от литературного языка известно совр. русск. диалектам. Ср. аналогичное знач. у *град, ограда, огород*.

– ‘защита’: вы есте нашь *городъ* (Переяславская летопись, XV ~ XIII вв.). Значение зафиксировано в ряде летописных сводов XIII–XV вв. (Переяславской лет., Лаврентьевской лет., Ипатьевской лет., Радзивиловской лет.) в одном и том же устойчивом контексте под 1169 г. (борьба Глеба против половцев), восходящем, по всей видимости, к Владимирскому летописному своду XIII в. При отсутствии других письменных свидетельств подобного употребления это значение может считаться окказионализмом, поддержанным, однако, аналогичным употреблением близких по семантической структуре слов *ограда, огород, оплот* (др.-русск. ‘ограда’, к *плести*, > ‘защита, твердыня’), *стена, забрало* (ср.: Русския земли столпа и *забрала, крѣпкаго* воеводы не стало. Повесть о Скопине-Шуйском, 1343; совр. *как за каменной стеной*). К развитию значения ср. лат. *murus* ‘стена’ > ‘оплот, защита’.

– ‘особое устройство, служащее для обороны или, наоборот, атаки’: И стояша [немцы] у города 18 днии, ...*городы* своя придвигающе (Вторая Псковская летопись, XV в.). Значение, возникшее как метафорический перенос с предыдущего или же как производное от глагола с семантикой ‘сооружать, строить’ (< *городить*), фиксируется в летописных сводах XIII–XV вв. Устройства, применявшиеся в военных целях, судя по всему, имели вид высокой стены или же импровизированной крепости. Ср. более частотное употребление в этом значении слова *градъ*.

– ‘крепость’ (обычно внутренняя – *кремль*, – имевшая также название *детинец*, тогда как внешняя крепость носила название *острог, кромный городъ* и др.): Бысть же пожаръ на Москвѣ погорѣ *город* Кремль (Московская летопись, XV в.). Значение производно от значения ‘ограда’ с мотивировкой ‘то, что находится внутри, огражденное место’ (ср. русск. диал. ‘любое огороженное место’, *городина* – ‘место в хлеву, огороженное кольями’). Фиксируется с XIII в. и сохранялось до нач. XIX в. (ср. в амур. говорах *город* – ‘крепость из снега, которую берут приступом в последний день масленицы’, а также болг. *град*, макед. *град*, словин. *grad*, чеш. *hrad*, словац. *hrad*, в.-луж. *hród*, н.-луж. *grod*, полаб. *gord*, польск. *gród* в знач. ‘крепость, замок’, а также основанные на такой же мотивировке производные значения в.-луж. *hródź* ‘хлев’, н.-луж. *grodź* ‘конюшня, хлев, курятник’, полаб. *gord* ‘сарай, гумно’, др.-русск. *граждь* – ‘конюшня, хлев’ и др.). Аналогичное семантическое развитие представлено и в других и.-е. языках, так, напр., хетт. *gurta*, восходящее к той же и.-е. основе, стало обозначать ‘крепость’, литов. *gařdas* ‘стойло’, гот. *gards* ‘дом’, др.-англ. *geard* ‘сад, огород’, нем. *Garten* ‘сад’ и т.д.). На данном принципе метонимического переноса основаны и некоторые другие терминологические употребления, например, в народных подвижных играх – при игре в мяч, в чижа, в лапту, в городки – ‘ограниченное, обычно центральное поле, из которого выбивают чурки игроков’ или же ‘место, отведенное для каждой из команд’ (к развитию этого значения ср. греч. πόλις ‘город’ > ‘игра (вроде шахматной)’). Ср. аналогичный метонимический перенос в *град, ограда, огород*.

– ‘административный и культурный центр, крупный торгово-промышленный населенный пункт (в древности окруженный крепостной стеной или валом)’: и бысть въпль и плачь и печаль по *городомъ* и по селомъ (Первая Новгородская летопись, XIII в.). Значение, производное от предыдущего, фиксируется в русском литературном

языке с XII в. (в новгородских берестяных грамотах, например, № 238, – с XI в.) и до сих пор является основным значением слова. Город первоначально противопоставлялся посаду, слободам – торгово-ремесленной части населенного пункта, находившейся вне городской стены. Ср. ст.-слав. **градъ,** болг. *град* 'город', а также макед. *град,* словн. *grad,* н.-луж. *grod,* др.-польск. *gród,* др.-укр. *город,* белор. *горад* в том же значении. В конкретном употреблении слово *город* может использоваться для обозначения какого-либо конкретного места: ближайшего к селу или деревне города (так, например, в ряде русских говоров, ср.: Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называется *городом...* Бунин. Жизнь Арсеньева), или же центра (торгово-административного) города (разг. *мне сегодня надо в город,* ср. в волог. и калуж. говорах значение 'рынок, базар', а также в речи москвичей нач. XIX в. 'гостиный двор'), что очевидным образом связано со старым противопоставлением города и посада. Ср. то же для *град.*

– 'обитатели города': мѣсто нетяглое пустое... пашутъ *городомъ* (Новгородские писцовые книги, XVI в.). Значение представляет собой регулярно реализующийся в языке тип метонимического переноса и фиксируется с XII в. Непосредственно связанное с предыдущим, оно сохраняется в современном русском языке. Ср. *град,* за пределами слав. языков ср., например, греч. πόλις, лат. *civitas,* франц. *ville,* англ. *town* 'город' > 'населенье, горожане, граждане'.

– (множ. ч.) 'особый род украшения, напоминающий зубцы крепостной стены': Рвала цветы со травы, вила венки с *городы* (фолькл.). Значение, возникшее как метафорический перенос, основанный на сходстве внешнего вида крепостных стен (а именно бойниц, образующих верх крепостной стены в виде ряда зубцов) и определенного типа узора, фиксируется в ряде текстов XV–XVIII вв., носящих инвентарный характер, выступает, вероятно, в качестве термина и служит обычно для описания рисунка на ткани, типа кружев, особым образом сплетенного венка и формы венца. Самые ранние употребления относятся к слову венок: *венки с городы* (древняя форма творит. п.) или *с городами* упоминаются и в фольклорных текстах. Значение известно современным русским говорам (арх., перм., волог., яросл., влад., ряз., орл.). Ср. *городок* 'зубец'.

[городить (возводить), огораживать][2]

↓ особое устройство для обороны или нападения

↓ [то, чем огорожено] → стена (крепостная) → ↓ защита; ↓ узор, похожий на зубцы крепостной стены

↓ [то, что отгорожено] → крепость → город → жители города

Ел. Э.Б.

ХИТРОСТЬ

Слово восходит к праслав. **xytrostь* (см. *хитрый*). В русском литературном языке фиксируется с XI в. Редукция системы значений связана с аналогичным процессом у прилагательного, поскольку слово обозначало свойство по значению прилагательного *хитрый* ('умный', 'искусный, умелый', 'коварный').

[2] В квадратные скобки помещается искусственно реконструируемое звено семантического развития слова, позволяющее объяснить логику перехода от производящего значения к производному.

– 'практические навыки, ремесло': Старецъ... имѣя *хитрость* рыбную ловлю (Житие Кирилла Белого Новоезерского, XVII в.). Значение фиксируется с XI в., известно русскому литературному языку XIX в. Значение возникло как развитие представления о быстроте, ловкости и сноровке выполнения действия, ср. макед. *итрост*, сербохорв. *хи̏тро̑ст*, словен. *hitrôst*, словац. *chytrosť*, в.-луж. *khětrosć* в знач. 'проворство, скорость'. История этого значения тесно связана с историей слова *художество* (см.). Оба слова могли использоваться как синонимы в значении 'ремесло' или 'мудрость' (см. ниже), однако могли и противопоставляться, различая практические навыки и собственно науки; так, в "Диалектике" Иоанна Дамаскина читаем: "*хытрость* есть иже рукама делаемое *художьство* же всяка словесьна *хытрость*". Надо заметить, что лексемы могли меняться местами при той же актуализации противопоставления (т.е. слово *хитрость* могло обозначать науки, а *художество* – ремесла). В этом противопоставлении вербализуется учение о "внешних" и "внутренних" умениях, или, иначе говоря, о "служительных" и "свободных" искусствах. Под "свободными" искусствами традиционно подразумевались семь наук: грамматика, диалектика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка. Желание установить симметричные отношения между двумя типами "искусств" привело к выделению семи "служительных" ("рукодельных") профессий: знаменование, лов, воинство, кование, рукометство, писание, кораблеплавание.

– 'знания, мудрость, ум': Даи же князю... силу храбрость Александрову... *хитрость* Давидову (Слово Даниила Заточника, XVII в.). Значение фиксируется с XI в. (в переводных памятниках часто в соотв. с греч. ἐπιστήμη, лат. *scientia*), утрачивается в XVIII в. Значение возникло как развитие представления о быстроте ментального действия, ср. макед. *итрост*, сербохорв. *и̏трост*, чеш. *chytrost*, словац. *chytrosť*, словин. χîtrΘsc в значении 'сообразительность'. В др.-русск. книжности принято было разграничивать человеческую, волшебную и божественную "хитрости". О связях со словом *художество* см. выше.

– 'изобретение; приспособление, служащее для решения некоей практической задачи': махинас есть всякая *хитрость* на поборение града (Геннадиевская Библия, 1499 г.). Значение фиксируется с XII в., известно русскому литературному языку XVIII – нач. XIX в., появилось для номинации результата практической и мыслительной деятельности (см. выше).

– 'произведение человеческих рук, служащее для украшения чего-либо': [церковь] *хитростьма* убо украшенну велми (Измарагд, XVI ~ XIV вв.). Значение фиксируется с XI в., известно русскому литературному языку XIX в., возникло как обозначение результата практической деятельности (см. выше).

– 'сложность, мудреность': монастырь... емуже... мало есть подобно красотою... *хитростию* здания и богатствомъ (География, 1710 г.). Значение, возникшее на основе знач. 'ум, мудрость' через ступень 'то, что требует применения мыслительных способностей', фиксируется с XII в., известно русскому литературному языку XX в. (ср. совр. *не велика хитрость!*).

– 'особый умысел, обман, лукавство': а учиница у нихъ душегубство без *хитрости* ково громы убьет, или з дерева убьетца или кого возомъ сотретъ или озябнетъ или згоритъ или водою принесетъ... (Важские грамоты, 1623 г.). Значение фиксируется с XIII в., известно современному литературному языку.

Ел. Э.Б.

БОДРЫЙ

Восходит к праслав. **bъdrъ(jь)*, образованному от праслав. глагола **bъděti* (< и.-е. **bheu-dh-*), означавшему, по-видимому, 'не спать', 'держать глаза открытыми' (ср. лит. *budėti* 'не спать', а также глагол *бдеть*, означающий наряду с 'бодрствовать' 'наблю-

дать, следить за кем-либо', и родственный глагол *блюсти*). В русском литературном языке фиксируется с XI в.

– 'неспящий, неспящий и в силу этого внимательный, бдительный (в противовес спящему, лишенному возможности наблюдать происходящее вокруг)': Дньсь на земли лежа и *бъдръ* (Изборник Святослава, 1073 г.). Фиксируется с XI в., известно русскому литературному языку XVIII в. В др.-русск. книжности часто использовалось выражение **бъдроє око**, в котором реализовывалось значение 'бдительное, неусыпное' (ср. книжное *око недреманное*, использующееся в современном языке часто в иронических контекстах).

– 'полный сил, готовый к деятельности, активный (в противовес состоянию усталости и пассивности, с которым ассоциируется сон)': о вьсякомъ деле буди *бъдръ* (Изборник Святослава, 1076 г.). Фиксируется с XI в., известно русскому языку XX в. В литературном языке не зафиксировано употребление прилагательного в значениях 'полный сил > здоровый' по отношению к человеку и 'крепкий' по отношению к неодушевленному предмету, однако они представлены в фольклоре и диалектной речи: *Подхватила-то Илью да на косу бодру* (Онежские былины), диал. *бодрый* 'здоровый' известно в урал., калуж., пск., тверск., арханг. говорах. Ср. значение 'крепкий' (об одежде) в арханг. и олон. говорах или же сочетание *бодрое семя* в урал. говорах. Положительные коннотации, реализующиеся в этом значении, дали возможность диалектам развить на его основе следующие значения: 'здоровый > красивый' (урал.), 'красивый > нарядный' (ряз., урал., перм., волог., иван., свердл., тюм., арханг., смол.), 'здоровый > веселый' (пск.), 'здоровый > хороший' (урал., олон.).

– 'смелый': бунтовщики суть все *бодры* упрямы постоянны и верны до конца (О войнах, из книг Цезариевых, 1711 г.). Фиксируется с XV в., известно русскому литературному языку XIX в. Значение возникло на основе предыдущего: 'полный сил, готовый к деятельности' > 'ревностный, стремящийся заявить о своей активности' > 'не теряющий своей активности ни при каких обстоятельствах, храбрый'. Ср. русск. диал. *бодрый* 'смелый' (астрах.), а также 'опрометчивый' и даже 'гордый, самонадеянный' (твер.).

Ел. Э.Б.

ХУДОЙ

Восходит к праслав. **xudъ(jь)*, продолжающему и.-е. корень **ksoudo-*, связанному с идеей малости (дробности). В основе системы значений лежит, вероятно, идея количественного отклонения (по размеру, объему) от некоего принятого стандарта, которая может переосмысливаться и как качественное отклонение (ср., например, лат. *parvus* в значениях 'маленький', 'слабый' и 'жалкий', 'скромный, незаметный'). В русском литературном языке фиксируется с XI в.

– 'маленький': обрѣте бо ся имъ *худая* та радость на великую печаль и скорбь (Слова и поучения против язычников, XIV в.). Значение фиксируется с XI в. и отмирает примерно к нач. XVII в. Ср. ст.-слав. **хоудъ** в соответствии с греч. ἐλάχιστος, μικρός βραχύς ('малейший', 'маленький').

– 'ветхий, дырявый': котлик железной... *худ* (Акты хозяйства боярина Б.И. Морозова, 1667 г.). Значение фиксируется с XI в. и известно русскому литературному языку XX в. (ср. совр. *прохудиться*).

– 'слабый, больной, чахлый (последнее часто о растении, почве)': дѣло есть н(е)б(е)сное видимо и *худьшима* зъницами (Шестоднев Иоанна Экзарха, 1263 г.). Значение фиксируется с XI в. и было известно в русском литературном языке XVIII в.

– 'тонкий, сухощавый': а скотъ де ихъ... *худой* мѣняли... на доброй жирной (Дополнения к Актам историческим, 1685 г.). Значение, представленное в большинстве славянских языков, фиксируется с XIV–XV вв., однако наибольшее распространение получает начиная с XVII в.; сохраняется в современном литературном языке.

– 'бедный': богатъ ли... *худъ* ли вьсе б(о)жиемъ промыслѣмъ (Изборник Святослава, 1076 г.). Значение фиксируется с XI в. и было известно литературному языку XIX в. (Ср. чеш. *chudý*, в.-луж. *khudy*, н.-луж. *chudy*, польск. *chudy*, полаб. *x́audĕ*, укр. *худий* в том же значении.)

– 'незнатного происхождения': бѣ же [Мефодий] рода не *худа* (Житие Мефодия, XII в.). Значение, возникшее на основе значения 'бедный', фиксируется с XII в. и было известно литературному языку XIX в. (Ср. в ст.-чеш. *chudý* 'крепостной'.)

– 'плохой': а новоизданные книги *худы* (Материалы для истории раскола, XVII в.). Значение фиксируется с XI в. и было известно русскому литературному языку нач. XX в. (ср. совр. *на худой конец*). С XII в. входило в этикетную самоуничижительную формулу *азъ худыи и грѣшныи*. (Ср. диал. субстантивированную форму *худой* 'дьявол'; болг. *худый*, сербохорв. *хȳд*, словен. *hûd*, полаб. *x́audĕ*, чеш. *chudý*, укр. *худий* в значении 'плохой'. В некоторых слав. языках общая идея "плохости" может конкретизироваться, например, словен. *hûd* 'злой' и полаб. *x́audĕ* 'злой', 'безобразный'). Реликтом этого значения является перенесенная в парадигму лексемы *плохой* форма сравнительной степени от прилагательного *худъ – хуже* (при наличии формы *худее*, закрепленной за единственно живым в современном литературном языке значением 'тонкий, сухощавый'), вытеснившего исконную форму *плоше*.

Ел. Э.Б.

БЛУДИТЬ

Слово унаследовано из праслав. лексического фонда: праслав. **blǫditi*, производное от имени **blǫdъ* < **blęsti*.

В старославянском языке было известно в значениях 'блуждать' и 'развратничать', употребляясь в соответствии с греч. πλανᾶσθαι, πορνεύειν. В восточнославянской письменности фиксируется с XI в.

В славянских языках семантика основы связана с идеями блуждания, заблуждения и разврата, распутства. Последнее является производным от значения 'заблуждаться, ошибаться'; мотивировкой мог послужить взгляд на распутство, порицаемое обществом, как на разновидность заблуждения. Ср. *грѣшити* 'заблуждаться, ошибаться' и включение распутства в число грехов.

Семантика глагола *блудити* в истории русского языка соответствует семантике производящей основы. Впоследствии древнее значение 'заблуждаться, ошибаться' было утрачено. Глагол, некогда принадлежавший к книжной лексике, был переосмыслен как принадлежность просторечия. Стилистически нейтральной стала поздняя собственно русская лексема *блуждать*. Семантически более узкая, принадлежащая системе глаголов движения, она явилась преемником *блудить* в литературном языке.

В русском литературном языке XIX–XX вв. получили распространение поздние русские образования от основы *блуд-* < **blǫd-* < **blęd-* (блуждать, блуждание) с указанным ограничением в семантике. Древняя лексика перешла в разряд ненормативной (**блѧдь** и др.) или просторечной (*блудить, блудливый, блудня/блудни*), устарела (*блуд, блудница*) или же вообще утратилась (*блудилище, блудитися, блудник, блудничищь, блудничник, блудодей, блудство* и др.).

– 'заблуждаться, ошибаться': не *блудитъ* церковь Христова... но *блудитъ* еретическая (Материалы для истории раскола, 1666 г.). Значение фиксируется с XIII в., можно предполагать его более раннее – с XI в. – появление, исходя из времени создания памятников, в которых оно представлено (например, сочинения митрополита Илариона). Как правило, значение проявляется в контекстах, где речь шла о различных отступлениях от правой веры, ересях, расколе. Спорадически встречается в XVIII в., в дальнейшем утрачивается.

– ‘блуждать’: *блудяще* по лѣсомъ (Воскресенская летопись, XVI в.). Значение фиксируется с XII в., хотя, видимо, существовало уже в XI в., о чем может свидетельствовать время создания некоторых памятников, в которых оно встречается. В русском языке XX в. литературным эквивалентом просторечного *блудить* в этом значении стал глагол *блуждать*. Значение известно русским диалектам (например, урал.).

– ‘вести не туда, куда нужно’: наутрея же вожемь не вѣдущимъ *блудящимъ* (Ипатьевская летопись, XV в.). Значение представлено единственным примером. Является окказионализмом, обнаруживая древнюю функцию каузатива, когда-то свойственную глаголу.

– ‘развратничать, распутничать’: аще... кто... от жены *блудитъ* (Домострой, XVI в.). Значение фиксируется с XI в., известно русскому языку XX в. Оно отражено также в прилагательном в выражении *блудный сын*, истоки которого лежат в евангельской притче (Лук. XV, 11–32). Глагол имел управление *блудити с кем-л., от кого-л.* Некоторые случаи (*блудити кого-л.*) позволяют предполагать, что глагол мог употребляться в функции каузатива.

– ‘бродить, скитаться, странствовать’: изгнан бых и от вас... *блудих* по чюжимъ странамъ (Московская летопись, XVI в.). Значение фиксируется с XIII–XIV вв. по XVII в.; в дальнейшем в литературном языке было утрачено, перейдя к глаголу *блуждать*. Производно от ‘блуждать’ на основе имеющегося компонента ‘перемена места’. Значение отражено в других слав. языках у прилагательных, восходящих к **blǫdьnъ(jь)*: словен. *blóden* ‘бродячий’, чеш. *bludny* ‘то же’, н.-луж. *błudny* ‘бродячий, странствующий’ и др.

В XVIII в. только у причастия *блудящий* (*блудящая мысль, дума, блудящий взор*) фиксируется переносное к ‘бродить’ значение ‘не останавливающийся ни на чем, блуждающий, беспокойный’, которое стало узуальным значением глагола *блудить*.

– ‘причинять ущерб’: чтобъ они в лес мой ходили смирно, а не *блудили*, пчел не выдирали (Акты хозяйства боярина Б.И. Морозова, 1660 г.). Значение фиксируется с XVII в., хотя, видимо, было известно уже в XVI в., о чем свидетельствует время создания одного из источников, в котором оно представлено. Спектр возможных действий, которые причиняли ущерб, первоначально был довольно широким: субъект действия (человек или животное) проказничал, портил что-л. из шалости, тайно съедал съестное и т.д. Постепенно значение начинает сужаться: в XVIII в. *блудить* значило ‘шалить’ и, в частности, ‘шкодить (о кошке)’. В просторечии XX в. уже только ‘воровать, таскать (преимущественно о животных, кошке)’. Значение производно от ‘заблуждаться...’, мотивировано включением обозначаемых действий в ряд других, несоответствующих нормам поведения.

Значение	Периодизация		
	XI–XVII	XVIII	совр. русск. язык
‘заблуждаться, ошибаться’	б	–	–
‘блуждать’	л	блудить/блуждать	блудить (прост.)/ блуждать
‘бродить, скитаться, странствовать’	у	блуждать	блуждать
‘развратничать, распутничать’	д	блудить	блудить (прост.)
‘причинять ущерб’	и	блудить	блудить (прост.)
‘переходить от одного к другому, менять направление’	т и	только у прич. блудящий	блуждать

И.М.

ВОСХИТИТЬ

Слово унаследовано из праславянского лексического фонда: праслав. **xytiti*. В русский литературный язык было заимствовано из церковнославянского **въсхытити**; фиксируется с XII в.

В старославянском языке было известно в значении 'взять, похитить', употребляясь в соответствии с греч. ἁρπάξειν, συναρπάξειν, ἐπαίρειν.

Глагол является приставочным образованием от **хытити**, что и обусловило его семантику: благодаря приставке появилось значение, связанное с движением вверх; семантика захвата, похищения обусловлена корнем. Слово утратило все древнейшие значения; сохранилось лишь одно, известное с XVIII в. Этот период был временем кардинальных перемен в семантической структуре слова. Глагол являет собой тот редкий пример, все семантические изменения в котором последовательно и детально засвидетельствованы в языке: 'поднять на высоту, вверх, на небо' > образное и переносное употребление, где присутствует мотив вознесения духом или туда, где есть райские красоты и под. > 'привести в восторг'. При этом произошло перемещение ударения: старое *восхи́тить* > *восхити́ть*. В XIX в. глагол имел старое и новое ударение.

– 'взять, забрать, схватить': не убии, не укради... не *въсхити* чюжего обидою (Троицкий сборник, XIV в.). Значение фиксируется с XII в.; известно русскому языку XVIII в., где было уже выходящим из употребления; в дальнейшем утрачено. В зависимости от контекста глагол мог обозначать другие близкие действия: 'получить', 'захватить', 'выхватить', 'извлечь, избавить (от бед, опасности)' и др. Значение обусловлено корнем, приставка придает значение совершенного вида.

– 'похитить; увести, унести': нѣкогда кот *восхити* алектора (Зрилище, XVIII в.). Значение фиксируется с XIII в.; возможно его более раннее появление, поскольку список одного из памятников, по которому известно слово в данном значении, восходит к XII в. Было известно русскому языку XIX в.; в дальнейшем в литературном языке утрачено. Как и предыдущее, данное значение обусловлено семантикой корня и приставки.

– 'поднять на высоту, вверх; вознести на небо, к небу': *восхищено* бысть отроча на воздух (Материалы для истории раскола, 1665 г.). Значение фиксируется с XIII в., хотя можно предположить его более раннее появление – XI в., т.к. к этому времени восходит список одного из памятников. Известно русскому языку XIX в.; в дальнейшем было утрачено. Значение обусловлено семантикой корня и в большей степени приставки: отсюда компонент высоты. Глагол имеет образное употребление и переносное 'превознести'.

– 'привести в восторг, радостное воодушевление': Превосходное *восхищает* (Московский Меркурий, 1803 г.). Значение фиксируется с XVIII в., известно русскому языку XX столетия, где является единственным значением слова. Производно от предыдущего через промежуточную ступень образного употребления.

И.М.

ГРУЗИТЬ

Слово унаследовано из праслав. лексического фонда: праслав. **grǫziti*, связанное чередованием с **grężnǫti* (см. *грязнуть*). В русском литературном языке фиксируется с XIII в., однако слово слабо засвидетельствовано.

Семантика основы, в разной степени представленная в различных слав. языках и диалектах, связана с идеей погружения, откуда затем развились значения 'груз, тяжесть' и 'вязкость', 'грязь'. С точки зрения богатства семантики и количества производных (русск. диал., укр. *грузь*, русск. *грузный*, укр. диал. *грузний*, белорус. *грузны*) восточнославянские языки выделяются на фоне других славянских языков.

Первоначальная семантика глагола была связана с идеей погружения в воду. Ср. в других слав. языках: сербохорв. *грȕзити* 'макать, погружать, окунать', чеш. *hroužiti* 'погружать', польск. *grążyć* 'погружать' и др. Дальнейшее своеобразное развитие семантики глагола представлено в древне- и старорусском языке и является его отличительной особенностью. Через ступень 'подвешивать груз, чтобы погрузить в воду' (ср. русск. *грузило*) > 'делать тяжелым' появляются значения 'грузить', 'загружать'. При этом первоначальное значение утратилось.

– 'погружать в воду, потоплять': петру волнами *грузиму* (Ярославский сборник, XIII в.). Значение фиксируется с XIII в., также и в образном употреблении; известно русск. языку XVIII в., но уже как редкое, в дальнейшем утрачивается. При глаголе часто имеется пояснение, уточняющее, куда именно происходит погружение: пришла погода великая с великою бурею... и лодью стало совсем *грузить в море* (Розыскные дела о Федоре Шакловитом, 1691 г.).

– 'обременять тяжестью, отягощать': и от тяготы д(у)ша *грузима* (Григорий Богослов, XIV в.). Значение известно по памятникам XIV–XV вв., список одного из произведений, в котором оно представлено, восходит к XIII в., так что можно предположить его более раннее появление. В древнерусском языке значение фиксируется в образном и переносном употреблениях. Прямое значение встречается в фольклорных текстах, записанных на севернорусской территории: Состроилъ ей мужъ червончатый корабъ, онъ носъ дѣлалъ по змѣиному... носъ *грузилъ* чистымъ серебромъ (Онежские былины в записи Гильфердинга). Следы прямого значения сохраняются в приставочном образовании, ср., например, в "Сказке о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина: "жемчуги *огрузили* шею...".

Продолжение развития семантики в сторону переносных значений представлено в старобелорусском языке, где глагол *грузити* значил 'губить'.

– 'грузить, складывать (грузы)': соль *грузить* в суды (Акты исторические, XVII в.). Значение фиксируется с XVII в., характерно для деловых источников; известно русскому языку XX в., однако с некоторым расширением: если первоначально местом погрузки были суда (водный транспорт, ср. значение 'погружать в воду'), то в настоящее время таких ограничений нет.

– 'загружать, наполнять (грузом) что-л.': карован карабелнои что серебромъ *гружен* (Куранты, 1621 г.). Значение фиксируется с XVII в.; известно русскому языку XX в. в более широком варианте: местом погрузки служит любое транспортное средство, а не только суда, как это было первоначально.

И.М.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. В.Г. ГАК

ТИПОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФОРМ ГЛАГОЛА В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

(Иррадиация и конкатенация)

Более ста лет тому назад французский лингвист А. Дарместетер (1844–1888) сформулировал две основных закономерности развития лексической многозначности, которым он дал название "излучение" (*rayonnement*, от франц. слова *rayon* "луч") и "сцепление" (*enchaînement*, от *chaîne* "цепь") [Darmesteter. s/a: 133–135]. В первом случае производные значения слова формируются независимо друг от друга, образуя как бы веер или лучи солнечного диска. Любопытно, что разъясняя свою теорию, Дарместетер использовал приемы, весьма близкие к современному семическому анализу. Так, объяснял он, предмет *Aa*, обозначаемый словом N, имеет среди прочих качеств некоторую черту *a*. Слово N может применяться для обозначения предметов, *B, C, D, E, F, G* благодаря тому, что все они обладают тем же признаком *a* (*Ba, Ca, Da, Ea, Fa, Ga*). В качестве примера он приводил слово *racine* "корень", в котором от первичного значения "корень растения" образуются производные: "корень слова", "корень зла", "корень из числа". "Излучение" может иметь и другую форму, когда в переносных значениях слова актуализируются разные признаки исходного объекта. Слово N обозначает предмет *A*, которому свойствен ряд признаков (*Aabc*), каждый из которых может стать основой для использования данного слова для обозначения других предметов: *Ba, Ca, Da, Eb, Fc, Gc*. Так, французское слово *queue* "хвост животного" на основании разных признаков приобретает значения "бильярдный кий", "очередь" (по форме), "окончание партии" (заключительная часть).

При "сцеплении" слово переходит на другой объект благодаря общему признаку этих объектов, затем этот признак забывается и третье значение образуется от второго благодаря общности иного признака у второго и третьего объектов. Сцепление может быть представлено схемой: $N = Aa \rightarrow aBb \rightarrow bCc \rightarrow cDe \rightarrow dEe \rightarrow eF$. Дармстетер иллюстрирует этот процесс историей слова *mouchoir*. Первоначально оно обозначало носовой платок – предмет, посредством которого сморкаются (от *se moucher* "сморкаться" (< лат. *muccus* "сопли", с помощью суффикса *-oir* [< лат. *-orium*], обозначающего орудие действия). Затем признак предмета – его назначение – был забыт; исходя из признака самого платка (он сделан из ткани) слово *mouchoir* стало обозначать кусок ткани, например *mouchoir de cou* "шейный платок", "косынка", обычно треугольной формы. На базе нового значения и нового признака "треугольная форма" возникло новое значение – "кница" – деталь треугольной формы в корабельном деле. Никакой непосредственной связи между "кницей" и "сморкаться" нет. Часто излучение и сцепление сочетаются, образуя сложные формы развития и соотношения языковых фактов.

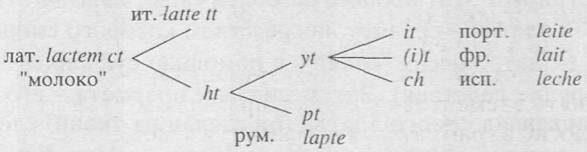
Может быть сам того не сознавая, Дарместетер обратил внимание на две универсальных закономерности развития всего сущего, на два базовых типа связи между явлениями, выступающих особенно очевидно, когда явлений больше, чем два. Понятия излучения и сцепления, правда выражаемые "более научными", латинизиро-

ванными терминами "иррадиация" (< лат. *radius* "луч") и "конкатенация" (< лат. *catena* "цепь"), используются в современной семасиологии, в теории словообразования. Они являются также двумя основными принципами построения текста. Можно обнаружить эти две базовые структуры и в истории языка, в языковой типологии, при сопоставлении языков, как формы связи между языковыми фактами.

Иррадиация и конкатенация выступают как две универсальных формы развития, поскольку они связаны с двумя основными координатами бытия: пространством и временем. Иррадиация отражает в большей степени пространственную координату: происходящие в этом случае изменения могут осуществляться одновременно. Конкатенация согласуется с координатой времени: в одном и том же месте последующее изменение не может осуществиться ранее предыдущего.

При радиации, как отмечалось, один и тот же импульс или разные импульсы, исходящие из одного и того же центра, приводят к разным реализациям. При конкатенации нередко образуется последовательность, когда разные формы предстают как последовательные этапы реализации одной и той же тенденции. В данном случае неравномерность развития аналогичных элементов позволяет обращать пространственное соседство в последовательность во времени и тем самым определять направление этого развития, обнаруживать переходные формы. Здесь применим прием, который в теории исторического исследования называют "генетическим оборачиванием" [Грушин 1961: 109].

В истории романских языков некоторые фонетические процессы дают пример иррадиации. Такова судьба латинского сочетания согласных *-ct-* (*noctem* "ночь", *factum* "факт"), которое дало в итальянском языке *-tt-* (*notte, fatto*), в румынском *-pt* (*noapte, fapt*), в испанском *-ch-* (*noche, hecho*), в португальском *-it-* (*noite, feito*), во французском *-it* при возможном слиянии *i* с предыдущим гласным (*nuit, fait*). Здесь проявились различные факторы: ассимиляция *ct* > *tt* в итальянском, фрикативизация *ct* > *ht* в других случаях. Сочетание *ht* не сохранилось ни в одном литературном романском языке, но наблюдалось в умбрском (*rehte* вместо лат. *recte* "прямо"). Затем имела место вторая иррадиация: *ht* > (*ft*) > *pt* в румынском и *ht* > *yt* в западнороманских языках. Далее наступил черед третьей иррадиации (*yt*): сохранение *y* в португальском, его превращение в *i* или слияние в дифтонг с последующей монофтонгизацией во французском (*ai* > [e]), либо его слияние с последующей согласной *t* и формирование аффрикаты *ch* [tš] в испанском [Бурсье 1952: 153]. В некоторых романских языках эволюция латинского *-ct-* предстает в виде конкатенации, например в испанском: *ct–ht–yt–ch* [tʃ]. Отдельные предшествующие формы (*yt*) сохранились в северных испанских диалектах или в других родственных языках (например, в португальском). В целом, в данном случае многоступенчатая иррадиация сочетается с конкатенацией:



Пример "чистой" конкатенации дает развитие интервокальных согласных в романских языках. Латинский глухой согласный *-t-* (*vita* "жизнь") сохранился в итальянском (*vita*), подвергся озвончению и одновременно фрикативизации в испанском (*vida*) и выпал во французском (*vie*). Эти три факта представляют собой три этапа развития звука: *t* > *đ* > *ø*; каждый язык отражает один из этапов общего направления эволюции. Это действительно так: в раннем старофранцузском интервокальные *t* и *d* звучали [đ], как в современном испанском, тогда как *-d-* в современной испанской разговорной речи может исчезать, как это произошло в свое время во французском языке. Таким образом, один из языков может показывать, что было в

прошлом у другого, или, наоборот, предсказывать, что может ожидаться в другом языке.

В известном исследовании Р.А. Будагова о лексике романских языков приводится немало примеров неравномерного смыслового развития этимологически тождественных слов в родственных языках, так что, как пишет автор, "в некоторых языках слово сохраняет такое значение, которое для других является уже пройденным этапом или удерживается лишь как пережиток прошлого" [Будагов 1963: 224]. Вот один из приводимых примеров. Лат. *captivus* "пойманный; взятый в плен" приобрело на романской почве значение "несчастный, жалкий", которое реализуется двояко: "болезненный, слабый" (по отношению к живым существам) и "плохой, скверный". На базе последнего значения возникло дальнейшее: "злой". Элементы этой семантической конкатенации так представлены в крупнейших романских языках:

	Язык	Ступени семантической эволюции			
		'пленный' →	'слабый' →	'скверный' →	'злой'
лат.	*captivus*	+			
исп.	*cautivo*	+	(уст.)		
франц.	*chétif*		+	+	
итал.	*cattivo*			+	+

Мы видим, что испанское слово осталось на начальном этапе семантической эволюции слова, французское занимает среднюю позицию, тогда как итальянское продвинулось дальше всего. Учет неравномерности семантического развития полезен и в практическом отношении, т.к. она может порождать "ложных друзей семасиолога": франц. *un enfant chétif* значит "хилый, болезненный ребенок", тогда как итал. *un cattivo ragazzo* обозначают капризного, непослушного ребенка. В фонетических или семантических сдвигах, отмечаемых в конкретных случаях, могут отражаться более общие закономерности, обнаруживаемые и в других языках. Так, упоминавшийся выше переход *kt* > *ht* наблюдается в других языках и диалектах, например, в русском просторечии: *доктор* > *дохтър*. Семантическое развитие итальянского *cattivo* "плохой > злой") повторяется во франц. *mauvais* и в исп. *malo*.

Обе рассматриваемые формы соотношения – иррадиация и конкатенация – обнаруживаются и при сопоставлении неродственных языков (или при сопоставлении родственных вне задач выявления генетической общности). Например, русская временна́я система глагола характеризуется одной различительной чертой (вне категории вида): абсолютным временем. Английский язык добавляет еще одну оппозицию: относительное время. Немецкий язык – третью: актуальность/неактуальность действия в прошлом; испанский – четвертую: линейное/точечное время в прошлом; французский – пятую: временной интервал (более близкий или отдаленный момент действия). Последний язык охватывает все оппозиции, представленные в четырех предыдущих, добавляя к ним еще одну.

В свою очередь, система прошедших времен индикатива в западнороманских языках содержит пять элементов (даем их в примерных русских наименованиях ввиду разнобоя терминологий в грамматиках романских языков):

Простые формы	Сложные формы
[Презенс]	Перфект
Претерит (= аорист)	Предшествующий претерит
Имперфект	Плюсквамперфект

Это – максимальная система прошедших времен в индоевропейских языках Европы. Следует заметить, однако, что предшествующий претерит (типа франц. *il eut fait*) малоупотребителен. Он отсутствует в болгарском (как и в старославянском), где система прошедших времен индикатива состоит из четырех элементов. В разговорном

французском языке, как и в немецком, – три формы прошедшего времени: перфект; имперфект (во французском) или претерит (в немецком), от которых соответственно образуется плюсквамперфект. В западнославянских языках – только две формы прошедшего времени (не считая вида): перфект и плюсквамперфект (почти вышедший из употребления). И наконец, в восточнославянских – только одна форма. Таким образом, формируется единая линия развития претеритальной системы индикатива – "от Атлантики до Урала" – с последовательным уменьшением форм, причем каждая новая система выступает как бы изменением предыдущей, осуществляемым в одном и том же направлении. Устранение формы свидетельствует об отказе от определенной различительной черты, от определенной субкатегории в системе прошедших времен. Пятичленная система романских языков включает три оппозиции: относительное время (перфект, имперфект ↔ плюсквамперфект; претерит ↔ предшествующий претерит); актуальность (перфект ↔ претерит); длительность (имперфект ↔ перфект, претерит). Отсутствие предшествующего претерита не внесло изменений во внутреннюю организацию системы, так как субкатегория относительного времени поддерживается оппозицией имперфект ↔ ↔ плюсквамперфект. Но уже переход к трехчленной системе связан с отпадением определенной оппозиции. Во французском разговорном языке это актуальность ↔ ↔ неактуальность действия в прошлом для момента речи. В немецком отсутствует различие длительности ↔ точечности действия. В двухчленной системе остается только оппозиция относительного времени. И, наконец, в русском языке, при наличии только одной временной формы, (вид не принимается здесь во внимание) внутренних оппозиций в сфере прошедшего времени, естественно, быть не может.

Ниже будут рассмотрены аналитические формы глагола в современных славянских языках в плане выявления между ними отношений конкатенации и иррадиации.

*

А. Мейе неоднократно отмечал, что славянские языки среди индоевропейских "сохраняют архаичный облик", имеют "своеобразно архаичный вид" [Мейе 1938: 104; 423]. В историко-социологическом аспекте он объяснял это тем, что славянские диалекты были затронуты средиземноморской культурой сравнительно поздно. Однако в том, что касается глагольной системы, Мейе принимал во внимание почти исключительно лишь синтетические глагольные формы, изучая три основных морфологических средства выражения: фонетическое чередование, ударение и флексии. Но даже в этой области он допускал одновременно "консервативный" и "революционный" характер славянских языков, которые внесли определенные модификации в индоевропейскую синтетическую морфологию.

Новаторство славянских языков оказывается еще более очевидным, если рассматривать глагольную систему в ее целостности, учитывая в большей степени аналитические формы, которые во многих случаях вытеснили синтетические формы глагола. При таком подходе обнаруживается, что исходная временна́я система славянского глагола имеет большое сходство с современной системой времен в романских языках, например, и что изменения, затронувшие в ходе эволюции эту систему в славянских языках, порой более значительны и радикальны, чем те, которые имели место в других европейских языках.

Параллелизм временных форм индикатива древних славянских и современных романских языков поразителен. В обоих случаях обнаруживаются одинаковые категории со сходными средствами выражения. В качестве примера возьмем древнерусский, который сохраняет еще полностью систему, аналогичную той, что была в старославянском языке, и современный французский.

	Древнерусский	Современный французский	
Настоящее	*веду*	Présent	*je vais*
Перфект	*есмь велъ*	Passé composé	*je suis allé*
Имперфект	*ведяхъ*	Imparfait	*j'allais*
Давнопрошедшее	*бяхъ велъ*	Plus-que-parfait	*j'étais allé*
Аорист	*ведохъ*	Passé simple	*j'allai*
–		Passé antérieur	*je fus allé*
Будущее	*иму (буду) вести*	Futur	*j'irai*
Предбудущее	*буду велъ*	Futur antérieur	*je serai allé*

В древнерусском языке недостает только "сложного аориста", формы, параллельной французскому Passé antérieur. Но это, как отмечалось выше, наименее употребительная форма среди всех времен индикатива в романских языках. Кроме того, сочетание аориста вспомогательного глагола и причастия дало в славянских языках условное наклонение. Принципы образования сложных форм сопоставимы в двух языках (причастие и вспомогательный глагол для прошедших времен, инфинитив и вспомогательный глагол – для будущего). Сходны значения и сферы употребления сопоставляемых временных форм. В пределах общей формулы образования сложных слов имеются и различия, например, различная употребительность вспомогательных глаголов "быть" и "иметь"; аналитическое по происхождению условное наклонение строится в славянских языках с причастием, в романских – с инфинитивом, причем в качестве вспомогательного элемента в славянских языках используется аорист вспомогательного глагола, тогда как в романских – имперфект, но возможен и аорист (в итальянском литературном языке). Таким образом, использование формулы "аорист вспомогательного глагола + неличная форма основного глагола" для выражения кондиционалиса обнаруживается как в славянских, так и в романских языках. С формальной стороны следует отметить бóльшую универбацию аналитических форм будущего времени и кондиционала в романских языках и их бóльшую универбацию в перфекте в славянских (например, в польском языке).

Романские языки в целом сохранили основное ядро индикатива, хотя, разумеется, имели место внутренние сдвиги в употреблении форм (например, семантическая перестройка соотношения перфекта и претерита во французском языке), а также добавление новых аналитических образований, например, ближайших времен во французском языке, конструкции *estar* + gerundio в испанском и др.

Но если эта система в общем сохранилась в течение тысячи лет в западнороманских языках, то в славянских она подверглась значительным изменениям и в настоящее время выглядит следующим образом:

	Бол.	*Мак.*	*С.-Х.*	*Слн.*	*Луж.*	*Пл.*	*Чеш.*	*Слц.*	*Укр.*	*Бел.*	*Рус.*
Настоящее	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Перфект	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Имперфект	+	+	+		(+)						
Давнопрош.	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Аорист	+	+	+		(+)						
Будущее	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Предбуд.	+	+	+								

Некоторые из отмеченных форм, теоретически возможные, используются редко или совсем выходят из употребления.

Среди славянских языков только три в настоящее время сохранили все семь времен (болгарский, македонский, сербскохорватский), хотя изменилась форма выражения некоторых временных категорий (например, будущего времени). Серболужицкий, утративший предбудущее, имеет шесть форм, причем имперфект и аорист в нем

совпадают в единой по значению форме претерита. Прочие западнославянские языки, словенский (из южнославянской группы) и украинский (восточнославянская группа) имеют только четыре временные формы: настоящее, прошедшее, давнопрошедшее и будущее. Правда, в польском, чешском, украинском (равно как и в сербскохорватском) давнопрошедшее время малоупотребительно и имеет тенденцию к исчезновению. Наконец, в двух восточнославянских языках: белорусском и русском имеются только три глагольных формы времени: настоящее, прошедшее и будущее (а также некоторые переосмысленные следы давнопрошедшего). В целом, можно сказать, что временная система индикатива в славянских языках упрощалась, следуя направлению: южнославянские языки → западнославянские → восточнославянские, так что, вопреки замечанию Мейе, именно наиболее близкие к Средиземноморью языки проявили в данном случае наибольшую "консервативность" (значительно преобразуя, однако, языковую систему в других ее звеньях), тогда как наиболее удаленные от этой зоны языки оказались более "революционными", и более всего русский – самый восточный из индоевропейских языков в Европе. Разумеется, изменение форм шло параллельно с семантическими изменениями, например, сохранение из четырех форм прошедшего времени (перфект, имперфект, аорист, плюсквамперфект) только одной (перфекта) свидетельствует о том, что оппозиции, лежавшие в древней системе глагола, отпали, и перфект (в двух видах) взял на себя выражение значений, передававшихся в прошлом различными временными формами.

В области образования сложных временных форм славянские языки, следуя тем же фундаментальным принципам, что и другие европейские языки, показывают большое разнообразие приемов и форм, что позволяет разработать типологию аналитических глагольных форм в этих языках. Мы рассмотрим эту типологию на примере перфекта и будущего времени.

Перфект. Структура сложного перфекта во всех языках мира организуется согласно всеобщему принципу, который подвергается, однако, различным модификациям в разных языках. Форма сложного перфекта состоит из вспомогательного глагола (*быть* или *иметь*) в настоящем времени и причастия спрягаемого глагола. Более редко вместо причастия используются иные формы, например, в баскском – локальный падеж отглагольного имени (*я приходил к тебе = я в прихождении к тебе был* [Шишмарев 1941: 39]). Вот схема способов образования перфекта:

Языки (примеры)	Компоненты формы перфекта				
	вспомогат. глагол		основная часть		
	быть	*иметь*	причастие прош. вр.		другие формы
			соглас.	несогл.	
славянские	+	–	+	–	–
немецкий	+	+	–	–	–
французский	+	+	+	+	–
английский	–	+	–	–	–

Таблица показывает основные способы образования перфекта. Согласование причастия имеет место при вспомогательном глаголе *быть* (но не всегда, ср. немецкий язык), хотя в определенных позициях возможно согласование и при глаголе "иметь" (во французском языке). Современные славянские языки по преимуществу прибегают к вспомогательному "быть" и согласованию причастия с субъектом в роде и числе; однако, например, в македонском отмечается форма *имам видено* "я видел" (глагол "иметь" + неизменяемое пассивное причастие в среднем роде). Аналогичная форма с посессивным *у меня (есть)* существует в русских говорах.

Всякая аналитическая форма может проявлять тенденцию к универбации, то есть, к превращению в синтетическую форму, состоящую из одного элемента. Славянские языки дают в этом отношении чрезвычайно интересный материал, позволяющий проследить основные пути превращения аналитической формы в синтетическую. Движение от аналитической формы к синтетической выражается в следующих явлениях: 1) фиксация порядка элементов аналитической формы; 2) ограничение дистаксии (раздельности) ее компонентов; 3) универбация (или монолексемизация) – замена аналитического многокомпонентного образования одним словом путем слияния компонентов или опущения одного из них.

1. Фиксация порядка компонентов аналитической формы. Порядок компонентов – важный параметр аналитической формы. Его фиксация может рассматриваться как показатель степени стяжения этой формы. Можно отметить три типа порядка компонентов аналитической формы с точки зрения его устойчивости.

а) порядок компонентов всегда твердый; он существует в двух вариантах:

– вспомогательный глагол предшествует причастию. Это наблюдается в романских языках, а также в английском: *J'ai fait; He hecho; I have done.*

– вспомогательный глагол следует за основной частью. Это более редкий случай.

б) порядок компонентов совершенно свободен, его изменение имеет лишь стилистическую значимость. Таково будущее аналитическое в русском языке, где оба элемента могут свободно меняться местами: *Я читать буду* и *Я буду читать.*

в) порядок компонентов может изменяться, но он не вполне свободен, так как зависит от структуры предложения. Например, в немецком языке служебный глагол предшествует причастию в главном предложении, но следует за ним в придаточном.

В славянских языках вспомогательный глагол может занимать обе позиции. Для старославянского языка более характерной была тенденция к его постпозиции, она сохранилась в современном чешском, словацком и некоторых других языках. В некоторых языках преобладает его препозиция. Существуют и определенные синтаксические тенденции, например, если перфект начинает предложение, вспомогательный глагол следует за ее основной частью, но если предложение начинает другое ударное слово, то он предшествует основной части глагола. Эта тенденция была уже в старославянском языке: *Сътворилъ еси*, но: *Что еси сътворил?* [Вайан 1952: 228]. Она поддерживается и в некоторых современных языках: словенск. *Vprašal sem ga* "спросил я его", чеш. *Kde jste se vrátil?* "когда вы вернулись?" болг. *Много съм чел* "я много прочел". При отрицании в старославянском возможен не только перенос вспомогательного глагола, но и его объединение с отрицательной частицей: *нѣсть былъ = не был.* Аналогичное явление наблюдается и в современном сербскохорватском: *Носил сам* "я нес", но *Нисам носио* "я не носил". Отметим попутно, что выдвижение вспомогательного глагола вперед при отрицании – любопытная типологическая черта во многих языках: Например, в баскском языке вспомогательный глагол твердо следует за основной частью глагола: *Nik ikusi nuen* "я видел", но помещается впереди него при отрицании: *Nik ez nuen ikusi* "я не видел".

Ограничение в свободе размещения компонентов сложной глагольной формы может рассматриваться как первый шаг на пути к конденсации формы.

2. Ограничение отделимости (дистаксии). Не всякий элемент предложения может свободно помещаться между компонентами аналитической формы. В каждом языке существуют свои правила, ограничивающие возможности отделения этих компонентов друг от друга. В зависимости от включаемого элемента можно различать три случая:

а) подлежащее; в английском и немецком языках допускается нормативное включение подлежащего внутрь аналитической формы в вопросительном предложении: *Has John read this book?* В испанском языке подобное включение невозможно. Французский занимает промежуточное положение, допуская интеркаляцию служебного субъектного

местоимения (*A-t-il lu ce livre?*) и отвергая включение субъекта–существительного. У некоторых славянских языков имеются также определенные ограничения в этом отношении.

б) прямое дополнение; этот случай не обязательно аналогичен предыдущему. Так, в английском языке прямое дополнение не может заключаться внутрь аналитической формы, подобно тому, как это имеет место в испанском или французском, но в немецком языке такая интеркаляция является нормой в определенных позициях (*Peter hat dieses Buch gelesen*). В этом отношении у каждого славянского языка имеются свои особенности, которые еще не изучены точно в сопоставительном плане. Можно отметить, например, что серболужицкий язык, наподобие немецкого, широко допускает включение прямого дополнения внутрь аналитической формы: *Jan je swoje knihi hromadze kładł* "Ян положил свои книги вместе".

в) обстоятельства; возможности их интеркаляции значительно различаются по языкам.

г) клитики; взаиморасположение вспомогательного глагола, безударных местоимений, отрицания определяется в каждом языке своими правилами. Так во французском языке вспомогательный глагол становится ближе к причастию, чем местоимение (*Elle le lui a donné*), тогда как в болгарском – наоборот (*Давала му го е*).

Проблема отделимости компонентов аналитической формы включает еще два аспекта: обособляемость и перенос вспомогательного глагола.

О б о с о б л я е м о с т ь вспомогательного глагола заключается в возможности его изолированного употребления, вне основной части сложной формы. В таком случае он выполняет функцию слова-заместителя, замещающего в речи всю аналитическую глагольную форму. Это явление особенно характерно для ответов, например, в английском: *Have you read this book? Yes, I have*; или в сложном будущем времени русского языка: *Ты будешь читать эту книгу? Да, буду* (= я буду читать). Подобное обособление вспомогательного элемента исключено в литературном французском или испанском языках. Оно не характерно и для славянского перфекта, хотя может иметь место, например, в сербскохорватском: *Јеси ли ручао? Јесам* "Ты обедал? Да".

П е р е н о с вспомогательного глагола заключается в том, что он, нередко в сокращенной форме, отделяется от основной части глагола и соединяется с другим словом в предложении, ч а щ е в с е г о с вопросительным словом или отрицательной частицей. Выше приводился пример из сербскохорватского, где вспомогательный глагол сливается с отрицанием. Аналогичное явление наблюдается и в серболужицком. В чешском языке вспомогательный глагол 2-го лица *jsi*, в сокращенной форме *s* может соединяться с возвратной частицей или с вопросительным словом: *Kdy ses (=jsi se) vrátil?* "Когда ты вернулся?"; *Cos (=co jsi) dělal?* "Что ты делал?" Польский язык допускает также слияние вспомогательного элемента, отделяющегося от единой формы перфекта, с союзом: *Gdyśmy spotkali ojca... (=gdy spotkaliśmy)* "Когда мы встретили отца".

Отделимость, обособляемость и перенос вспомогательного элемента препятствует сплочению компонентов аналитической формы, свидетельствуют, что ее универбация отсутствует или является неокончательной (как в приведенном польском примере).

3. У н и в е р б а ц и я. Преобразование аналитической формы, состоящей из двух элементов, в синтетическую может достигаться двумя приемами:

а) слиянием вспомогательного и основного элементов формы. Это наблюдается в польском языке, где вспомогательный глагол в сокращенной форме присоединяется к причастию, сохраняющему свои показатели лица, числа и рода: *czytałem, czytałam* "я читал, я читала". Но это возможно только в 1 и 2 лицах. Сокращение формы вспомогательного глагола, наблюдаемое в польском, чешском, словацком языках, способствует его слиянию с другими компонентами предложения, но только в польском сокращенная форма вспомогательного глагола стала настоящей флексией спряжения, или почти настоящей, поскольку, как мы видели, она может в известных случаях

отделяться от глагола. Форма типа *czytałam*, где от вспомогательного глагола осталось только *-m*, дает наглядный пример путей формирования флективных форм. Аналогичный перфект отмечается и в юго-западных говорах украинского языка: *ходивем* (< *ходил есмь*), *ходивесь* (< *ходил еси*) [ЯНС 1966: 149].

б) опущением вспомогательного компонента. Славянские языки представляют широкий спектр вариантов этого явления, причем каждый язык занимает определенное место на линии эволюции. Именно в этом случае уместно говорить о конкатенации, когда всякий язык как бы указывает на дальнейший этап в направлении определенного развития.

Можно отметить пять этапов этой эволюции: 1) отсутствие опущения вспомогательного глагола → 2) спорадическое опущение в некоторых формах → 3) систематическое опущение в некоторых синтаксических позициях → 4) отсутствие в определенных формах парадигмы → 5) полное опущение вспомогательного глагола.

Первый этап в славянских языках не наблюдается. Но второй в них представлен. Уже в старославянском языке связка могла опускаться в 3 лице обоих чисел, а также и в 1 лице в ответах-эхо. Возможное опущение, особенно при отрицании, имеет место в болгарском, македонском и серболужицком.

Третий этап отмечается в сербскохорватском языке, где вспомогательный глагол регулярно опускается в 3 лице возвратной формы глагола: *Он се радовао* "он радовался". Движение становится более интенсивным в западнославянских языках.

Четвертый этап свойствен западнославянским языкам. Если в южнославянских глагол "быть" опускается в 3 лице лишь в некоторых конструкциях, то в польском, чешском, словацком он вообще отсутствует в 3 лице, хотя обязателен в 1-м и 2-м. Это отсутствие вспомогательного глагола объясняют наличием в предложении подлежащего, указывающего на субъект действия. Но можно было бы заметить, что в некоторых языках (например, финноугорских) форма 3 лица представляет собой чистую основу глагола и флексии присоединяются только к первым двум лицам. В указанных славянских языках 3 лицо перфекта есть лишь основа глагольной формы, она изменяется в роде и числе, но в лице – только в первых двух лицах. Западные славянские языки развивают общеславянскую тенденцию: опущение вспомогательного глагола здесь систематично, но частично, поскольку касается только одного лица. Разумеется, имеются и различия: в польском языке в 1-м и 2-м лицах формант, восходящий к глаголу "быть", слился с основной частью глагольной формы, тогда как в чешском и словацком он более обособлен, что отражается в орфографии. В польском языке универбация, следовательно, пошла дальше. Более обязательное употребление вспомогательного глагола в серболужицком, возможно, объясняется влиянием немецкого.

Пятый, и последний этап реализуется в восточнославянских языках, которые показывают логическое завершение процесса: вспомогательный глагол исчез полностью. Но при этом изменилась и природа формы на *-л*, которая из части глагольной формы превратилась в полную и самостоятельную предикативную форму глагола.

В области образования сложного перфекта славянские языки формируют ряд конкатенации от исходной формы к наиболее удаленной от нее через промежуточные типы, в целом согласно направлению: южнославянские языки (болгарский, македонский → сербскохорватский, словенский) → западнославянские (чешский, словацкий, польский) → восточнославянские (украинский, белорусский, русский). Универбация достигается опущением вспомогательного глагола, в польском языке – его слиянием (в 1 и 2 лицах) с основной частью глагола.

Несмотря на разнообразие внешних форм, перфект в славянских языках представляет, за небольшим исключением, значительную однородность с точки зрения внутренней формы. Повсюду мы видим вспомогательный "быть" и древнее причастие на *-л*. Поэтому и различия могли касаться только внешней структуры формы времени. Иначе обстоит дело в отношении другой аналитической формы – будущего времени.

Будущее время. По сравнению с перфектом аналитическое будущее время в славянских языках представляет большее разнообразие структур и, в частности, выбора вспомогательного глагола, а выбор последнего отражает внутреннюю форму конструкции. В данном случае славянские языки дают многообразие решений, несвойственное германским или романским языкам.

Б.А. Серебренников отмечает семантическое разнообразие глаголов, которые в различных языках, могут превращаться в служебные форманты будущего времени [Серебренников 1974: 197–203]. Однако их можно разделить на две семантические группы: экзистенциальные и проспективные глаголы.

К экзистенциальным относится прежде всего *быть* (русск. *буду читать*) и его динамические семантические дериваты, такие как "становиться" (например, нем. *werden: ich werde lesen*).

Проспективные глаголы указывают на действие, которое должно произойти после другого действия. К ним относятся:

а) фазовые начинательные глаголы типа "начинать", "приниматься";

б) глаголы движения. Так сформировано, например, ближайшее будущее во французском языке: *Je vais lire* "я буду читать", букв. "я иду читать". В финском языке, напротив, будущее время формируется с помощью вспомогательного глагола "приходить". В таком употреблении глаголов движения есть своя логика: если некто уходит или приходит сделать что-либо, то речь идет о будущем действии, поскольку цель является категорией плана будущего.

в) модальные глаголы типа "хотеть", "мочь", "долженствовать". Модальность всегда ориентирована на действие в будущем, так как она является условием всякого действия, поскольку выражаемая формами модальности интенция всегда предшествует самому действию. Модальные глаголы широко используются при образовании форм будущего времени в разных языках, таковы, например, английские вспомогательные глаголы *shall* и *will*, французская флексия будущего времени восходящая к *avoir à* "иметь (= "быть должным") сделать что-л." и др.

Основная часть формы аналитического будущего может быть выражена личными или неличными формами глагола. Среди последних наиболее характерными являются инфинитив и причастие. Общие принципы разных типов формирования сложного будущего могут быть представлены следующей схемой:

В славянских языках для выражения будущего времени использовались почти все эти возможности. Разумеется, нелегко отличить описательный оборот, конструкцию от уже устоявшейся грамматической формы, ставшей частью глагольной морфологической парадигмы. Одним из важнейших признаков грамматикализации перифразы, десемантизации ее компонентов является невыводимость значения формы из суммы значения ее компонентов или же невозможность толкования ее в прямом значении.

Например, во французской форме *j'ai fait* глагол в настоящем времени (*j'ai*) и пассивное причастие (*fait*) выражают в совокупности активное действие в прошедшем времени. Это значение прямо не выводится из суммы значений компонентов. С другой стороны, в отношении славянского будущего времени невозможность прямого толкования значения формы свидетельствует о грамматикализации. Таковы, например, употребления старославянского глагола "хотети", который активно участвовал в

формировании аналитического будущего. Примеры, приводимые А.М. Селищевым [Селищев 1952: 176], наглядно показывают, как происходил процесс переосмысления "хотеть" при выражении предстоящего действия: *...И до мѣста иде же хотѣаше скончатися* (о человеке, ведомом на казнь) "и к месту пошел, где ему предстояло скончаться" (разумеется, глагол "хотеть" в прямом своем значении противоречит данной ситуации); или: *...Дондеже чрѣва начьнутъ хътѣти извалити ся* "пока кишки будут готовы вывалиться" (неодушевленный субъект не может обладать способностью хотеть). Подобные примеры говорят о довольно продвинутой грамматикализации глагола "хотеть" как вспомогательного элемента в конструкциях, выражающих будущее время. И впоследствии в болгарском языке он закрепился в такой функции.

Формы будущего времени в славянских языках не симметричны. В некоторых языках имеется только одна аналитическая форма будущего (русский, чешский, словацкий), в других – две синонимических формы (украинский, польский), в третьих (например, в болгарском) их четыре, из коих некоторые различаются по грамматическому значению (будущее ↔ предбудущее). Рассмотрим основные параметры аналитических структур и происходящие от них синтетические формы.

1). Вспомогательный глагол. В этом аспекте наблюдаются отношения иррадиации: разные формы в разных языках. Большинство языков использует глагол "быть". Модальный глагол "хотеть" используется в сербскохорватском (*хтети*), болгарском (*ще*) и македонском. Глагол "иметь" был приспособлен для образования параллельной синтетической формы в украинском (*читатиму*), в белорусском (*чытаць́му*), а также отрицательной формы в болгарском (*няма да ходя*) и македонском.

2). Основная часть глагольной формы. И здесь мы видим бо́льшую степень иррадиации, чем в аналитических формах перфекта. Доминирующей формой является инфинитив. Причастие на *-l* употребляется в польском как синоним инфинитива, в словенском, в сербскохорватском и болгарском для выражения предбудущего (болг. *ще съм дал* "я дал раньше"). В основном будущем времени болгарский язык, не имеющий инфинитива, использует личную форму: *ще ходя*.

3). Вид. Аналитическое будущее обычно образуется от глаголов несовершенного вида (в совершенном виде в этом случае используется форма настоящего времени). Только в южнославянских языках и в серболужицком аналитическое будущее образуется от глаголов обоих видов.

4). Универбация. В славянских языках она менее развита, чем в аналитическом перфекте (и в романских языках). Тем не менее, она возможна на основе постпозитивных "иметь" и "хотеть". Она появляется в сербскохорватском, где постпозиция вспомогательного глагола вызывает его слияние с инфинитивом: *ја ћу писати → писаћу*. Универбация завершилась в украинских и белорусских формах на *-(и)му*. Как и в формах перфекта, постпозиция вспомогательного глагола (энклитики) способствует ее слиянию с основной частью глагольной формы.

Следует отметить, что повсеместно мы сталкиваемся с промежуточными случаями: явление, обязательное в одном языке, является факультативным или затрагивающим лишь ограниченный сектор системы в другом. Форма, единственная в одном языке, выступает как одна из возможных синонимических форм в другом. Структура, которая в одном случае относится к общеупотребительному литературному языку, в другом свойственна лишь каким-либо диалектам. Наиболее однородные формы аналитического будущего, без синонимов и вариантов, обнаруживаются в русском, чешском и словацком языках. Возможна универбация путем употребления вспомогательного глагола в качестве "слова-заместителя": русск. – *Ты будешь играть? – Да, буду* (= *да, буду играть*). В нижеследующей таблице резюмируются основные параметры аналитических форм будущего времени и их дериватов в славянских языках (Б – "быть", И – "иметь", Х – "хотеть"; П – причастие на *-l*, ИН – инфинитив, ЛФ – личная форма; НСВ – несовершенный вид, СВ – совершенный вид).

элементы / языки	формы	вспомогат. глагол			основная часть			вид		*примеры*
		Б	И	Х	П	ИН	ЛФ	НСВ	СВ	
русский	–	+				+		+		*буду читать*
белорусский	1	+				+		+		*буду чытаць*
	2		+			+		+		*чытацьму*
украинский	1	+				+		+		*буду читати*
	2		+			+		+		*читатиму*
польский	1	+				+		+		*będę czytać*
	2	+			+			+		*będę czytał*
чешский		+				+		+		*budu psáti*
словацкий	–	+				+		+		*budem čítat'*
серболужицкий		+				+		+	+	*budu pisać*
словенский		+			+			+	+	*bom dal*
сербскохорватский	1			+		+		+	+	*ја ћу писати/писаћу*
	2	+			+			+	+	*будем писао*
	3									*био сам писао*
болгарский	1			+			+	+	+	*ще ходя/писащем*
	2		+				+	+	+	*няма да ходя*
	3	+		+	+		+	+	+	*ще съм дал*
македонский	1			+			+	+	+	*ќе пишам*
	2		+				+	+	+	*нема да пишам*

Общая схема иррадиации может быть представлена так:

форма
- Иметь
  - инфинитив
  - личная форма
- Быть
  - инфинитив
  - личная форма
- Хотеть
  - инфинитив
  - личная форма (причастие)

Таким образом, если основной тенденцией в развитии аналитических форм перфекта в славянских языках является конкатенация, то есть следование по единому направлению, то тенденция развития аналитических форм будущего времени принимает форму иррадиации, то есть, использование различных видов переноса значений*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Будагов Р.А. 1963 – Сравнительно-семасиологические исследования. Романские языки. М., 1963.

Бурсье Э. 1952 – Основы романского языкознания. М., 1952.

Вайан А. 1952 – Руководство по старославянскому языку. М., 1952.

Грушин Б.А. 1961 – Очерки логики исторического исследования. М., 1961.

Мейе А. 1938 – Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.–Л., 1938.

Серебренников Б.А. 1974 – Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.

Селищев А.М. 1952 – Старославянский язык. М., 1952.

Шишмарев В. 1941 – Очерки по истории языков Испании. М.–Л., 1941.

ЯНС 1966 – Языки народов СССР. Т. 1. М., 1966.

Darmesteter A. s/a – Cours de grammaire historique de la langue française; 3-ème partie. P., s/a.

* Примеры взяты из книги "Славянские языки" (М., 1977) и других пособий по славянским языкам.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. Н.Д. АРУТЮНОВА

О СТЫДЕ И СТУЖЕ*

Обращение к русскому языку наводит на мысль о несогласованности этимологии слова *стыд* и основного симптома этого чувства – покраснения лица. Русское слово *стыд* восходит к праслав. **studъ*, **stydъ* "то, что заставляет сжиматься, цепенеть, коченеть, холод". Этимологическое значение сохранилось в таких словах, как *стужа, студеный, стынуть,* русск. диалект. *стыдь* (ж.) [СРНГ 1969][1].

Мороз (холод) способен вызвать румянец, но не залить лицо краской. От мороза или возбуждения можно *раскраснеться,* от стыда и смущения – *покраснеть.* Можно *сгореть* от стыда, но не от мороза. Например: "(Князь) в лорнетку на них смотрит, а они-то отличаются, две сороки, *раскраснелись* ноги вывертывают... Я *сгорела* со стыда, *сгорела, сгорела!"* (Достоевский), *"Сгорел* граф Нулин со стыда, / Обиду проглотив такую" (Пушкин). Стандартным эпитетом для слова *стыд* являются прилагательные *горячий* и *жгучий:* "Кто их послушает – те речи, хоть украдкой, / Тот без *горячего стыда* не в силах протянуть руки своей за взяткой" (Полонский). Между тем эпитеты *холодный* и *ледяной* со словом *стыд* в норме не сочетаются.

Существует некий таинственный механизм взаимодействия между психическими состояниями человека и физиологическими процессами, протекающими в его организме. Последние могут "выходить на поверхность", складываясь в систему внешних симптомов, заметных наблюдателю и им интерпретируемых. Совокупность этих симптомов создает семиотический образ человека, состоящий из постоянных и переменных величин, существенно влияющих на прагматику общения. Очевидную прагматическую релевантность приобретают спонтанные реакции на внешние, часто неожиданные стимулы, поступающие по коммуникативным каналам. Такие реакции не лгут, хотя наблюдатель может ошибиться в их интерпретации, поскольку симптомы неоднозначны. Так, можно побледнеть от ужаса и от злобы, можно покраснеть от стыда и от радостного возбуждения. Кроме того, возможна семиотизация незначимых реакций. Приведем тому пример из XXVI главы "Отрочества" Л. Толстого: "Володя ... читал какой-то французский роман, когда ... я вошел к нему в комнату. Он на секунду приподнял голову, чтобы взглянуть на меня, и снова принялся за чтение – движение самое простое и естественное, но которое заставило меня покраснеть. Мне показалось, что во взгляде его выражался вопрос, зачем я пришел сюда, а в быстром наклонении головы желание скрыть от меня значение взгляда. Эта склонность придавать значение простому движению составляла во мне характеристическую черту того возраста".

В то же время организм человека, по-видимому, настроен на дифференциацию симптомов, за которыми скрываются разные смыслы; см. об этом [Апресян 1995: 366–373]. Наблюдатель улавливает существующие между ними различия, но не всегда может их описать. В сущности язык симптоматики не богат и не разнообразен, тогда

* Работа выполнена при поддержке Российского Гуманитарного научного фонда (проект № 96-24-06230).

[1] Автор приносит искреннюю и глубокую благодарность за данные по славянским языкам Светлане Михайловне Толстой и за сведения по древнерусскому языку Ирине Ивановне Макеевой.

как стоящие за ним психологические состояния обладают множественными средствами выражения. Поэтому внешние симптомы идентифицируются не по означающему, а по означаемому; ср. – *Вы недовольны? (Вы мне не верите?) – Откуда вы знаете? – По глазам вижу (Видно по вашему лицу).*

Однако, когда речь идет об изменении окраски лица, широко используются имена цветов, производные от них глаголы, а также температурная и "огневая" лексика *(вспыхнуть, запылать, сгореть* и т.п.) [Апресян 1995: 372–373].

При этом язык хорошо координирует оттенки цвета с соответствующими им эмоциональными стимулами. Так, *багровеют* от ярости и гнева, а сам багровый цвет имеет отрицательные коннотации; *пунцовый* цвет – свидетельство стыдливости и смущения; *зардеться, заалеться, порозоветь* можно от радостного возбуждения или иного приятного чувства, вызванного, например, успехом или комплиментом. С этими глаголами в норме связаны положительные коннотации. Целям дифференциации эмоциональных стимулов служат также указания на "границы" покраснения или иные уточнители. Так, краснеть можно от самых разных причин; например: *"...пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, он в свою очередь уставился на досадного старика"* (Достоевский). Однако *покраснеть до ушей (до корней волос, до слез, как рак)* можно только от чувств гаммы стыда (неловкости, опозоренности, сильного смущения и пр.). *Румянец* – знак здоровья, мороза, радости и жизни в деревне. Слова *румянец, румяный, разрумяниться, зарумяниться,* имеют положительные коннотации, идет ли речь о лице, заре или выпечке. В ситуации болезни (лихорадки, жара, чахотки) или отрицательных эмоций слово *румянец* избегается или, по крайней мере, используется реже. В таких случаях чаще говорят: *лицо горело, на щеках появились красные пятна,* хотя употребительны и такие выражения как *лихорадочный (болезненный) румянец. Сгореть* можно от стыда или провала, *горят* и *загораются* обычно страстью, желанием или нетерпением. Это легко понять: стыд умаляет и как бы уничтожает человека, он не целенаправлен; напротив, желания и страсти óстаются неудовлетворенными, пока не достигают своей цели. Применительно к ним употребляются глаголы несовершенного и начинательного вида.

Касаясь проблемы цветовых симптомов, интересно отметить, что все они относятся только к лицу – открытой и наиболее семиотизированной части человеческого тела. Когда речь идет об изменении цвета лица, субъектом предложения обычно является не *лицо-лик,* а *лицо-личность.* Говорят: *Иван весь покраснел (побледнел, раскраснелся, позеленел, посерел, почернел, побагровел* и т.п.). При этом даже весьма частое употребление местоимения *весь (вся)* не свидетельствует о расширении цветового поля за пределы лица. В предложении *Сановное лицо вдруг все позеленело от злости* речь идет о лице-персоне, а не о лице-лике. В то же время само изменение цвета касается только лица-лика. Поэтому приведенное предложение в принципе допускает двоякое прочтение. Мы не беремся судить о том, как меняется цвет лица под маской или паранджой, но очевидно, что цветовые и тепловые реакции лица и остального тела в цивилизованном мире различны. М. Волошин приводит следующий рассказ Дарвина. Совершая кругосветное путешествие, Дарвин увидел в студеный день голого дикаря и спросил его: – *Как Вам не холодно?* Тот ответил вопросом на вопрос: – *А твоему лицу не холодно? – Нет,* – ответил Дарвин. – *Ну так у меня везде лицо,* – последовал ответ [Волошин 1988, с. 399]. Однако в зависимой позиции обычно фигурирует *лицо-лик;* ср.: *Краска залила (покрыла) его лицо, Краска ударила ему в лицо, Краска заиграла у него на лице.* Поскольку основным цветовым симптомом является красный цвет, слово *краска* в контексте таких выражений относится только к нему. Например: *"...краска* беспрестанно приливала и отливала от ее лица, и она начинала громко и смело говорить, большею частию глупости, чувствуя это, чувствуя, что все и папá слышат это, и *краснела* все больше" (Л. Толстой).

В русском языке, как мы могли убедиться, существует немало глаголов для

обозначения симптома покраснения лица. Все они отсылают к названию цвета, реже, к огню, горению: *покраснеть, раскраснеться, закраснеться, разрумяниться, зарумяниться, зардеться, заалеться, порозоветь, побагроветь, стать пунцовым, вспыхнуть, запылать* и др. В английском же языке существует обратная тенденция: в нем предпочтение отдается одному глаголу – *to blush*, лишь косвенно ассоциируемому с названием цвета, зато входящему в число обозначений эксклюзивных атрибутов человека: "Man is the only animal that blushes" (Mark Twain).

Итак, слово *стыд* этимологически родственно имени *студъ* и глаголам *стыгнуть, стынуть* [Фасмер 1971; Срезневский 1958; Маковский 1992: 44]. Между тем, от чувства стыда человека бросает не в холод, а скорее в жар, вызывающий покраснение его лица. Как можно объяснить это противоречие?

Прежде, чем попытаться ответить на этот вопрос, следует сказать несколько слов о сценарии стыда и распределении в нем ролей.

В ситуации стыда участвуют двое – "Я" (Эго) и Другой. О понятии "Другого"и его роли в формировании сознания см. [Sartre 1943; Deleuze 1972; Ortega y Gasset 1972; Бахтин 1979]. Основная идея Сартра состоит в следующем. Другой (autrui) как бы объективирует Эго, превращая его из субъекта познания в его объект. Благодаря появлению Другого "Я" в состоянии судить о себе. Другой превращает "Я" в объект оценки. Он не только открывает мне меня, но он создает меня нового, возбуждая во мне новые чувства, выделяя во мне новые параметры и применяя к ним новые оценки. Так, "Я" не могу ощутить вульгарности своих жестов и действий, если их никто не видит. Другой задает область стыда и очерчивает ее границы. Они объемлют то, что приобретает значимость при свидетелях. Я нуждаюсь в Другом, чтобы в полной мере осознать структуру своей личности. Бытие-для-себя оказывается обусловленным бытием-для-другого (le Pour-soi renvoi au Pour-autrui). Я стыжусь себя таким, каким кажусь Другому. Стыд как бы регулирует мои отношения с собой через посредство Другого [Sartre 1943 : 275–277]. Сходные мысли выражал М.М. Бахтин в период доработки своей книги о Достоевском. Он писал: "У человека нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит *в глаза другому* или *глазами другого"* [Бахтин 1979: 312, курсив автора] и далее: "Раскрылась роль другого, в свете которого только и может строиться всякое слово о себе самом. Раскрылась сложность простого феномена смотрения на себя в зеркало: своими и чужими глазами одновременно, встреча и взаимодействие чужих и своих глаз, пересечение кругозоров (своего и чужого), пересечение двух сознаний" [Бахтин 1979: 313–314].

Важно подчеркнуть, что понятие стыда скрывает за собой некоторую систему оценок: нормативных, этических, этикетных, эстетических, наконец, смеховых (юмористических). Итак, *стыдно* – это вид оценки. За Другим стоит общество. Его оценки подвижны и исторически обусловлены. "Стыд – явление не индивидуального, но общественного характера. Стыд – это обычно внутреннее мерило принятого и непринятого. Стыд – это наша органическая связь с обществом, посредством стыда выражает свои запрещения гений рода, гений общественности, подсознательно пребывающий внутри нас и неустанно ведущий борьбу с устремлениями нашего индивидуального сознания" [Волошин 1988: 404].

Другой, таким образом, не только свидетель, но и судья. Он влияет не только на мое поведение, но и на мое восприятие мира. М.М. Бахтин писал: "Свидетель и судия. С появлением сознания в мире ... мир (бытие) радикально меняется. Камень остается каменным, солнце – солнечным, но событие бытия в его целом (незавершимое) становится совершенно другим, потому что на сцену земного бытия впервые выходит новое и главное действующее лицо события – свидетель и судия. И солнце, оставаясь физически тем же самым, стало другим, потому что стало осознаваться свидетелем и судиею. Оно перестало просто быть, а стало быть в себе и для себя ... и для другого, потому что оно отразилось в сознании другого (свидетеля и судии): этим оно в корне изменилось, обогатилось, преобразилось" [Бахтин 1979: 341].

Свидетель и судия оценивает мои действия и выносит приговор. Небезынтересно отметить, что, познав стыд, Адам и Ева его испытали не столько друг перед другом, сколько перед Богом, хотя в исповеди Богу человек как раз не знает стыда: *И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся* (Быт. 3.9, 10). Бог-Творец стал для человека, познавшего стыд, Свидетелем и Судией. В библейской версии в сферу стыда входило плотское начало человека ("низ"), противопоставляемое его духовному началу – "верху", обращенному к небесной тверди. Устыдившись "низа", человек осознал свою духовность. В.С. Соловьев истолковывал ответ Адама Богу в духе картезианского cogito: "Я услышал божественный голос, я убоялся возбуждения и обнаружения своей низменной природы, я стыжусь, следовательно, существую, не физически только существую, но и нравственно, я стыжусь своей животности, следовательно существую как человек" [Соловьев 1996: 9].

Стыд выделил человека из животного мира. Понятие стыда, таким образом, связано с одной из важнейших для формирования мира человека оппозиций – противопоставлением верха и низа, мира небесного и мира хтонического, духа и плоти. О системе оппозиций, лежащих в основе древнеславянской культурной традиции см. [Иванов, Топоров 1974]. Бинарные противопоставления в сербской народной традиции были детально изучены Н.И. Толстым. Н.И. Толстой учитывал в своих исследованиях взаимоотношения признаковых оппозиций внутри общей системы, а также степень их осознаваемости носителями языка. Он писал: "При исследовании отдельной, единичной системы бинарных оппозиций следует определить и то, каким образом осуществляется взаимная связь парных противопоставлений внутри этой системы. Устанавливается ли она в некотором смысле косвенным путем на основе анализа фольклорных текстов, ритуальных действий, запретов, оберегов и подобных представлений, или же она непосредственно отмечается самими носителями народной культурной традиции в определенных ситуациях и условиях, в конкретных символико-семантических сферах. В первом случае эта связь может не осознаваться носителями традиции или осознаваться слабо, во втором – она осознается четко и явно прокламируется. Во всяком случае, помимо выяснения соотношения бинарных оппозиций, важно определение соотношения различных символико-семантических сфер и ситуаций" [Толстой 1995а: 152]. Н.И. Толстой, в частности, отметил, что в сербской народной традиции оппозиция *верхний – нижний* соотносительна с фундаментальной для человеческой культуры оппозицией *мужской – женский* [Толстой 1995а: 156; ср. Толстой 1995б: 346]. Рефлексы этой связи заметны в том, что понятие стыда более непосредственно ассоциируется со слабым, чем с сильным полом. Так, говорят о *девичьем, девическом, девчоночьем,* но не о *мужском* стыде. Выражение *потерять стыд* чаще применяется к женщинам, чем к мужчинам. *Стыдливость* – свойство скорее женщин, чем мужчин. Ассоциация стыда с женщинами обычно проявляет себя тогда, когда акцентируются добродетели слабого пола. *Blushing is the colour of virtue,* говорят англичане. Вернемся, однако, к прагматике стыда.

В ситуации стыда участвуют "Я" (Эго) и Другой. Их положения неравны: Другой в том или ином отношении занимает привилегированную позицию. Их чувства взаимообусловлены. Стыд "двуличен", двусторонен. "Я" совершает некоторое ненормативное действие – речевое или неречевое, намеренное или нечаянное. Оно подлежит этической или социо-этикетной оценке. Другой является его свидетелем или осведомлен о нем. Он осуждает действие, а следовательно, и деятеля (агенса). Он как бы отторгает его от себя. Эго это видит и осознает. Он начинает воспринимать себя отстраненно. Он смотрит на себя глазами Другого. Он видит свой образ в зеркале чужого сознания. *"Друг друга отражают зеркала, \ Взаимно искажая отражения"* (Г. Иванов). Эго узнает себя в этом отражении. Ему неловко перед Другим. Он чувствует, что "теряет лицо", и лицо его краснеет.

Приведем лишь один пример ситуации стыда, взятый из текста "Униженных и ос-

корбленных" Достоевского: "Нелли была бледна; но, взглянув на меня и уверившись, что я все видел и знаю, вдруг покраснела; этой краской сказывался нестерпимый, мучительный стыд. ... – Нелли, ты просила милостыню?... Неужели тебе не стыдно? – Стыдно... – прошептала она чуть слышным голосом... – Стыдно... – повторил я за ней".

Стыд оказывается результатом двойного рикошета. Мое "действие", оцененное сначала Другим, а вслед за ним и мною, наносит мне удар двойной силы: мне стыдно перед Другим и перед собою. Можно утверждать, что стыд относится к разряду рикошетных эмоций. Он формируется в контексте социо-персонального взаимодействия.

Особенно благоприятствуют возникновению ситуаций стыда отношения неравенства – социального или возрастного. Стыдятся (или, по крайней мере стыдились) более всего люди, социально "униженные", а также дети и юноши, еще не овладевшие правилами поведения в обществе. Дети и очень молодые люди стыдятся и перед старшими и друг перед другом. В "Детстве. Отрочестве. Юности" Л. Толстого (объем повести 330 стр.) ситуация стыда и покраснения лица отмечена автором около 70 раз, а в "Униженных и оскорбленных" Достоевского (объем романа 273 стр.) – немногим более 50. В обоих произведениях "проблема стыда" возникает примерно один раз на пяти страницах текста. Если же исключить пассажи, не имеющие отношения к интерперсональному взаимодействию, то "удельный вес" стыда очевидно увеличится. Приходится констатировать, что современная демократизация общества и так называемая массовая культура скорее сужают, чем расширяют границы стыда. Очень враждебно относятся к стыду и вежливости революции своим стремлением "раздеть" человека и физически и духовно. "Долой стыд!" был одним из любимых лозунгов пролетарской молодежи в послереволюционный период. Лозунг был стыдливо стерт, но вместе с ним побледнела и стыдливость. Напомним строки А. Вознесенского: *"Нам, как аппендицит, \ поудалили стыд. \ Бесстыдство – наш удел. \ Мы попираем смерть. \ Ну, кто из нас краснел? \ Забыли, как краснеть! \ сквозь толщи наших щек \ не просочится свет. \ Но по ночам – как шов, заноет – спасу нет!*

Выражая первоначально непосредственную диалогическую реакцию, стыд перешел в категорию чувств, переживание которых не требует с необходимостью присутствия Другого. Фигура Другого допускает интериоризацию, а симптомы стыда могут появляться у человека, находящегося наедине с самим собой. Приведем несколько примеров: "*При этом воспоминании Павел Александрович вдруг остановился, как вкопанный, и покраснел до слез от стыда"* (Достоевский), *"Зина осталась одна. ... Она готова была презирать себя. Щеки ее горели. Со сжатыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она, не двигаясь с места. Слезы стыда покатились из глаз ее"* (Достоевский). "Уединенный стыд" обычно бывает стимулирован живым воспоминанием постыдных сцен. Однако он возможен и при их отсутствии. "Пост-стыд" сближается в этом случае с угрызениями совести, например, раскаянием в упущенной возможности сделать доброе дело. Таков стыд князя Мышкина: *"Новый, нестерпимый прилив стыда, почти отчаяния, приковал его на месте, при самом входе в ворота"* (Достоевский). Разрыв прямой связи чувства стыда с соответствующей прагматической ситуацией сближает его с воздействием на человеческое сознание совести. Даль даже определяет *прямой стыд* как внешнее проявление совести. Вместе с тем понятия *стыда* и *совести*, формирование которых знаменовало собою два важнейших этапа в становлении феномена человека, допуская сближение, сохраняют принципиальные различия. Мы не можем здесь останавливаться на этом вопросе. Отметим лишь, что *стыд* и *совесть* занимают разное место в структуре внутреннего человека: стыд относится к категории чувств (эмоциональных состояний), совесть является постоянной компонентой, оказывающей воздействие на поступки человека и относящиеся к ним переживания [Апресян 1995: 352–354].

Присутствие в ситуации стыда Другого имеет еще одно важное следствие. Эго,

опасаясь суждения и осуждения Другого, стремится скрыть от него свой "низ" и свои слабости. Он бежит Другого. "Нам так хорошо в мире природы, – говорил Ницше, – потому что у нее нет о нас мнения". Стыд очертил и обособил в человеке интимную сферу, сокровенное. Стыд создал тайну, и опоясание из листьев смоковницы, которым Адам и жена его прикрыли свои чресла, стало ее символом. Стыд не только связывает человека с обществом, но и разделяет их. "Стыд, стыдливость – всегда один из эффектов сознания. История Адама и Евы, ощутивших стыд немедленно после того, как они приоткрыли дверь познания Добра и Зла, повторяется в каждом человеке. Когда человек сознает себя вдруг чем-то отдельным, непохожим на других, то он прежде всего по особому инстинкту самосохранения спешит скрыть свою особливость. Стыд – это свойство индивидуальности. Гений рода не знает стыда" [Волошин 1988: 401]. Стыд ставит предел откровенности даже между близкими людьми. "Мы доходили иногда в увлечении откровенностью до самых бесстыдных признаний, ... – пишет Л. Толстой о своей юношеской дружбе, – и эти признания не только не стягивали больше связь, соединявшую нас, но сушили самое чувство и разъединяли нас". В форме светского mot эту мысль выразил О. Уайлд: "A little sincerity is a dangerous thing, and a great deal of it is absolutely fatal".

Стыд распространяет свое действие и на смысл речи, и на ее форму. В первом случае он причастен к истинностному значению высказывания. Опасаясь "наготы", стыд стремится его редуцировать к "голым фактам". Он заставляет опускать детали и частности. Он противится полноте истины. Во втором случае стыд побуждает заменять прямые способы номинации косвенными. Он создает эвфемизмы. Он пользуется окольными средствами выражения.

Стыд, таким образом, положив начало формированию сознания, стимулировал развитие внутреннего человека, индивида – с одной стороны, и члена социума, подчиненного определенным нормам поведения, – с другой. Стыд – одновременно свойство личности, оберегающей свою индивидность, и свойство социума, оберегающего себя от проявлений индивидности.

Стыд предполагает дистанцирование. Оно может развиваться в противоположных направлениях: от Другого и от Эго. В первом случае стыд испытывает тот, кто отступает от поведенческой нормы. Другой (социум) гонит его от себя. Во втором случае, стыд испытывает Другой (наблюдатель). Эго, отступая от правил, напротив, не испытывает никакого стыда. Он презирает нормативные акты. Он волен в своих действиях. Другой вынужден отступиться от отступника. Он отворачивается и уходит прочь.

Ситуации первого типа возникают вследствие несоблюдения форм и норм социального поведения. В основе ситуаций второго типа лежит нарушение правил приличия. Стыд эволюционирует в сторону срама. В первом случае речь идет преимущественно о публичных ("прилюдных") действиях, во втором – об интимных, не осуществляемых на виду и вслух. Это касается как речевых, так и иных актов. В первом случае нарушение может быть нечаянным, сделанным по неведению или неумению; во втором оно всегда сознательно. Это вызов, эпатаж, демонстрация. Проиллюстрируем ситуацию-2 следующим примером: *"А ведь действительно бабенка-то недурна. Как вы думаете? – снова начал свои неприличные выходки господин Голядкин-младший... Герой наш вспыхнул как огонь от слов не знающего стыда господина Голядкина-младшего"* (Достоевский). Для нас существенно, что и в том и в другом случае ситуация стыда предполагает движение *от: от*-талкивание, *от*-вращение, *от*-ступничество, *от*-межевание.

Итак, в стыде соединились два чувства: чувство-оценка Другого (социума) и вызванная им эмоциональная реакция того, кто отступил от нормы. Эти чувства очень различны. Не случайно говорят "Людской стыд смех, а свой – смерть". Вместе с тем оба они присутствуют в слове *стыд*. В словарях обычно первым ставится значение, характеризующее чувства "отступника", а вторым – значение, относящееся к оценке его действия Другим (социумом). Иначе говоря, сначала указывается результат (реак-

ция), а вслед за ним – причина (стимул). Ср. в словаре Ушакова: 1. *чувство смущения, раскаяния от сознания предосудительности поступка;* 2. *позор, бесчестье.* Даль выделяет в качестве первого значение "самоосуждение, раскаяние", а в качестве второго – "срам, позор, посрамление, поругание, унижение в глазах людей". Это второе значение, по Далю, присуще обеим формам слова – *студъ* и *стыдъ,* тогда как первое значение более свойственно слову *стыдъ* [Даль, т. IV, 1980: 347]. Срезневский также отмечает для слова *студъ* значения, характеризующие чувство-отношение, такие как "оскорбление", "поругание", "поношение", "посрамление": *Стыд ему бывает и поношение.* Прилагательное *студеный* может иметь значение "посрамленный", "опозоренный", "отвратительный", то есть относится к тому, на кого пал позор [Срезневский, 1958]. Преображенский дает для слав. **stud, *pristud* значение "отвращение", а для глагола **studiti* – значение "гнушаться". Ассоциация с холодом, как отмечает Преображенский, повела к изменению вокализма в слове *студъ* под влиянием глаголов *стыть, стынуть (стыгнуть)* [Преображенский 1910].

Заметим попутно, что Эрну и Мейе считают, что латинские слова группы "стыд" (pŭdet, pudĭtum est, pŭduit, pŭdēre, etc.) имели в качестве первичного значение "отталкивание, отторжение" (mouvement de repulsion) [Ernout, Meillet 1959].

По-видимому, понятие стыда первоначально ассоциировалось с отношением (оценкой) Другого (других людей, социума) к тому, кто отступил от поведенческой нормы. Предавая виновного посрамлению, Другой отторгает его от себя. Он испытывает к нему чувство холода. "Холод" имеет в русском языке устойчивые отрицательные коннотации; ср.: *постылый* "неприятный", "надоевший", *опостылеть* "надоесть"; слова *мерзкий, мразь, мерзость* образованы от одного корня со словом *мороз.* В древнерусском языке слово *студенецъ* означало "колодезь", "яма для выброса нечистот", "ров", "пропасть", а сочетанием *студенецъ истления* называли "ад, бездну, в которую повергают грешников" [Дьяченко 1993: 679–680]. В современном языке *холодным* называют дистанцированного человека, не ищущего ни близости, ни дружбы с другими людьми. Холодный тон – знак отчуждения. Когда гаснет любовь, наступает *охлаждение.* В "Полтаве" Мария жалуется: "Любовь смиренная моя \ *Встречает хладную суровость".* Словом *остуда* называют охлаждение в отношениях между людьми. В игре в прятки "хор" кричит "Холодно!", когда ищущий далек от цели, и "Горячо!", когда цель близка. Слово *мерзко* также может употребляться для выражения отрицательного отношения к человеку; ср.: реплику Настасьи Филипповны о Тоцком: "И так мне мерзко стало вдруг на него" (Достоевский).

"Холод" – симптом (а затем и знак) дистанции, отчуждения. Поэтому ассоциация отношения Другого (социума) к "отступнику" с ощущением холода и омерзения кажется естественной. Она естественна и в том случае, когда Другой отдаляет от себя виновного и тогда, когда отдаляется от него сам.

Теперь посмотрим, есть ли основания считать возможной симптоматику холода применительно к ощущению осуждаемого, посрамленного человека. Кажется, такие основания есть. Ведь, отстраняя его от себя, Другой как бы обдает его холодом, окатывает ушатом холодной воды, "облекает в студъ"; ср: *Да облекутся в студъ велеречущіи на мя* (Псал. 34.26). Холод вызывает оцепенение, окоченение. Человек сжимается, ежится, *у-ниж-ается,* втягивает голову в плечи. У него стынет кровь. Сходные эффекты зарегистрированы и у стыда; ср. одно из толкований слова *стыд* у Даля: "застывание крови от унизительного, скорбного чувства". Вспоминая пережитые некогда стыд и унижение, Татьяна говорит Онегину: "Не правда ль? Вам была не новость \ Смиренной девочки любовь? \ И нынче – Боже! – *стынет кровь,* \ Как только вспомню взгляд *холодный* \ И эту проповедь... (Пушкин). Эффект холодного взгляда оказался устойчивым. Прошли годы. Онегин пал к ногам Татьяны и припал к ее руке. Он смотрит на нее больным, молящим взором. Но Татьяна помнит *взгляд холодный* и у нее *стынет кровь.* Стыд, осложненный чувством неуспеха, провала,

отверженности, сопровождается ощущением холода, бледности, умаления; например: "Так иногда средь нашей сцены \ Плохой питомец Мельпомены, \ Внезапным свистом оглушен, Уж ничего не видит он, \ *Бледнеет, ролю забывает, Дрожит, поникнув головой,* \ *И заикаясь умолкает* \ Перед насмешливой толпой" (Пушкин). Получив отказ в займе, Макар Девушкин так описывает свое ощущение: *"*... лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась; *холод такой, ноги окоченели, мурашки по спине пробежали"* (Достоевский).

Еще определенней сказывается на симптомах стыда присоединяющееся к нему чувство страха. Поругание, посрамление могли иметь своим следствием низведение человека до статуса отверженного, изгоя, как это нередко имеет место в первобытных обществах, в частности африканских. Негры от стыда не краснеют, а бледнеют (сереют). Их охватывает страх перед отторжением от общины [Синицына 1978]. Напомним, кстати, что нарушение запрета и последовавшее за ним ощущение стыда обернулись для Адама и Евы изгнанием из садов Эдема. Стыд и страх нередко идут в паре; ср. у Пушкина: "Он проснется с содроганием \ Полон *страха и стыда"*. Вот еще характерный пример: "Но каково же было изумление, исступление и бешенство, каков же был *ужас и стыд* господина Голядкина-старшего, когда господин Голядкин-младший ... *без всякого стыда* ... вырвал свою руку из руки господина Голядкина-старшего" (Достоевский).

Таким образом, сам "состав" чувства стыда вариативен. К нему может примешиваться робость, раскаяние, страх, а страх вызывает ощущение холода (от страха холодеют) и бледности (от страха бледнеют). В древнерусском языке глагол *стыдиться* использовался в значении "бояться" даже безотносительно к ощущению вины или проступка. Так, были в ходу выражения *стыдиться сильного, стыдиться лица сильных;* например: *дълати всякіе государевы дъла, не стыдяся лица сильных;* ср. также близость значений *стыдиться* и *робеть;* например: *Гость же со своей стороны тоже не начинал ничего, робел ли, стыдился ли немножко ... понять трудно* (Достоевский). С этим же значением связано отмеченное для древнерусского языка употребление глагола *стыдиться* в смысле "почитать", "уважать". Такое семантическое взаимодействие легко понять. Участники ситуации стыда не равны. Тот, кто испытывает стыд, низведен на более низкую ступень своим поступком или занимает более низкую позицию в социальной иерархии, чреватую унижением, ущемлением и даже наказанием. Он, поэтому, проявляет к вышестоящим чувство робкого почтения, являющееся своего рода защитной реакцией от возможного попирания.

Движение роденовской Евы, прикрывающей лицо согнутыми в локте руками, – это и симптом стыда и жест обороны, защиты от наказания, то есть симптом страха. Напомним, что фигура Евы предназначалась для "Адских врат". Вот как описывает скульптуру Родена Рильке: "Голова глубоко погружена во мрак рук, стиснутых на груди как от холода. Спина согнута, шея вытянута почти горизонтально, все тело наклонено вперед..." [Рильке 1994: 87].

Любопытно отметить, что познав стыд наготы, Адам и Ева сшили себе опоясания и ими прикрылись. Когда за нарушение запрета они были изгнаны из райских садов, "сделал Господь Адаму и жене его одежды кожаные и одел их" (Быт. 3.21). Ощущение холода как бы пришло к Адаму и Еве вместе с чувством стыда и отторжением от Бога, низведением на землю. И стыд и холод пользуются сходным средством защиты – прикрытием.

Подведем короткий итог. Можно предположить, что словом *стыд* первоначально обозначалось отношение Другого (социума) к "отступнику". Ассоциация с холодом была вызвана фактором отчуждения, отталкивания нарушителя. Ощущение Другого передавалось виновному, у которого возникало болезненное чувство отверженности, позора, осложненное унижением и страхом наказания.

Нам осталось попытаться ответить еще на один вопрос: почему столь резко изменилась симптоматика стыда? Почему начало фразы *Он похолодел (побледнел)...*

никак не наводит на мысль о стыде, а когда нам говорят *Он покраснел* или *Он покраснел до ушей (до корней волос)* мы почти наверняка знаем, что причиной симптома был стыд? И, напротив, как отмечает Даль, "когда кровь в лице вступит, то обычно говорят *она стыдится,* хотя это не всегда верно" [Даль, т. IV, 1980: 347].

Выше уже говорилось, что стыд может быть вызван разными причинами; и, соответственно с ними, принимать разную эмоциональную и физическую окраску. Цивилизация в процессе своего становления неустанно расширяла границы стыда [Elias 1976, Захарьин 1995]. Социум диктовал правила поведения в доме и вне дома, за столом и в обществе других людей. Параллельно этическим нормам постепенно складывалась разветвленная система правил приличия. Человек все больше подпадал под двойной контроль – себя и других людей. Наряду с гражданским и уголовным кодексами, оберегающими мораль, появляется кодекс правил цивилизованного поведения, охраняющий "маленькую мораль" (этикет). Нарушение этикета, особенно в светском обществе, влияло на социальное положение человека и потому каралось. Оно сказывалось и на отношениях между людьми. В главе "Юности", посвященной понятию comme il faut, Л. Толстой признается: "Мне кажется даже, что, ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были comme il faut, я бы сказал, что это несчастие, но что уж между мной и ими не может быть ничего общего". Однако отступление от норм этикета вызывало стыд, но не страх. За нарушение правил поведения устанавливается штраф, а не срок.

Этические нормы отделились от этикетных, чувство стыда от угрызений совести. Нарушение социальных конвенций не влекло за собой отторжения от социума (клана, касты, общины). Связь стыда с чувством унижения или страха пошла на убыль. Напротив, усилилась ассоциация стыда с нарушением границ личной сферы, вторжением Другого в душу и в частную жизнь индивида, в область его интимных переживаний. Проиллюстрируем это рассуждение Макара Девушкина о том, как посторонние люди стремятся заглянуть в личную сферу бедного человека: "Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми – грубое-то словцо мое простите – разоблачаться не станете; вот так точно и бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отношения будут семейные, – вот". И несколько ниже: "Да и в присутствии-то я сегодня сидел таким медвеженком, таким воробьем ощипанным, что чуть сам за себя со стыда не сгорел. Стыднехонько мне было, Варенька! ... Чего! сам Степан Карлович сегодня начал было по делу со мной говорить, говорил-говорил, да как будто невзначай и прибавил: "Эх вы, батюшка Макар Алексеевич!" – да и не договорил остального-то, об чем он думал, а только я уж сам обо всем догадался, да так покраснел, что даже лысина моя покраснела ... Уж не проведали ли чего они! А Боже сохрани, ну, как об чем-нибудь проведают! ... Ведь этим злодеям нипочем! выдадут! всю частную твою жизнь ни за грош выдадут: святого ничего не имеется" (Достоевский).

Таким образом, симптоматика стыда может меняться в зависимости от прагматического контекста, налагающего на него тот или другой отпечаток, сдвигающего его то в сторону страха и унижения, то в сторону смущения и неловкости при обнаружении сокровенного, то в сторону раскаяния за проступок. Соответственно варьируются внешние проявления стыда. Заметим, что переход от жара к холоду, от покраснения к бледности, сколь бы резким он ни казался, протекает постоянно и естественно. Лихорадка бросает человека то в жар, то в холод. Эффект жара и стужи в чем-то сходны. Так, *палящим* может быть и жар, и мороз (сочетание *палящий мороз* отмечено Далем в статье "студа"). Попав в неловкое положение, человек то краснеет, то бледнеет. Очень сильная степень стыда, осложненного страхом унижения, может вызывать не покраснение, а побледнение лица; например: *"Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходящего до отчаяния стыда на искаженном своем лице"* (Достоевский); Тогда, когда чувство стыда окрашено одновременно разными эмоциональными нюансами, симптоматика стыда может соединять контрастные

ощущения; например: "Мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович, – говорил наш герой, *горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса все в одно время"* (Достоевский). Аналогичный эффект могут вызывать и другие "смешанные чувства": *Все тихо – страх его объемлет. \ По нем текут и жар и хлад*" (Пушкин). Эти строки были выбраны Б.А. Лариным в качестве эпиграфа к статье, в которой он продемонстрировал, что связь чувства стыда с физическим ощущением холода не случайна. Она подтверждается не только этимологией слова *стыд*, но и этимологией его синонима – слова *срам (сором)*, в основе которого также лежит понятие холода. Рефлексы этой связи прослеживаются в балтийских языках; ср.: лит. *sãrmà*, лат. *sarma* "изморозь", "иней" (Ларин 1958, 156).

Ассоциация *срама* и *холода* подтверждает мысль о том, что ее источник коренится в чувстве-отношении Другого (социума) к провинившемуся. Другой, осуждая его действие, испытывает к нему отвращение, отталкивает его от себя. Слово *стыд* также первоначально отражало позицию социума и ее симптоматику – холод отвержения. Постепенно синонимия этих слов шла на убыль. *Срам* сохранил связь с позицией Другого, *стыд* ослабил эту связь, закрепив за собой значение, отражающее чувство виновного. Это различие прослеживается в сочетаемости слов *стыд* и *срам*, а также в значении их дериватов. *Стыд* и *срам* употребляются параллельно только в значении "позор": *А нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам!* В остальном их поведение резко расходится. "Срам" не принадлежит к категории чувств, входящих в своего рода "джентльменский набор" человека. Поэтому нельзя *испытывать (чувствовать, ощущать) срам*. Не говорят **Мне срамно*. Нельзя *сгореть* и даже *покраснеть от срама*. *Осрамить* значит опозорить в глазах других людей, выставить на общее осуждение или осмеяние; *пристыдить (устыдить, застыдить)* можно и публично и наедине. *Посрамляя*, апеллируют к публике, зрителям, *стыдя* – к провинившемуся, его внутреннему чувству, его совести. *Стыдиться* значит испытывать стыд (осуждать себя), *срамиться* значит покрывать себя позором в глазах других, при этом не обязательно испытывая чувство стыда. Слово *стыд* охотно входит в бытийные конструкции: *У тебя нет стыда, Оказалось, что у него все же есть стыд*. Слово *срам* в таких контекстах невозможно, ибо у срама (не в "предметном" смысле) нет "собственника".

Стыд, как и совесть, неотъемлемая собственность человека. Отсутствие стыда рассматривается как аномалия. Оно может повлечь за собой "присутствие" срама: *бесстыдник* и *срамник, бесстыдный (постыдный)* и *срамной* близки по смыслу. Семантическое развитие слова *стыд* шло от оценки к чувству. Слово *срам* в русском языке остановилось на первом этапе – оценке действия или ситуации наблюдателем. Однако в ряде других славянских языков и диалектов слово *срам* эволюционировало в направлении к "стыду"; ср.: болг. *срам*, означающее и "срам, позор" и "стыд", *срамный*, значащее и "постыдный, похабный, гадкий" и "стыдливый, застенчивый"; глагол *срамотъ* значит и "стыдить" и "позорить". Слово *стид* в болгарском является устарелым, а *срам* и его производные приобрели семантический синкретизм [Речникъ 1904: 238–239]. Аналогичная картина наблюдается и в словенском языке, в котором *sram* возобладал над стыдом: вместо *stiditi se* в современном словенском употребляется *sramovati se*, вместо *stiden – sramežljiv*. Широко используются и многие другие производные от слова *sram* [Slovar 1985: 891–892]. В белорусском языке также в ходу одно слово – *сорам* – в значении "стыд" и в значении "позор", а слово *соромна* значит "стыдно". В туровском диалекте (Полесье) также предпочтение отдается слову *сором*, хотя используется также его синоним *стыд* [ТС 1987: 75–76, 113].

Таким образом, слова со значением социальной оценки некоторого действия или ситуации, в которую вовлечены Я и Другой, могут обладать нерасчлененной семантикой, фиксирующей и оценку Другого и соответствующую ей самооценку со

стороны Я (агенса). Их значение как бы не распределено между действующими лицами: *стыдно, стыд, стыдоба* в зависимости от прагматического контекста могут выражать и оценку Другого и самооценку агенса – и обвинение, и признание. Разумеется, соответствующие высказывания будут различаться по интонации.

Здесь мы хотим обратить внимание на специфическую модальность обвинения. Высказывания *Стыдно! Тебе должно быть стыдно!* не только заключают в себе отрицательную оценку действия (ситуации) и обвинение агенса, в них содержится сверх того элемент квази-перформативности: говорящий своими словами как бы принуждает адресата ощутить стыд, создает в нем ситуацию стыда. Глагол долженствования не имеет в этом случае никакого оттенка предположительности (ср. *Тебе должно быть скучно*) и даже уверенности (*Сейчас тебе должно быть больно* – предупреждение врача). Нельзя видеть в приведенном высказывании также модальность долженствования, поскольку речь идет о неконтролируемом внутреннем состоянии, а не о сознательном действии человека. Апелляция к стыду может, разумеется, потерпеть неудачу. Адресат волен отпарировать: *Нисколько мне не стыдно*, а один ребенок сказать другому *Стыдно, у кого видно*. Это, однако, не лишает "призыв" к стыду модальной специфики, вытекающей из специфики сопровождающей высказывание иллокутивной силы: *Стыдно!* отлично от чисто оценочных высказываний, таких как *Дурно! Нехорошо! Плохо! Гадко! Гадость! Какая мерзость!* Это видно уже из одного того, что от соответствующих слов не образуются глаголы с переходным значением типа *стыдить (пристыдить, застыдить, устыдить)*. С другой стороны, *Стыдно!* отлично и от обвинений типа *Подло! Непорядочно! Преступно!* Оно произносится с особой интонацией, сходной с интонацией "актуального императива", т.е. императива, рассчитанного на немедленное выполнение, типа *Входите же!* (наблюдение С.В. Кодзасова). *Стыдно!* является уникальным высказыванием перформативного типа, способным к непосредственному изменению внутреннего климата адресата. Это своего рода магическая формула. Никакие другие попытки "трансплантации" эмоций не имеют сходного с ней эффекта. Заметим, что в английском языке апелляция к стыду обычно выражается формулой *Shame on you!* В ней акцент ставится на "внешнем виде", позоре. Модальная специфика апелляции к стыду вытекает из некой "солидарности" обвинителя и обвиняемого, внушаемости стыда или, лучше сказать, подверженности стыду той категории общества, к которой в норме она бывает обращена. Не случайно высказывания, взывающие к чувству стыда, так часто используются взрослыми в воспитательных целях. Воспитание стыдом оказывается более эффективным, чем воспитание совестью: стыд не нуждается в морализировании. Он возникает спонтанно. Он минует разум. Совесть – неотъемлемая собственность индивида. Она действует независимо от Другого. Она не учит социальному этикету. Совесть позволяет человеку войти в контакт с Богом, стыд – с социумом.

Стыд и совесть, как уже отмечалось, знаменуют собой два этапа в формировании феномена человека. В основе обоих лежит сознание – способность судить о себе с внешних позиций, отводимых Богу или социуму. Совесть имеет голос. Это голос Всевышнего (Высшей силы). С ним не спорят. Стыд "безголос", но жгуч. Стыд и совесть создают индивида и социального человека. Стыд воспитывает нравы, совесть – нравственность. Стыд оберегает от бесстыдства, совесть – от безнравственности. Границы стыда расширяет цивилизация, границы совести – религия. Стыд реагирует на отступление от социальной нормы, совесть – на нарушение нравственного закона. Стыд реактивен, совесть в большей мере регулятивна. Стыд толкает к сокрытию, совесть – к признанию. Преодоление стыда создает жанр исповедального жизнеописания; подчинение диктату совести создает жанр исповеди-покаяния. Страх стыда оберегает достоинство человека, страх перед лицом совести оберегает душевное спокойствие. "Теперь себя познал я, и в душе \ Мир, что превыше всех земных блаженств \ Спокойная, утихнувшая совесть" (Шекспир, "Генрих VIII").

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1995 – Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Бахтин М.М. 1979 – Эстетика словесного творчества. М., 1979.

Волошин М.А. 1988 – Лики творчества. Л., 1988.

Геров Н. 1904 – Речникъ на българскый языкъ. Ч. 5. Пловдивъ, 1904.

Даль В.И. 1980 – Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4., М., 1980.

Дьяченко Г. 1993 – Полный церковно-славянский словарь. М., 1993 (репринт издания 1900 г.).

Захарьин Д. 1995 – "Я хочу" в истории и языке русской цивилизации // Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität. München, 1995.

Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. 1974 – Исследования в области славянских древностей. М., 1974.

Ларин Б.А. 1958 – Из славяно-балтийских лексикологических сопоставлений *(стыд – срам)* // Вестник ЛГУ. Т. 14. Л., 1958.

Лотман Ю.М. 1970 – О семиотике понятий "стыд" и "страх" в механизме культуры // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам, 17–24 августа 1970 // Тарту, 1970.

Маковский М.М. 1992 – Лингвистическая генетика. М., 1992.

Преображенский А. 1910 – Этимологический словарь русского языка. М., 1910–1914 (репринтное издание).

Рильке Р. 1994 – М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1994.

Синицына И.Е. 1978 – Обычай и обычное право в Африке. М., 1978.

СРНГ 1969 – Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области) / Под ред. И.А. Оссовецкого. М., 1969.

Соловьев В.С. 1996 – Оправдание добра. М., 1996.

Срезневский И.И. 1958 – Словарь древнерусского языка по письменным памятникам. М., 1958.

Толстой Н.И. 1995а – Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Толстой Н.И. 1995б – Верх – низ // Славянские древности. М., 1995.

ТС 1987 – Тураўскі слоўник. Т. 5. Минск, 1987.

Фасмер М. 1971 – Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 1971.

Deleuze G. 1972 – Michel Tournier et le mond sans autrui // Tournier M. Vendredi ou les limbes du Pacifique. Paris., 1972.

Elias N. 1976 – Über den Prozess der Zivilisation. Bd. I, II. Baden-Baden, 1976.

Ernout A., Meillet A. 1959 – Ernout A., Meillet A. Dictionnaire etymologique de la langue latine. Paris., 1959.

Ortega y Gasset J. 1972 – El hombre y la gente. Madrid, 1972.

Sartre J.P. 1943 – L'Être et le Néant. Paris, 1943.

Slovar 1985 – Slovar slovenskega knjižnega jezika. T. 4. Ljubljana. 1985.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. Т.И. ВЕНДИНА

К ПРОБЛЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО И МАРГИНАЛЬНОГО АРЕАЛОВ СЛАВИИ

Настоящая статья написана в развитие идей Н.И. Толстого, высказанных им около 20 лет назад сначала на симпозиуме по ареальной лингвистике (Ленинград, 1975 г.), а затем в статье "О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии" [Толстой 1977: 37]. Поставив в своем выступлении вопрос, является ли у славян, как у романцев, центр сферой инноваций, а периферия – областью архаики, Никита Ильич со свойственной ему фундаментальностью в исследованиях обратился к изучению этой глобальной по своему масштабу проблемы. Центрально-периферийная противопоставленность его интересовала прежде всего в пространственно-топологическом плане (с целью обнаружения территориально противопоставленных элементов), а также в плане соотношения центра и периферии с точки зрения локализации архаизмов и инноваций и решения диахронических и этногенетических проблем. Привлекая факты исторической фонетики (и прежде всего случаи непоследовательности процессов палатализации заднеязычных согласных), а также данные лексикологии, Н.И. Толстой приходит к выводу, что архаизмы часто не окраинны, а классическая чистая картина размежевания центрального и бокового ареалов – относительно позднего происхождения. В некоторых случаях архаические особенности сохраняет и середина центра, его эпицентр, и тем самым перекликается с латеральными зонами. В связи с этим, заключает он, центрально-периферийная противопоставленность в общеславянском плане едва ли может оправдать себя при решении кардинальных диахронических и этногенетических проблем и, видимо, правильнее для тех же целей оперировать условными понятиями архаических и неархаических зон. Отмечая, что современные факты, относящиеся к явлениям славянской языковой архаики, еще недостаточно упорядочены (и потому не позволяют со всей определенностью сделать четкие выводы), Никита Ильич осторожно намечает контуры этих "островов архаики": Словения, чакавское приморье (север Адриатики и прилегающих к нему областей), Черногория, южная Македония, Родопы, Кашубы, Карпаты (западно- и восточнославянские), Полесье (украинское, белорусское и частично русское), русский Север.

Публикация первых томов Общеславянского лингвистического атласа, в котором картографируемые явления предстают в своей системной взаимообусловленности (поскольку материал каждого тома составляют не отдельные произвольно или случайно выбранные лексемы, а словоформы, отобранные в соответствии с целевой сравнительно-исторической установкой Атласа, что позволяет проследить судьбу праславянского феномена во всех релевантных для него и каждой частной диалектной системы позициях) дает возможность соотнести эти наблюдения Н.И. Толстого с новыми данными по исторической фонетике и лексикологии.

Так, если обратиться к первому фонетическому тому Атласа "Рефлексы *ě" [ОЛА$_1$ 1988], то нетрудно убедиться, что помимо чрезвычайно ценного материала о континуации этой праславянской фонемы в современных славянских диалектах, на картах Атласа содержатся сведения о тех "островных" зонах архаики, где *ě до сих

пор сохраняет свою фонологическую индивидуальность. Эта информация в своем концентрированном виде особенно четко выражена на обобщающих картах Атласа. Являя собой результат кропотливого, тщательного сравнительно-исторического и лингвогеографического анализа, эти интерпретационные карты упорядочивают огромный материал целого тома Атласа, поскольку факты, отражающие результаты более поздних изменений, на них элиминируются и "искомая" информация предстает как бы в "чистом" виде. Системно-типологическое восприятие материала карты "Фонологический статус рефлексов *ě/*ě:" (авторы Б. Видоески, З. Тополиньска) позволяет выделить следующие зоны архаики, в которых фонологическая индивидуальность *ě сохраняется п о л н о с т ь ю:

1) широкая полоса юго-западных белорусских диалектов, причем не только восточно-полесских, но и центральных (пп. 346, 353–356, 363–366, 375, 376, 384–386, 389–391, 394, 395, 399), частично среднебелорусских (пп. 367, 396, 397, 400) и северо-восточных (пп. 368, 369);

2) среднеполесские (пп. 410, 411, 417, 418, 423–426, 435–437) и восточно-полесские (пп. 438–441, 445–447) украинские диалекты;

3) отдельные пункты в словенских паннонских (п. 20) и прекмурских (п. 149) диалектах;

4) отдельные пункты в кайкавских (п. 27) и штокавских славонских (п.п. 52, 151), шумадийских (п. 62) и смедеревских (п. 168) диалектах;

5) отдельные пункты в македонских эгейских юго-западных (п. 106) и юго-восточных (п. 112) говорах[1].

Попутно отметим, что в словенских и сербскохорватских диалектах сохранение фонологической индивидуальности *ě во многом определялось его долготой, в связи с чем ареал, в котором фонологическая индивидуальность долгого "ять" сохраняется абсолютно, в словенских диалектах несколько расширится: это приморские говоры (пп. 2, 4, 11, 12), ровтарские (п. 6), костельские (п. 13), доленские (пп. 14, 16) и прекмурские (п. 21).

Границы этих зон "архаики" значительно раздвинутся, если принять во внимание говоры, в которых фонологическая индивидуальность *ě сохраняется не полностью, а ч а с т и ч н о:

1) это прежде всего обширная территория украинских диалектов, в которых неполное сохранение фонологической индивидуальности "ять" связано с тем, что часть материала *ě в закрытом слоге совпала с другими фонемами (в частности, с *e и *o);

2) часть белорусских – западнополесских (пп. 362, 372, 374, 382, в которых наблюдается та же ситуация, что и в украинских диалектах), юго-западных (гродненских) – пп. 336, 343–345 и отдельные пункты в северо-восточных диалектах (пп. 370, 379), в которых часть материала *ě совпала с *e;

3) обширный ареал в севернорусских говорах – архангельских (пп. 531, 537, 540, 546, 553, 569, 576, 578, 598), онежских и ладого-тихвинских (пп. 550, 563, 567, 568), вологодских (590, 592, 597, 603, 611, 617, 618, 619, 621, 623, 626, 639, 643–648, 668), костромских (665, 667, 689, 691, 707, 709), небольшие островки в среднерусских говорах – новгородских (пп. 609, 610, 635–637) и владимиро-поволжских говорах (пп. 716, 727) и южнорусских говорах – западных (п. 762), тульских (пп. 789, 792) и восточных (пп. 828, 839), в которых часть материала *ě совпала либо с *i и частью материала *e (севернорусские говоры – пп. 567–569, 576, 578, 590, 592, 603, 621, 626, 639, 644–646), либо только с *e (все остальные указанные пункты);

4) серболужицкие диалекты, в которых часть материала *ě совпала с *e (пп. 235–237), либо с частью материала *e (п. 234);

---

[1] Мы оставляем без внимания вопрос о фонетической реализации фонемы *ě во всех перечисленных пунктах, поскольку в каждом из них имеются свои особенности. Обобщенные сведения о континуации фонемы *ě содержатся на другой интерпретационной карте Атласа "Фонетические рефлексы *ě в позиции максимальной дифференциации" (авторы А. Басара, Г. Здуньска, З. Тополиньска) [ОЛА$_1$ 1988].

5) отдельные словенские прекмурские (п. 21) диалекты, в которых часть материала *ě совпала с *i;

6) значительный ареал в штокавских восточногерцеговинских и зетских говорах (пп. 36, 38, 49–51, 65–68, 71, 72, 74–78), в которых часть материала долгого *ě: совпала в полифонемном рефлексе *i͡e* (п. 36) или *ije*.

Такая дистрибуция фонетических архаизмов далека от традиционного представления об их окраинной локализации: абсолютное сохранение фонологической индивидуальности *ě наблюдается скорее в центре современной Славии, нежели на ее окраинах. В латеральных зонах (как хорошо видно на картах) прослеживается, как правило, разрушение этой архаической черты (ср., например, частичное сохранение фонологической индивидуальности *ě в севернорусских или серболужицких говорах, которые на общеславянском ландшафте, действительно, являются окраинными) или ее полная утрата (ср., например, ситуацию во многих маргинальных русских, белорусских, польских, чешских или македонских говорах).

Сходную в лингвогеографическом отношении картину дают и лексические архаизмы, зафиксированные на картах 1 лексико-словообразовательного тома "Животный мир" [ОЛА$_2$ 1988]. Нам уже приходилось писать о том, что карты этого тома наглядно показали, что несмотря на праславянский характер происхождения лексики, выбранной для картографирования в этом томе, общеславянских (с точки зрения распространения) корней, словообразовательных формантов и тем более лексем сохранилось сравнительно немного. На картах Атласа отчетливо прослеживается тенденция к сужению ареалов праславянских лексем за счет широкого распространения регионализмов (см. [Вендина 1996]). Это обстоятельство, несомненно, повышает ценность таких лексем в качестве диагностических при определении зон лексической архаики. Из 48 карт тома при известной натяжке (когда повсеместное отсутствие лексемы вызвано влиянием соседних языков или диалектов) можно выделить только 8 карт, репрезентирующих общеславянское распространение праславянских лексем: карта № 5 'медведь-самец' (*med-ъv-ěd-ь*), № 6 'самка медведя' (*med-ъv-ěd-ic-a*), № 9'ласка' (*las-ic-a*), № 10 'ёж' (*//ež-ь*), № 12 'крот' (*krъt-ъ*), № 20 'дятел' (*dęt-el-ъ, dě t-ьl-ъ*), № 32 'жаба' (*žab-a*), № 46 'гусеница' (*//ǫs-en-ic-a*).

Как показал ареалогический анализ, в восточнославянских языках наивысшая концентрация архаизмов отмечена в белорусских диалектах (особенно в юго-западных говорах: пп. 336, 337, 345, 353–355, 364, 366, 375, 378, 381, 384–386, 389–391, 394: из 8 лексем ограниченное распространение имеют только две – *//ež-ь* и *//ǫs-en-ic-a*). Несколько ниже она в украинских и русских диалектах: в украинских диалектах отмеченные архаизмы локализуются главным образом в полесских говорах (пп. 401, 402, 404, 408, 411, 417, 418, 424, 437, 439, 443: из 8 лексем встречаются, как правило, 6, реже 7, ограничения в территориальном распространении имеют лексемы *med-ъv-ěd-ic-a* и *//qs-en-ic-a*), а в русских – в севернорусских (причем преимущественно в костромских пп. 667, 670, 671, 684–691, 702–704, 709 и вологодских пп. 617, 618, 620, 627, 638, 639, 641, 646, 668), а также в среднерусских (причем, что особенно интересно, в основном в калининских, селигеро-торжковских пп. 660, 661, 678–682, 695, 697–699, 701, 714–716, 726 и новгородских пп. 582, 608, 609, 610, 636 говорах): из 8 лексем здесь, как правило, встречаются 7 (а иногда даже 8 – пп. 609, 618), ограничения в территориальном распространении имеет лексема *dęt-el-ъ, dět-ьl-ъ*.

В западнославянских диалектах наивысшая концентрация архаических лексем отмечена в словацких говорах, причем распространены они довольно равномерно, так как достаточно плотно локализуются в западнословацких (пп. 154, 209, 210, 213, 215, 221), в средне- (пп. 216, 217, 219, 220, 222) и восточнословацких говорах (пп. 156, 226, 227, 228, 230, а также п. 233, для которого характерна украинская диалектная система): из 8 лексем здесь, как правило, встречаются 6 (ареальные ограничения касаются лексемы *žab-a*, в западнословацких диалектах – лексемы *krъt-ъ*, а в средне-

и восточнословацких – лексемы *dęt-el-ъ, dět-ьl-ъ*). В остальных западнославянских диалектах архаические лексемы имеют небольшие островные и даже точечные ареалы: в чешских диалектах это "островок" ляшских говоров (пп. 197, 207, из которых п. 207 являет собой польскую диалектную систему: здесь из 8 лексем отмечены 7, ограничения касаются лексемы *las-ic-a*, а в 197 п. и лексемы // *ež-ь*) и ганацких (среднеморавских) п. 195: из 8 лексем ареальные ограничения имеют также лексемы *las-ic-a* и // *ež-ь*); в польских диалектах – это небольшие островные ареалы в мазовецких говорах (пп. 251, 253, 286, 287, в которых из 8 лексем фиксируется, как правило, 7, ограничения в распространении имеет лишь лексема *žab-a*) и в малопольских (пп. 310, 315, в которых, кроме лексемы *žab-a*, ареально ограничена и лексема *las-ic-a* п. 310); в лужицких диалектах ситуация несколько сложнее вследствие их малочисленности на карте (всего 4 пункта) и общеславянской репрезентативности лексем (из 8 лексем здесь отмечено только 4, причем лишь в одном п. 236 – *las-ic-a, // ež-ь, krъt-ь, ǫs-en-ic-a*), в остальных – 3 или даже 2 (пп. 235, 237).

В южнославянских языках высокая степень концентрации архаизмов отмечается прежде всего в сербскохорватских говорах, причем локализуются они либо в виде компактных ареалов в штокавских говорах (где особенно выделяются славонские пп. 39, 41, 52), либо в виде довольно плотного пояса – чакавских (пп. 23–25, 34, 37, 147а) и кайкавских (пп. 26–31, 35) говоров: в штокавских реликтовых зонах (пп. 22, 39, 41, 51–53, 65, 74, 79, 152, 162) из 8 лексем встречаются, как правило, 6, реже 7 (пп. 52, 152) и 8 (п. 22): ареальные ограничения имеют лексемы *dęt-el-ъ, dět-ьl-ъ* и *krъt-ъ*; в чакавских говорах из 8 также только две лексемы являются территориально ограниченными – *las-ic-a* и *dęt-el-ъ, dět-ьl-ъ*; в кайкавских говорах из 8 представлены, как правило, 7, ареальные ограничения имеет лексема *žab-a*. Достаточно высокая степень архаизмов наблюдается и в македонских говорах (хотя из 8 рассматриваемых лексем здесь полностью отсутствуют лексемы *med-ъv-ěd-ь* и *med-ъv-ěd-ic-a*, но из оставшихся шести 5 отмечены в центрально- (пп. 94, 97), северно- (п. 93) и восточномакедонских (п. 105) говорах, а 4 – практически во всех остальных, за исключением эгейских юго-восточных говоров (пп. 112, 113, 113а): ареальные ограничения имеет лексема *dęt-el-ъ, dět-ьl-ъ*, в западно- и восточномакедонских говорах, а также в эгейских, кроме того, лексема *las-ic-a*. Несколько ниже концентрация архаизмов, локализующихся в виде маленьких островков, в словенских говорах: из рассматриваемых 8 лексем только 5 отмечены в горенских (п. 9), прекмурских (п. 21) и говорах Каринтии (п. 148): ареальные ограничения имеют лексемы *med-ъv-ěd-ic-a* и *žab-a*.

Если локализовать все эти островки на карте Общеславянского лингвистического атласа, то нетрудно увидеть, что они образуют своеобразный "пояс", который начинается в южной части севернорусских говоров и проходит широкой полосой через среднерусские, белорусские и северноукраинские говоры, далее прерывается в малопольских говорах (где отмечены лишь отдельные точечные ареалы), вновь расширяется в словацких, опять сужается в словенских и снова расширяется в чакавском приморье и прилегающих к нему областях, в штокавских славонских и зетских говорах, а также в македонских.

Совмещение на карте выделенных фонетических и лексических зон архаики позволило обнаружить различия в глубине и степени их архаичности: так, в частности, отчетливо выделились ареалы, в которых наблюдается как полное сохранение фонологической индивидуальности **ě*, так и большинства из рассматриваемых праславянских лексем:

1) это прежде всего юго-западные белорусские говоры (пп. 353–355, 364, 366, 375, 384–386, 389–391, 394) и отдельные южные пункты среднебелорусских (пп. 397, 400), которые демонстрируют наивысшую концентрацию архаизмов;

2) среднеполесские украинские говоры (пп. 411, 417, 418, 424, 437) и отдельные пункты в восточнополесских говорах (п. 439);

3) словенские прекмурские говоры (п. 21);

4) кайкавские (п. 27) и штокавские (славонские п. 52 и смедеревские п. 168) говоры;

5) македонские эгейские (юго-западные п. 106) говоры.

В общеславянском контексте все эти зоны архаики (за исключением македонской) трудно квалифицировать как периферийные, особенно ареал белорусского и украинского Полесья (где наблюдается наивысшая степень концентрации праславянской архаики), который можно рассматривать скорее как центральный, нежели как маргинальный (о центральном статусе полесского ареала свидетельствует и общетеоретическое положение лингвистической географии, согласно которому центральный ареал по размеру больше маргинального).

Расширение корпуса диагностических признаков фонетических архаизмов за счет привлечения пунктов, в которых фонологическая индивидуальность *ě сохраняется лишь частично, не привело к каким-либо кардинальным изменениям в локализации этого ареала. Среди зон архаики, где представлено большинство из рассмотренных лексем и частично сохраняется фонологическая индивидуальность *ě, появились следующие:

1) отдельные пункты в юго-западных белорусских говорах (пп. 336, 345), в западнополесских (п. 382) и северо-восточных (п. 370);

2) западнополесские украинские говоры (пп. 401, 402, 404, 408) и отдельные пункты в восточнополесских (п. 443), юго-западные украинские говоры – посанские (пп. 412, 413), поднестровские (п. 420) и подольские (п. 498), отдельные пункты в юго-восточных среднеподнепровских говорах (п. 502);

3) севернорусские – вологодские (пп. 617, 618, 639, 646, 668) и костромские (пп. 667, 689, 691, 709) говоры, среднерусские – новгородские (пп. 609, 610, 636) и отдельные пункты в селигеро-торжковских (п. 716) говорах;

4) отдельные пункты в верхнелужицких переходных говорах (п. 236);

5) отдельные пункты в штокавских говорах – восточнобоснийских (п. 51), восточногерцеговинских (п. 65) и зетских (п. 74).

Совмещение этих признаков повлекло за собой прежде всего расширение ареала полесских говоров, что еще больше усилило статус этой зоны как архаической (и доказало, что архаические ареалы обладают высокой степенью устойчивости), на русской территории выделился компактный ареал в севернорусских (вологодских и костромских) и среднерусских (новгородских) говорах, в сербскохорватских диалектах – островной ареал в штокавских говорах (пп. 51, 52). Все эти ареалы не являются окраинными на лингвистическом ландшафте Славии. К латеральным можно отнести лишь несколько пунктов – пп. 65, 74 (штокавские говоры), п. 236 (верхнелужицкие говоры), п. 336 (юго-западные белорусские говоры) и п. 498 (юго-западные украинские подольские говоры).

Такая дистрибуция зон архаики на современной карте Славии подтверждает справедливость слов Н.И. Толстого о том, что архаизмы часто не окраинны, в некоторых случаях они локализуются и в эпицентре Славии, перекликаясь с латеральными зонами. Поэтому при решении диахронических и этногенетических проблем целесообразнее оперировать условным понятием архаических и неархаических зон, нежели понятием центрально-периферийной противопоставленности. Маргинальный ареал следует, по-видимому, рассматривать не в оппозиции к центру, а в оппозиции к пространственной локализации картографируемых явлений. Думается, что наличие совпадений фонетических и лексических ареалов архаики делает оправданной разработку в славянской лингвистической географии проблемы локализации инноваций и архаизмов.

Ограниченный объем статьи позволил привести лишь отдельные факты, связанные с проблемой центрального и маргинального ареалов. Полученная ареальная картина дает богатый материал для размышлений об исторической глубине выявленных зон архаики. Однако эта серьезная научная проблема требует своей отдельной глубокой проработки. И чрезвычайно ценным источником для ее решения являются материалы Общеславянского лингвистического атласа. Публикация следующих томов Атласа

даст возможность провести каталогизацию и локализацию явлений славянской архаики, выстроить иерархию реликтовых зон, оценив их с точки зрения характера ареала, его исторической глубины и степени концентрации архаизмов. Введение в научный оборот этих сведений позволит взглянуть на ряд диахронических и этногенетических проблем сквозь призму новых лингвогеографических данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вендина Т.И. 1996 – Ареалогический комментарий к Общеславянскому лингвистическому атласу. Сер. Лексико-словообразовательная. Вып. 1: Животный мир. М., 1988 // ОЛА. Материалы и исследования. М., 1996.

ОЛА$_1$ 1988 – Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая. Вып. 1: Рефлексы *ě. Белград, 1988.

ОЛА$_2$ 1988 – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 1: Животный мир. М., 1988.

Толстой Н.И. 1977 – О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. А.А. ПЛОТНИКОВА

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ТЕРМИНОЛОГИИ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЙ ОБРЯДНОСТИ

Проблемы изучения взаимосвязи языка и этнографии, лингвистической и этнологической географии занимают особое место в трудах Никиты Ильича Толстого. Поиск той плоскости, в которой происходит сближение науки о языке и науки, занимающейся жизнеописанием народа, возможен в разных направлениях: речь может идти о культурной семантике слова или о "концептах" в языке и сознании [Толстой, Толстая 1993], о способах интерпретации внутренней формы того или иного слова, значимого в системе ценностей народной культуры [Толстой 1985; Толстой 1993], народной этимологии [Толстой, Толстая 1988], этнолингвистических аспектах фразеологии, включая реконструкцию ее более древних форм [Толстой 1995], выявлении на карте "изолекс", а также "изопрагм" и "изодокс", которые, по мысли Никиты Ильича, должны отражать картину распространения этнографических явлений, относящихся соответственно к материальной и духовной культуре [Толстой 1977; Толстой 1983], и т.д. Очевидно при этом, что основные точки пересечения этнографии и лингвистики обнаруживаются в области содержания, т.е. при обращении к экстралингвистической реальности, обозначаемой достаточно замкнутой системой слов-терминов народной духовной культуры. Описанию функционирования этой терминосистемы (например, мифологической лексики, лексики календарной и семейной обрядности или их фрагментов) в том или ином славянском языке (диалекте) или языках (диалектах) посвящены дипломные работы многих учеников Н.И. Толстого, выполнявшиеся под его руководством. Пожалуй, исходной точкой этих интереснейших исследований можно считать поиск, выявление "культурных" фрагментов, отраженных и закрепленных в языке терминологически, с помощью слов, присущих обозначению только этой сферы реалий или имеющих особое, специфическое значение в данном употреблении. Таким образом, метод структурирования реальной действительности на отдельные, имеющие свое "имя" в языке отрезки получил новое развитие в работах русской этнолингвистической школы. Большое внимание всегда уделялось и собственно этнокультурным феноменам, что, прежде всего, обусловлено общей знаковой природой языка и культуры, возможностью исследования культуры как знаковой системы, к которой приложимы общие закономерности языка.

Логическим результатом этнолингвистического описания традиционной народной культуры становится словарь как форма систематизации или терминов, или взаимосвязанных по общим семиотическим законам объектов, действий, атрибутов и т.д. Представляется возможным и создание третьего типа словаря: словаря "семантем", своего рода идеографического словаря, где бы вычленяемые структурные компоненты традиционной народной культуры, закрепленные в языке терминологически, составляли исходный материал и служили как бы "заглавными словами" для ряда лексем нескольких генетически или типологически близких языков. Подобный принцип описания лексики – "от значения к лексеме" – наряду с дополняющим его – "от лексемы к значению", как известно, используется в лексических атласах, создаваемых на основе нескольких языков или диалектов.

В современной лингвогеографии семантический подход к описанию лексики принят в проекте "Малого диалектологического атласа балканских языков", создаваемого в Институте лингвистических исследований (Санкт-Петербург) под руководством А.Н. Соболева [Вестник... 1996: 292]. По замыслу составителей, атлас будет включать синтаксический и лексический разделы. Сопоставление лексики неродственных языков представляет собой очень непростую задачу, поэтому идеографический способ систематизации разнородного лексического материала балканских языков, – возможно, единственный путь к решению проблемы. До сих пор, как известно, попытки создания атласа балканских языков успеха не имели. Все вопросы, связанные с работой над "Малым диалектологическим атласом балканских языков", а проект, надо сказать, появился совсем недавно и даже неожиданно для московских лингвистов, вызывали живейший интерес у Никиты Ильича, уже, к величайшему сожалению, прикованного к больничной койке. Балканская тематика занимала в трудах Никиты Ильича важное место, и лингвогеографическому аспекту балканистических штудий уделялось с его стороны особое внимание. Одно из направлений в ареалогии, разработанное им в 60–70 годы, было связано с применением в лингвогеографии теории "семантических полей" [Толстой 1962; Толстой 1977]. Эти исследования, проведенные, прежде всего, на славяно-балканском материале, показали новые возможности изучения лингвистических ареалов на основе картографирования близких по значению слов, а точнее – лексем с единым семантическим признаком.

В "Малом диалектологическом атласе балканских языков" впервые делается попытка включить в лексическую часть вопросника этнолингвистическую программу сбора полевого материала. Огромный опыт, накопленный этнолингвистической школой при решении проблем описания лексики традиционной народной духовной культуры, в том числе и результаты работы над словарем "Славянские древности", позволили создать для вопросника Малого балканского атласа особые разделы по народному календарю, семейной обрядности и мифологии (демонологии). Работа над этим этнолингвистическим фрагментом вопросника велась мною в соответствии с предложенными А.Н. Соболевым принципами описания бытовой и повседневной лексики (набор вопросов, детально объясняющих внешний облик, устройство, назначение предмета и т.п.), а с другой стороны, – необходимо было определить критерии выбора значимого для балканского ареала того или иного явления духовной культуры как в плане его релевантности в рамках традиционной народной культуры на славянском и балканском фоне, так и с точки зрения зоны распространения, во-первых, самой реалии, во-вторых, ее названия, что в данном случае далеко не всегда совпадает территориально. Результатом работы стали своего рода небольшие тематические словарики с "перевернутым" порядком структурных элементов: сначала – семантическая часть (равная краткому определению или развернутому толкованию), затем – примеры лексем из разных балканских языков.

В представленный ниже фрагмент "словаря" (который можно определить как "идеографический сравнительный словарь балканской терминологии народного календаря") вводится и внутреннее, более дробное деление на подразделы и подтемы, соответствующие праздникам, и затем – фрагментам и основным типам обрядовых реалий, субъектов, действий того или иного праздника. Так, в подразделе "Сочельник и Рождество" выделяются подтемы, требующие дальнейшей детализации бытующих реалий: "полено, сжигаемое в ночь под Рождество", "обрядовый хлеб", "первый приход почитаемого в доме гостя", "животное, запекаемое для обрядовой трапезы на Рождество". Для аналогичной части по мифологии (демонологии) также необходимо дополнительное, внутреннее членение, но – в соответствии с тем набором характерных, и одновременно специфических, признаков, которые формируют представление о том или ином мифологическом персонаже (по внешнему облику, функции, месту появления и т.п., см., например [Виноградова, Толстая 1994]).

В подобных опытах сравнительных идеографических словарей важно решить проблему исходного для сравнения материала, лексического (см. опыт "Сравнитель-

ного словаря трех малопольских сел" М. Куцалы [Kucała 1957]) или семантического (в нашем случае). Выбор южнославянского материала – сербского, болгарского и македонского – в качестве исходного для сравнения с другими традициями, конечно же, следует считать условным хотя бы в свете той идеи, что любой "балканский" язык (и соответственно, культурная традиция) в равной степени с другими балканскими языками и традициями, по Т.В. Цивьян, может быть точкой отсчета для выявления собственно балканских феноменов в языке и культуре [Цивьян 1990]. Этнолингвистическое изучение южнославянского ареала (в контексте других славянских традиций) осуществлено лучше и полнее, чем неславянские традиции Балкан, благодаря, прежде всего, научной деятельности Никиты Ильича Толстого.

Определенные трудности возникают при попытке сопоставления южнославянской народно-православной системы календаря с румынской, греческой и тем более – с албанской традицией народного календаря. Однако материал показывает значительные схождения в наиболее архаических народных ритуалах и в их названиях (например, ставший классическим "балканский" пример архаики – обычай возложения в очаг полена – приурочен во всех традициях, в том числе и албанской, к кануну Рождества), что служит основанием для включения в семантическое описание народного календаря соответствующих албанских лексем наряду с примерами из греческого и румынского ареалов.

Предлагаемый фрагмент семантического описания народного календаря разных балканских традиций содержит по большей части материал различных этнографических источников [Календарные... 1973–1978; Недељковић 1991; Етнография... 1985; Пловдивски... 1986; Родопи 1994; Гласник... 1926; Српски... 1894; Македонски... 1975; И.А. Седакова 1984; Плотникова 1982; Плотникова 1993], в том числе мифологических словарей (сербского [Кулишић и др. 1970] и болгарского [Българска... 1994]), в которых, по замыслу авторов, описывается "народная мифология" или, другими словами, архаический пласт славянской народной культуры. Отсутствие примера лексемы для того или иного ареала означает лишь то, что в ряду определенного числа обследованных на сегодяшний день этнографических и диалектных описаний автору таковая не встретилась, однако не исключена возможность ее нахождения в дальнейшем. В этом смысле список лексем представляет собой открытый ряд, который может пополняться в ходе дальнейшего изучения языков и диалектов, соседствующих на балканской территории. Важнее было в данном случае найти функционально значимые семантические признаки, на основании которых возможно сопоставление столь далекой на первый взгляд лексики неродственных языков. Поскольку объектом моего исследования является лексика традиционной народной культуры, а не какая-либо естественная система (например, обозначения цвета, объектов ландшафта, органов человека и т.д.), то исключается логический принцип выделения семантических признаков. Приемлемым оказывается только поиск и актуализация в описанном и изученном этнолингвистическом материале тех культурно значимых особенностей, которые могут быть выявлены уже на этапе первичного сопоставления обозначаемых реалий (календарной, семейной обрядности или народных верований) в разных этнокультурных традициях. Таким образом, идеографический принцип описания лексики реализуется в этом опыте словаря не умозрительно, а на основании детального изучения соответствующих разделов народной культуры. В случаях, когда по этнографическим источникам фиксируется наличие какого-либо ритуала, обрядовой реалии, персонажа и т.д., но название не отмечено, при соответствующей географической помете ставится знак вопроса.

Картографирование по ведущему семантическому признаку уже малого числа представленной ниже лексики балканских языков показывает возможности изучения архаических особенностей языка и культуры в пространстве Балкан. Так, отмеченный в восточной Сербии (Ресава) термин *мечки повојница* (букв. "подарок новорожденному медведю") имеет соответствия в южной Сербии и северной Македонии (*мечкина повојница, мечкина исповеница*), что далее подтверждается южноалбанским *arushkë*.

Все эти лексемы имеют общий семантический признак – 'новогодняя ритуальная пища (хлеб, каша), предназначенная в дар медведю'. В приведенном примере древние черты почитания медведя эксплицированы также и на лексическом уровне. Однако без предварительных исследований, определяющих общее культурное значение ряда терминов разных языков, выявление подобной изолексы (и соответствующей изодоксы, а также – "изосемы") было бы невозможно.

Следует сказать, что аналогичные опыты совмещения жанров словаря и атласа известны в польской диалектной лексикографии. Речь идет о серии выпусков "Лексика Вармии и Мазур", отмеченных особым вниманием в лингвистической литературе (см., например, рецензию Б.А. Ларина [Ларин 1962] и подробный разбор принципов этого словаря-атласа Н.И. Толстым [Толстой 1968: 6–7]).

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ (ЗИМНИЙ ЦИКЛ): ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ, ВЕРОВАНИЯ

ДЕНЬ СВ. АНДРЕЯ (30.XI/13.XII)

["Медвежий" день; день "набухания" зерен] в.-серб. *Мечков дан, Мечкиндан, Мечкодава*, з.-болг. (Софийско, Тетевен) *Едрей*, ю.-в.-болг. *Ендрей, Дрейювден*, рум. *Ziua lupului* 'Волчий день', *Gădineţul şchiop* 'День Хромого хищника'.

1. Угощение для медведя в этот день" в.-серб. (Бољевац) *Мечкодава*. (См. также НОВЫЙ ГОД 2.4).

♦ Отражаемая в названиях общая семантика этого праздника может быть охарактеризована как "Медвежий день" – для восточносербской зоны, "Волчий день" – для румынской; в то время как в болгарских названиях праздника находит отражение семантика "набухания" хлебного зерна, связанная с народными представлениями об увеличении дневного времени "на одно просяное зернышко", начиная со дня Св. Андрея (см. [Виноградова, Толстая 1995]). Один из компонентов праздника – приготовление специального блюда для ритуального угощения в этот день якобы приходящего медведя. В районе Болевца (восточная Сербия) оно называется *Мечкодава* (букв. "то, что дают медведю, дар медведю"). Подобные представления известны в других южнославянских зонах, однако они могут быть связаны и с иными зимними праздниками, например, с днем Св. Василия (Новым годом), когда, по южнославянским представлениям, "медведицы приносят потомство" и следует подносить дары новорожденным животным. Соответственно, аналогичная семантическая рубрика включается в подраздел раздела НОВЫЙ ГОД (см. 2.4: "Хлеб или каша – дар медведю").

ДЕНЬ СВ. ВАРВАРЫ (4.XII/17.XII)

в.-серб. *Вариндан, Вара и Сава*, болг. *Варварица*, болг. (Пловдивско) *Варвардан*, з.-болг. (Кюстендил, Трън, Годеч, Радомир) *Женска Коледа*.

1. Приготовляемое в этот день блюдо из семян различного вида: в.-серб. *варица*, (Бор) *турта*, болг. *варвара*, родоп. *кешкек, гьодже, варю, варварски фасул*.

2. Человек, приходящий в дом и исполняющий различные ритуалы, чтобы в хозяйстве велись куры: в.-серб. влах. (Бор) *клоца*, родоп. *полазник*. (См. также ДЕНЬ СВ. ИГНАТА 1; СОЧЕЛЬНИК И РОЖДЕСТВО 8).

ДЕНЬ СВ. ИГНАТА (20.XII/2.I)

в.-серб. (Ресава) *кокошињи божић* 'куриное Рождество', черног. (Малешево) *Hajatka*, болг. *Игнажден, Идинажден, Идинак, Млада година, Млад ден, Нов ден*, в.-болг. *Пипивден, Поляз, Полязовден, Нов ден*, з.-болг., ю.-болг. *Полязинден, Игнат, Игнатов ден*, рум. *Ignatul, Ignatul porcilor* 'свиной Игнат'.

1. Человек, первым приходящий в дом и приносящий счастье, здоровье, урожайный

год и т.п.: ц.-серб. (Левач и Темнић) *кокошињи положајник*, в.-серб. (Бољевац) *кокошињи положајник*, ю.-з.-болг. *полазник*, с.-з.-болг. *споходняк, поожняк*, в.-болг. *полезник, полязник, сполязник*. (См. также ДЕНЬ СВ. ВАРВАРЫ 2; СОЧЕЛЬНИК И РОЖДЕСТВО 8).

2. Ветка, которую приносит "полазник" и кладет в огонь: в.-серб. (Буџак) *пиле, бадњак*.

3. Полено, возлагаемое в очаг накануне праздника: ю.-з.-болг. *коладник*.

4. Ряженые, совершающие в этот день (и последующие дни) обходы: в.-серб. (Буџак) *подлазници, коледа*, (Сиринићка жупа) *каљинарке*.

♦ С этого дня по существу начинается исполнение рождественско-новогоднего цикла обрядов, что проявляется в повторении многих из них в Сочельник, на Рождество, в Новый год. День Св. Игната в сербской и болгарской традициях можно считать типичным праздником-"кануном", когда совершаются варьирующие по форме ритуальные и магические действия с целью усилить, закрепить сакральное значение происходящего. Аналогичный смысл находит отражение в названии дня, которое получает дополнительные коннотации "праздника для кур" в соответствии с народными представлениями о том, что и у домашних животных, птицы должно быть "свое Рождество". С этого дня во многих областях начинаются обходы ряженых, совершается ритуал встречи гостя, приносящего счастье, возлагается в очаг полено.

КАНУН СОЧЕЛЬНИКА

["День убиения"]: в.-серб. *Туциндан, Туца*.

♦ В этот день режут жертвенное животное для рождественской трапезы.

СВЯТКИ

1. Время от Рождества до Крещения: в.-серб. *некрштени дани*, (Ресава) *некрштенци*, (Заглавак) *мрсни дани*, (Хомоље) *нечаствици, нечастиви, нечисти дани*, (Буџак) *бабини дани*, с.-болг., ц.-болг. *мръсни дни*, ю.-з.-болг. *караконджерови дни*, (Кюстендил, з.-фрак.) *глухи дни*, ю.-болг. *погани (бугани) дни, некръстени дни, черна неделя*, родоп. *караконджурови, погани (бугани) дни, Поганото, Пуганците, Буганците*, з.-родоп. *Куруконджови дни*, в.-болг. *погани (бугани) дни*, (Силистра) *мръсни дни*, рум. *cîşlegi*, греч. δωδεκαμερες.

2. Нечистая сила, действующая в период от Рождества до Крещения: в.-серб., ю.-серб. *караконџуле*, (Хомоље) *нечаствици*, (Заглавак) *осење, мрсничина*, (Алексинац) *нечастиве силе*, (Ресава) *нечаставци*?, *вампири*, (Лужница и Нишава) *некрштенци*, с.-мак. (Скопска Котлина) *конџолки*, алб. [*караконџољ*], болг. *караконджо*, з.-болг. (Дупнишко) *меджарок, кандзо*, с.-болг., ц.-болг. *мръсници, караконджо*, (Плевен, Ловеч, Троян) *кара-кон, кара-кончо*, (Тетевен) *гундурак*, (Странджа) *канканджур*, ю.-болг. (Родопы) *поганци, караконджо, калакандур, каракандзер, конджуре, бабугери, опачинки*, ср.-родоп. *поганец, буганец*, (Харманли) *нощенски*, ю.-з.-болг. (Неврокоп) *вънкашни*, (Драмско) *вонкашно*, греч. οἱ καλλικαντζαρος.

3. Святочные ряженые: в.-серб. (Млава) *коњендаши*, в.-серб. (Бор) *колиндреци*, (Ресава) *коледари, коледници, коледарци, колеђарке, колеђанке*, ю.-в.-серб. (Лесковачка Морава) *коледани, колеђани, алосници, алосани, уолани, оале, оле*, ю.-серб. *коледари*, мак. *русалии, калушари*, с.-мак. (Скопска Котлина) *коледари*, болг. (Босилиград) *коледари, коледжани, джамалари*, пловд. *коледари*, родоп. *коледари, коледарци, коледаше*, родоп. (болг.-мусульм.) *джамала, джумала, деве*, з.-родоп. *бабугери*. (См. также НОВЫЙ ГОД 3; ср. МАСЛЕНИЦА 3).

4. Предводитель ряженых: ю.-в.-серб. *дедац*, ю.-серб. *дедица*, родоп. *чотора, чоторбашия, войвода, командаджия*.

5. Колядующий, который произносит благопожелания: в.-болг. *благословник, наречняк, мармарин, поп.*

6. Пара ряженых в мужчину и женщину персонажей: ю.-в.-серб. *младожења* и *снашка, баба,* з.-болг. (Софийско) *старец* и *баба,* (Босилиград) *дедица* и *баба, младоженец* и *невеста.*

7. Палка, посох, с которым ходят ряженые: болг. (Пловдивско) *коледница, коледничка, тоега, твяга,* родоп. *коледница, сурвачка.* (См. также НОВЫЙ ГОД 4).

8. Место захоронения ряженых, убитых в бою между группами участников обходов: ю.-серб. (Поморавље, Косово) *коледарско гробље.*

9. Колядующие – дети: в.-болг. *коледарчета,* с.-з.-болг. (Лом) *кофръженци,* с.-в.-болг. (Разград) *малки колади,* з.-болг. (Софийско) *малото коледо,* Светиврачко *пивкари,* Пловдивско *коледарчета, славикарчета.*

10. Обычай колядования детьми: болг. *коледуване,* с.-в.-болг. *хоцане, кълцанка,* с.-болг. (Лом) *потрътица,* Светиврачко *пивкане.*

11. Кизиловый (реже – дубовый, буковый, ореховый) прут, палочка, которую носит колядующий-ребенок: в.-болг. *коледница,* с.-з.-болг. *кофръжалка,* Светиврачко *топуз,* з.-болг. (Софийско) *коледарка,* мак. (Прилеп) *колендарче,* (Охрид) *клюкалче,* (Эгейская Македония – Костурско) *палицата, топусче.* (См. также НОВЫЙ ГОД 4).

♦ Период от Рождества до Крещения считается опасным, "нечистым": именно в это время, по народным представлениям, активизируется нечистая сила и появляются такие демоны, встреча с которыми возможна только на святки. Как правило, в этот период (реже – накануне его) совершаются обходы ряженых, взрослых и (или) детей. Один из ритуальных атрибутов ряженых – палка, прут или посох, используемые для исполнения ряда обрядовых действий (колядующие "изгоняют" ими якобы присутствующую в доме нечисть, ворошат ими угли в очаге, дотрагиваются до скота и построек с целью обеспечить благосостояние семьи и т.д.), за которые получают вознаграждение. Обходы ряженых на Новый год (или в канун Нового года) имеют свою специфику, отражаемую особой терминологией и, возможно, связанную с усилением мотива благополучия, плодородия и плодовитости в действиях и ритуальной речи колядующих. (См. НОВЫЙ ГОД 3, 4).

СОЧЕЛЬНИК И РОЖДЕСТВО

1. Сочельник: серб. *Бадњи дан,* ю.-з.-болг. *Коледа,* с.-з.-болг. *Малка Коледа,* (Пловдивско, южнее р. Марица) *Су(х)а Коледа,* (Пловдивско, севернее р. Марица) *Малка Коледа,* родоп. *Суха Коледа, Детешка Коледа, Малка Коледа, Колада, Колда, Вуджук,* в.-болг. *Колада, Суха Колада, Бъдни вечер, Каден вечер,* Плевен, Лом *Крачун,* з.-болг. (Софийско) *Манечкото Коледо, Малото Коледо,* (Дупнишко) *Наятка,* (Кюстендилско) *Багни вечер,* мак. (Разлог, Скопье, Прилеп, Охрид) *Коледа,* (Кукушко) *Бъдник,* (Дебар) *Бодник,* рум. *Crăciunul.*

2. Вечер Сочельника: серб. *Бадње вече,* с.-з.-болг. *Бъдня вечер,* болг. (Пловдивско) *Бъдни (Бъдна) вечер, Бъдник, Голяма вечеря,* в.-болг. *Бъдни вечер, Каден вечер,* фрак. *Вечерна,* з.-болг. *Кадилка, Наятка, Богата вечеря,* родоп. *Бъдна Вечер,* з.-родоп. *Първа кадилъка.*

3. Рождество: серб. *Божић,* в.-серб. (Доњи Милановац) *крачун,* с.-в.-серб. и с.-болг. влах. *крачун,* рум. *Craciunul,* з.-болг., ю.-з.-болг. *Божич* и т.п., родоп. *Божук,* балкан., мизийск., родоп. *Коледа,* в.-болг. *Колада,* алб. *Krishtlindje, Kershendella, Kullanat, Kolendre,* с.-алб. *Mjedis i dimnit.*

4. Ночь под Рождество: с.-алб. *Nate kendellja, Nata e Buzmit.*

5. Дети, родившиеся в ночь на Рождество, а потому, якобы, способные распознавать нечистую силу: болг. (Пловдивско) *съботничави, самодиви, въпири, джънгъловчета, караконджули.*

6. Сжигаемое в ночь на Рождество полено, дерево, пень.

---1) Сжигаемое под Рождество одно (или "главное" среди других) полено: серб. *бадњак*, (Ресава) *бъдњак*, ю.-серб. (Косово) *бањак*, черног. (Бока Которска) *весељак*, с.-мак. (Скопска Котлина) *бадник, будник* и т.п., ю.-мак. (Мариово) *бадниковица*, болг. *бадник*, з.-болг. *бъгняк, бъдникойца, чикор*, з.-болг. шоп. *набъдник*, (Кюстендилско, Благоевградско) *прекладник*, ю.-з.-болг. (Неврокоп) *бабка, дедник*, родоп. *бъдник, чатук*, в.-болг. балк. (Котел?) *коладник*, рум. *pom de Crăciun*, алб. *Buzi, Buzem, buzmi bujar*.

---2) Полено, которое сжигают вместе с "главным" "бадняком": черног. (Зета) *бадњачица*, в.-серб. (Ресава) *бадњачица, женски бадњак*, черног. (Бока Которска) *придавак*.

---3) Небольшие поленья ("дети"), которые сжигают вместе с главным "бадняком": в.-серб. (Ресава) *бадњачићи*.

---4) Утолщенный конец полена – "голова": черног. (Зета, Љешкопоље, Риечка Нахија, Малешево) *глава*, (Бока Которска) *глава, коријен*.

---5) Углубление в полене – "рот", через который "кормят" полено: черног. (Зета) *уста*.

---6) Часть полена в том месте, где ствол сломался при рубке дерева: ц.-серб. (Гружа) *брада*.

---7) Человек, который торжественно вносит полено в дом: ю.-серб. *бадњакчија*, черног. (Зета) *бадњоносац*.

7. Обрядовый хлеб.

---1) Большой каравай – главный обрядовый хлеб, выпекаемый в Сочельник для ритуальной трапезы вечером в Сочельник или обеда на Рождество, в который замешиваются палочки, зерна (симоволы здоровья, скота, урожая и т.п.) или/и монета с целью определения доли, счастья каждого члена семьи: серб. *чесница*, в.-серб. *чесница*, (Зајечар) *срећа*, (Бољевац) *срећка*, ю.-в.-серб. *кравај, погача* (и др. "общие" наименования), с.-мак. *бадник*, черног. (Бока Которска) *бадњача*, ю.-з.-болг. *пита, колак, погача*. (См. также НОВЫЙ ГОД 2.1).

---2) Большой каравай с украшениями на поверхности: в.-серб. (Зајечар) *вечерњача*, (Ресава) *навечери*, (Алексинац) *вечерња*, (Врање) *вечерна*, мак. (Скопска Котлина) *вечерњак*, ю.-в.-серб. *кравај*, ц.-серб. (Шумадија) *колач*, ю.-серб. (Косово; Воеводина) *велики колач*, в.-серб. (Велики Извор) *бадњак*, з.-болг. *вечерна* (*вечерник, вечерница, вечерня*), (Благоевградско) *наядка*, (Пловдивско) *буговица (бугувица, богова, бугув)*, родоп. *вечерня, харман, кукла, кирда, боговица, шарен колак*, греч.? (См. также НОВЫЙ ГОД 2.2).

---3) Хлеб, предназначенный "в подарок новорожденному Богу": в.-серб. (Хомоље, Бољевац) *повојница*, (Тимок) *колач младоме Богу*, ю.-в.-серб. *крсник*.

---4) Небольшие хлебцы, выпекаемые в форме животных, предметов хозяйства и орудий труда: в.-серб. *закони, закончићи, законице*, з.-болг. (Софийско) *бъдняци*, с.-з.-болг. *кофръги* (sg. *кофръг, кофриг*).

---5) Хлеб с христианской символикой на поверхности: в.-серб. *литургија, поскур*, с.-з.-болг. *кръсташ, литургия, параклис, светец, черковник*.

---6) Хлеб, выпекаемый для одаривания колядующих: ю.-в.-серб. *коледарски кравај*, в.-серб. (Ресава) *колеђанка*, болг. *благословник, наречняк, вит-превит кравай*, болг. (Пловдивско) *кравај, момин кравај, колак*. (См. также НОВЫЙ ГОД 2.7).

---7) Хлеб, выпекаемый для одаривания колядующих детей: болг. *кравайчета, колачета, первитаци, кофръги* (pl.), алб. *kolendre, kullana*.

---8) Хлеб, выпекаемый для одаривания "полазника": серб. воевод. *полажеников, колач, радованов колач*, в.-серб. (Ресава) *положаоник, полазник, походник*.

8. Первый приход в дом на Рождество, Новый год постороннего человека; самого хозяина в качестве "высокого гостя"; почитаемого животного.
---1) Человек, первым приходящий на Рождество и приносящий дому счастье: ц.-серб. (Гружа) *Радован*, в.-серб. *полазник (полажајник, полаженик, положња)*, (Ресава) *походник*, (Вратарница на Великом Извору) *клоца*, (Млава) *квочка*, (Буџак) *пиле*, ю.-в.-серб. (Лесковачка Морава) *полаженик*, черног. (Зета, Љешкопоље, Ријечка Нахија) *полазник (полазничак, полажајник)*, [первый новогодний гость – мужчина] рум. *polaznic*.
---2) Животное (вол, овца, конь, петух), которое вводят в дом на Рождество с целью способствовать счастью дома в следующем году: в.-серб. *полазник* и т.п.
---3) Процесс посещения дома человеком, приносящим счастье: в.-серб., черног. (Зета) *полазити (полажење, полажња, положња)*, ю.-серб. (Лесковачка Морава) *полажња*.
---4) Действия "полазника" с огнем, углями в очаге ("ворошит", "разгребает" угли, огонь): в.-серб. *пилати, чарати, џарати (ватру)*, греч.?
9. Животное определенного вида, пола, возраста, которое режут и запекают для ритуальной трапезы на Рождество: в.-серб. *печеница (печењак)*, (Хомоље) *печеница, божитњак*, (Бољевац) *божићњар*, морав. *божићар (божићњар, божићарац)*. черног. (Бока Которска) *пекна, божура*, (Зета) *божићњак*.
---1) Голова запеченного животного, которую оставляют до Нового года: в.-серб. (Алексиначко Поморавље) *васуљица*.
10. Костер, возжигаемый от св. Игната до Рождества каждое утро: в.-серб. (Сиринићка Жупа) *ранило*.
11. Костер, возжигаемый на Рождество: в.-серб. *олалија*, греч.? (См. также МАСЛЕНИЦА 8).

НОВЫЙ ГОД

серб. *Мали Божић, Млади Божић*, черног. (Кучи) *Женски Божић*, ю.-серб. *Васуљица*, мак. *Василица, Св. Васил, Сурва*, болг. *Сурваки, Васильовден, Нова година*, з.-болг. (Кюстендилско) *Сурова година, Василица*, (Пловдивско) *Сурва (Сурава), Василовден (Васильовден, Васил), Нова година*, родоп. *Сурвак*, рум. *Sfîntu Vasile, Anul-nou, Crăciunul mic, Fratele Crăciunului*, алб. *Viti i Ri*.
1. Обрядовая вечерняя трапеза в канун праздника: болг. (Пловдивско) *бъдник, мръсна, бъдна вечер*, родоп. *кадилка*.
2. Обрядовый хлеб.
---1) Большой каравай или слоеный пирог, выпекаемый для новогодней трапезы (или трапезы в канун Нового года), в который замешиваются палочки, зерна (символы здоровья, скота, урожая и т.п.) или/и монета с целью определения доли, счастья, каждого члена семьи: ю.-серб. *бареница, бараница, попареница*, родоп. *клин, булгурница, васильова баница, сурвена баница*, в.-мак. *Света Васиљева погача*, алб. *burek, kulaçe*, греч. βασιλοπίττα.
---2) Новогодний каравай без знаков для гадания: родоп. *шарен колак*, з.-родоп. *боговица*, в.-родоп. *вечерня*.
---3) Большой хлеб (часто из кукурузной муки), рисунок на котором делают трубочками из бузины (при выпечке получаются шарики, скармливаемые затем скоту для здоровья): ю.-серб., черног. *василица, васиљица*, в.-серб. (Ресава) *васиљица, шарена проја, троша*.
---4) Хлеб (или каша) – дар медведю: в.-серб. (Ресава) *мечки повојница*, ю.-серб., с.-мак. *мечкина повојница*, (Скопска Котлина) *мечкина исповеница*, ю.-алб. *arushkë*.
---5) Небольшие булочки, выпекаемые "за упокой души мертвых": в.-серб. (Хомоље) *васиљице*.

---6) Небольшие хлебцы, предназначенные детям: в.-серб. *васиљчићи*, влах. *бабице*.
---7) Хлеб для одаривания колядующих: ю.-в.-серб. (Лесковац) *сироварски кравај*.

3. Новогодние ряженые: ю.-в.-серб., в.-серб., мак. *суровари, сировари*, мак. *василичари, бабугери, џамалари, џаламари*, (Битола) *бобари, бабари*, с.-мак. (Кумановско) *василичари*, з.-болг. *сурвакари, коледжане, джемаларе, деди, дедици, старци, бабугери, станченари, ешкари, чауши, василичари*, болг. (Пловдивско) *суруфкари, суркувари, сурвари, сурваци, василари*, родоп. *сурвакари, сурвари*, родоп. (болг.-мусульм.) *джамала, джумала, деве*.

4. Деревянная палка, посох (обычно – кизиловая), с которым ходят ряженые, колядующие: болг. *сурвачка, суровица, сурва* и т.п., *василичарка*, (Пловдивско) *суркувница, сурвака*, родоп. *сурвачки, суровалки, сурватки*, рум. *Sorcova*, греч. χλωρός?

5. Гадание с опусканием колец (или других предметов) в сосуд с водой: болг. *ладуване*, (Софийско) *топене на пръстени*, (Средна Северна България) *дайлада, тъйлада*, (Пловдивско) *тайлада, дайлада, парен петел*, рум. *Vergelul*.

КАНУН БОГОЯВЛЕНИЯ (5.I/18.I)

["День крещения"]: серб. *Крстовдан*, ю.-в.-серб. *Најетка, Нетка, Препос*, мак. *Водокръст, Попова Коледа, Неядка*, з.-мак. (Струга) *Водопост*, болг. (Пловдивско) *Попова Коледа, Кръс, Корц*, родоп. *Кръста, Кърст, Корст, Кръстци, Попова Коледа, Ниядка*.

1. Обычай обхода домов девушками, "прогоняющими" злых духов: болг. (Търновско) *Совойница, Сивуйница*.

БОГОЯВЛЕНИЕ или КРЕЩЕНИЕ (6.I/19.I)

серб. *Богојављење*, черног. *Водице*, мак. *Водици, Мъжки Водици, Богојавление*, (Струга) *Мошки Водици, Водокрст*, болг. *Йордановден, Водици, Водокръщи, Богоявление*, з.-болг. (Кюстендилско) *Богоявление, Иорданов день*, (Пловдивско) *Водици, Йордановден (Ярдановден), Кърс*, родоп. *Водици, Одици, Удици*, рум. *Botez, Botezu-Domnului, Apă-Botează*.

1. Обычай обхода домов процессией парней или красиво одетых девушек: в.-серб., влах. *краљеса, крлаљеса, бобочеазе*, мак. *водичарки*.

ДЕНЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (7.I/20.I)

мак. (Скопје, Прилеп) *Женски водици*, болг. *Ивановден*.

♦ В этот праздник совершают ритуальное купание молодоженов, а в македонских селах – также и девочек на первом году жизни, с чем связано название праздника в Скопской и Прилепской областях [Българска... 1994: 153].

"БАБИН" ДЕНЬ (8.I/21.I)

болг. *Бабинден*.

1. Ритуальное приглашение повивальной бабки в дом на праздник: з.-родоп. *бабиндоване, бабоване, бабуване*.

♦ Этот болгарский праздник можно отнести к случаям "единичных" явлений в рамках балканской и славянской традиций, поскольку прямых соответствий у славян и на территории Балкан не зафиксировано, хотя ряд ритуалов имеет много общего с обычаями чествования повитухи в других славянских [Зеленина, Седакова 1995: 125] и балканских зонах.

ДЕНЬ СВ. АФАНАСИЯ (18.I/31.I)

1. День праздника: болг. *Атанасовден, Танасов ден, Среди зима*, рум. *Antanasiile* (16, 17 и 18 янв.), ["День чумы"] в.-серб. *Чуминдан, Теткин дан*, болг. *Чуминден, Лелинден*.

2. Следующий день: ю.-серб. *Чумин дан*, болг. *Св. Черна, Баба Черна, Черни веруги, Черняй, Черен празник, Света Черква.*

♦ Этот день считается переломным моментом в смене времен года. По народным представлениям, от него начинается поворот к лету. День Св. Афанасия в некоторых южнославянских зонах завершает период "нечистых" дней, начинающихся с рождественского Сочельника. В ряде регионов распространены верования о господствующей в этот и следующий за ним день чуме как олицетворении страшной болезни. Поэтому в это время строго соблюдается ряд запретов, особенно на женские виды работ, чтобы "не рассердить" "тетку"-чуму и избежать болезни, смерти [Седакова, Толстая 1995].

ТРИФОНОВ ДЕНЬ (1.II/14.II)

болг. *Трифоновден, Трифон зарезой, Трифон пияница, Трифон Чипия*, (Пловдивско) *Трифон зарезан, Пръв Трифон зарезан, Трифоновден*, родоп. *Трифун, Трифуня, Зарезан*, рум. *sfîntul Trifon, Trif nebunul* 'безумный Трифон'.

♦ Св. Трифон считается покровителем виноградарства, поэтому в этот день совершается обряд подрезания виноградной лозы и поливание ее вином. Различные аспекты этих представлений и возникших на их основе легенд о том, как Трифон порезал палец, и т.п. отражаются в семантике названий праздника.

СРЕТЕНИЕ (2.II/15.II)

серб. *Сретење*, рум. *Intîmpinarea domnului, Sretenie, Ziua ursului* 'Медвежий день', греч. ἡ 'Υπαπαντή 'встреча'.

♦ По народным представлениям, в этот день "зима с летом встречаются", "просыпается медведь" и т.д.

ХАРЛАМПИЕВ ДЕНЬ (10.II/23.II)

болг. (Пловдивско) *Харалампи, (Х)Араланбей* и т.п., *Чумин день*, родоп. *Арала, Хараламбо, Харалан бей.*

♦ Ритуалы этого дня направлены на задабривание и отгон злых, болезнетворных сил, активизирующихся, по народным представлениям, в период перехода от зимы к лету. В народных названиях праздника часто отражаются указания на опасные болезни и способы борьбы с ними повелителя болезней – Св. Харлампия, который "бьет" их, запирает на ключ.

СВ. ВЛАСИЙ (11.II/24.II)

["Коровий праздник"] ю.-в.-серб. (Буџак) *Власи, говеђа слава, празник за волове*, (Лужница и Нишава) *Власов дан*, болг. *Власовден, Волов запор*, (Неврокопско, Панагюрско) *Муковден*, (Пловдивско) *Власовден, Муковден, Муканица*, родоп. *Влас, Власувица, чуфчийски празник*, с.-родоп., в.-родоп. *волски празник.*

♦ Св. Власий считается покровителем крупного рогатого скота. Обряды и обычаи в этот день в основном направлены на обеспечение здоровья и плодовитости скота, что находит отражение в семантике ряда названий праздника.

МАСЛЕНИЦА

1. Масленичная неделя: серб. *Покладе, Сирна (Сиропусна) недеља*, в.-серб. (Ресава) *Покладе, Бела недеља*, ю.-серб. *гладна недеља*, мак. *проштена недеља, карневал*, болг. *Сирна неделя, Сирница, Простена неделя, Крива неделя*, з.-болг., родоп. *Прошчани поклади, Прочка, Пустовете, Ората, Орадие*, (Бобошево) *Прочка*,

(Кюстендилско) *Бела неделя*, в.-болг. *Сирница, Сирни заговезни, Сирни заговелки, Заговялка*, ю.-з.-болг. *Сирна запошка*, (Пловдивско) *Сирна (Сиринска, Сиришна, Сиропосна, Сиреница)*, рум. *săptămîna albă* 'белая неделя', *săptămîna nebunilor* 'неделя безумных', греч. ὁ Τυροφάγος 'сырная'.

2. Последний день (или последняя ночь) масленицы: ю.-серб. *Прочка*, в.-серб. *Покладе, Беле покладе, Проштене покладе*, болг. *Сирни заговезни*, в.-болг. *Сирница, Сирни заговелки*, з.-болг. *Сирни поклади, Прошчани поклади, Прочка*, ю.-з.-болг. *Сирна запошка*, родоп. *сирница, стрельница, прошки, пустове, ората, орадие*.

3. Ряженые на масленицу: серб. *маскаре, машкаре* и т.п. (от *маска*), ю.-в.-серб., мак. *бабани, бабари, бабучари* и т.п. (от *баба*), ю.-серб.?, мак. *мечке, мечкари*, черног. (Рисан) *ђедови*, болг. *кукери, кукове, старци, бабугери, бабушари, арапи, сурати, песяци, калугери, камилари, джамалари, джумали*, ю.-болг. *кукери*, (Пловдивско) *старчинари (станчинари), старци, джумали (джамали), кукове, куци, харапи, карнавале, мешарате*, ср.-родоп. *старци, пусни старци*, родоп. *песяци, дракуси, буганци, сурати, бабаци, бейове, бабушари, зибеци, шуматари, цуцори, дервиши, арапи*, ю.-родоп., гюмюрдж. *карнавали, колугери, бабугери*, греч.?

4. "Мужской" персонаж процессии, сопровождающий "женщину": ю.-в.-болг. (Тырново) *кукер*, (Пловдивско, Пазарджик) *дядо*, (Пловдивско) *младоженец*, родоп. *зетят, старецът*, греч.?

5. "Женский" персонаж процессии (мужчина, наряженный в женскую одежду): ю.-в.-болг. (Тырново) *баба*, (Пловдивско, Пазарджик) *баба*, (Пловдивско) *булка, невяста*, родоп. *булка, ханъма, кадъна, баба, лазарка*, греч.?

6. Палки, с которыми ходят ряженые: родоп. *джон, калъчка, сабя*.

7. Масленичная кукла: черног. *карневал*, греч.?

8. Костер (или обычай возжигания костра и ритуалы, с ним связанные) в последний день масленицы: ц.-серб. (Шумадија) *љарга*, в.-серб. *алалија, олалија, привег, привек, привеј, марга*, (Хомоље) *алалија, велика ватра, света ватра, освећена ватра, привег*, (Свилајнац) *љевка*, (Деспотовац) *првеци*, (Бољевац) *рана*, болг. *купни, кладни (огньови?)*, ю.-серб., ю.-в.-серб. *каравештица, крлавештица, калавештица*, с.-в.-болг. *олелия*, в.-болг. *олелия, пълелия, ойдалелия, вълелига*, ю.-з.-болг. (Разлог) *гаро*, з.-родоп. *стрельница*, родоп. (Чепино) *гаганица*, (Радилово) *сирница*, (Гугутка) *папагашка*, (Царева поляна) *лисница*, (Смолян) *орада, орадия*, (Пловдивско) *улълия-булълия, лисник, урбълка, голяма сирница*, рум. *alimori, privegiu, hadaiţă, hodaize, opaiţi*, греч.?

9. Факел, который каждый парень в селе вертит в последний день (или на последней неделе) перед Великим постом: в.-серб. (Бољевац) *олалија*, ю.-в.-серб. (Лесковачка Морава) *вртешка, оратаљка*, (Лужница) *оратница*, з.-мак. (Струга) *лапърда*, з.-болг. *оратник, оротник, оврътник, ората*, (Дупница) *ората-копата*, балк. (Пазарджик) *фенер*, (Панагюриште) *рукла, самодивски огън*, (Троян) *оруглица*, (Пловдивско) *куркулник, оратник, румбълка, руглица, ругювица*, фрак. *паликош* [корзина с соломой на высоком шесте], (Троян, Тетевен) *урбалки оруглица* [корзина с соломой на высоком дереве].

10. Огненные стрелы, которые пускают в последний день масленицы: болг. (Родопы, Фракия, Добруджа) *стрели, чавги, пярници, бутурници, пайдутки, курици, сусамници*, родоп. *чавгар, чавга*, (Пловдивско) *курици*, ю.-з.-болг. (Пирин) *главници, главни, стрели, огнени топки*, рум.?

11. Состязание, игра с подвешенным над столом яйцом, которое имеет право съесть тот, кто его ухватит зубами: ю.-серб., в.-серб. *ламкање, клоцање*, родоп. *хамкане, хлацкане, хапкане, люскане*.

♦ Масленицу – неделю перед Великим постом – можно считать еще одним завершающим зиму и переломным для смены сезонов периодом. Ряд масленичных ритуальных действий продолжает и завершает обрядность зимнего цикла (например,

аналогичное святочному ряженье и обходы домов), другие же получают особое распространение именно в этот "новый" после зимы период (общесельские костры, возжигание факелов, метание огненных стрел).

ЗИМНИЙ ОККАЗИОНАЛЬНЫЙ (или РОЖДЕСТВЕНСКИЙ) ОБХОД "ВОЛЧАТНИКОВ"

1. Участники обходов с волчьей шкурой, чучелом волка и т.п. "волчьими" атрибутами: серб. *вучари*, алб.?

2. Обход домов с волчьей шкурой, чучелом волка: черног. (Кучи) *прошење на вучину*, алб.?

♦ Этот обряд и соответствующая терминология подробно описаны Н.И. Толстым с точки зрения географии распространения на территории бывшей Югославии в двух работах [Толстой 1992а; Толстой 1992б]. Обряд, как правило, носит окказиональный характер, т.е. он исполняется после удачной охоты на волка, однако в отдельных областях приобретает характер святочного ряжения. Участники обхода, наряженные в волчьи шкуры, поют песни, угрожая "приходом" волка и предлагая задобрить его подношениями, чтобы избежать потерь в хозяйстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Българска... 1994 – Българска митология. Енциклопедичен речник. София, 1994.

Вестник... 1996 – Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1996. № 2.

Виноградова Л.Н., Толстая С.М. 1994 – К проблеме идентификации и сравнения персонажей славянской мифологии // Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994.

Виноградова Л.Н., Толстая С.М. 1995 – Андрей // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М., 1995.

Гласник... 1926 – Гласник Етнографског музеја у Београду. Београд, 1926–. Књ. 1–.

Етнография... 1985 – Етнография на България. Т. 3: Духовна култура. София, 1985.

Зеленина Э.И., Седакова И.А. 1985 – Бабин день // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. 1995.

Календарные... 1973–1978 – Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1973–1978: Зимние праздники. 1973; Весенние праздники. 1977; Летне-осенние праздники. 1978.

Кулишић и др. 1970 – Српски митолошки речник. Београд, 1970.

Ларин 1962 – Опыт областного словаря-атласа // Слово в народных говорах русского языка. Л., 1962.

Македонски... 1975 – Македонски фолклор. Скопје, 1975. VIII. № 15–16.

Недељковић М. 1991 – Годишњи обичаји у Срба. Београд, 1991.

Пловдивски... 1986 – Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986.

Плотникова А.А. 1982 – Сербскохорватская календарно-обрядовая терминология в сопоставлении с русской (на материале святочного цикла). [Ркп. – Дипл. раб. МГУ, 1982].

Плотникова А.А. 1993 – Рождественская символика в терминологии обрядового хлеба у сербов // Символический язык традиционной культуры: Балканские чтения – II. М., 1993.

Родопи 1994 – Родопи. София, 1994.

Седакова И.А. 1984 – Лексика и символика святочно-новогодней обрядности болгар: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.

Седакова И.А., Толстая С.М. 1995 – Афанасий // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М., 1995.

Српски... 1894 – Српски етнографски зборник. Београд, 1894–. Књ. 1–.

Толстой Н.И. 1962 – Из географии славянских слов 1. 'Дождь'. 2. 'Саламандра' // Вопросы славянского языкознания. Вып. 6. М., 1962.

Толстой Н.И. 1968 – Об изучении полесской лексики // Лексика Полесья. М., 1968.

Толстой Н.И. 1977 – О соотношении центрального и маргинальных ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. М., 1977.

Толстой Н.И. 1983 – О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. Л., 1983.

Толстой Н.И. 1985 – Заметки по славянской демонологии. 3. Откуда название *шуликун*? // Восточные славяне. Языки. История. Культура. К 85-летию академика В.И. Борковского. М., 1985.

Толстой Н.И. 1992а – Южнославянские *вучари* – обходы с убитым волком // Балканские чтения – 2. Симпозиум по структуре текста. М., 1992.

Толстой Н.И. 1992б – Южнославянские вучари. Обряд, его структура и география // Образ мира в слове и ритуале: Балканские чтения – I. М., 1992.

Толстой Н.И. 1993 – Заметки по славянской демонологии. 4. *Чемер* 'злой дух, черт' // Вопросы теории и истории языка. Сб. статей к 100-летию со дня рождения Б.А. Ларина. СПб., 1993.

Толстой Н.И. 1995 – Славянская фразеология sub specie этнографии // Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Толстой Н.И., Толстая С.М. 1988 – Народная этимология и структура славянского ритуального текста // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.

Толстой Н.И., Толстая С.М. 1993 – Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. **vesel-*) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993.

Цивьян Т.В. 1990 – Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.

Kucała M. 1957 – Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Wrocław, 1957.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. В.Б. КРЫСЬКО

VERBA PRETII В ИСТОРИИ РУССКОГО И ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Настоящая статья посвящена семантико-синтаксической истории глагольно-именных сочетаний со значением стоимости, которые в современном русском языке представлены главным образом конструкциями с глаголом *стоить*, управляющим винительным (ВП) или родительным (РП) падежами: *стоит сто рублей – стоит больших денег*. Однако в древнерусском языке образования от основы инфинитива *стои-* не встречаются. Для обозначения цены в церковно-книжных памятниках XI–XIV вв., помимо описательных выражений (типа: Не дъвѣ ли пътици ассарии цѣнимѣ есте Мф. X. 29. Остр. ев. – ἀσσαρίου; Не пять ли пътиць цѣниться пѣнязема дъвѣма Лук. XII. 6. Остр. ев. – ἀσσαρίων δύο [Срезн., III: 1459] – в соответствии с греческой пассивной формой πωλεῖται, сочетающейся с генитивом; и бѣ цѣна его ·р҃· златникъ Палея ист., 39 [Сл XI–XVII, 6: 7]), использовался образованный от *стояти* так называемый достигательный глагол *достояти*[1], управлявший, как и все глаголы этой лексико-семантической группы *(достигнути, желати* и т.п.), РП со значением предела (в данном случае количественного, ценностного), которого достигает предмет в своем действии или состоянии[2]: и ре(ч) хощеши ли коупити камыка сего и ре(ч) к немоу что хощеши на немь взяти. гл҃а продаяи. ты веси *чего достоить* ПрЛ XIII, 80б-в[3]; гл҃а емоу прими дроуже се и да(и) ми коверъ. и приимъ оубо старець злато с радостью. ибо *не достояше сего* СбТр к. XIV, 193 [СДРЯ, III: 70]; от *достояти* посредством суффикса *-ьн-* образовано прилагательное *достоинъ* "сто́ящий", также сочетавшееся с генитивом: Приде же и Никодимъ, несыи съмѣшени измюрно и алоино, *достоино цѣны* литръ. ·р҃· КТур XII сп. XIV, 30, ср.: [Срезн., I: 714]. РП при *достояти* дважды отмечен и в русско-греческом разговорнике XV в. – "Речь тонкословия греческого", написанном, как полагает М. Фасмер, монахом [RBG: 138]; показательно, что в греческом переводе в обоих случаях фигурирует аккузатив, ср.: *чего достоить* RBG, 57 (τί χρῄζει αὐτοῦ); *чего достоить* 74 (τί χρῄζει αὐτό).

Древнейший пример более обычной для нас конструкции с глаголом *стати* зафиксирован в "Хождении за три моря" Афанасия Никитина (XV в.): И язъ грѣшный

---

[1] Реконструкция его в виде *достоити*, нередкая в исторических словарях, опирается на аналогию с современным *стоить*, а не на реальные факты памятников, демонстрирующих *-и-*основу только в парадигме наст. вр.; формы, на первый взгляд противоречащие этому положению, на самом деле просто неверно трактуются: так, *достои* УСб, 6а5, интерпретированное в словоуказателе к изданию как "аор. ед. 3 л.", в действительности является формой наст. вр. с нулевым окончанием – что ясно следует из контекста, в котором речь идет не о прошедших, а о будущих событиях: азъ покажю семоу елико же емоу достои. моего имене дѣля пострадати (греч. χρή).

[2] Ср. отглагольное существительное *достояние* – изначально "то, чего человек добился, достиг", позднее также – "величина, размеры затрат" (полное воздаяние воздати... чтобы тѣхъ проторей стоило, чего велеможный Король у Государя нашего Царского Величества по *достоянью* попроситъ АИ II, 331, 1609 г.).

[3] Для обозначения древнерусских источников используются в основном сокращения, указанные в [СДРЯ, I: 24–48]; цитаты, почерпнутые из КДРС, сопровождаются обозначениями, принятыми в [Сл XI–XVII].

привезлъ жеребьца в Ындѣйскую землю... а *стал* ми *сто рублевъ* ХАН, 20. Использование *стати* в значении "стоить, обойтись (в какую-либо цену)" находит параллели в других славянских языках: ст.-польск. (1402 г.) to *stalo pandz krzewen* "то стоило пять гривен" [SSP, 53: 397, 401], чеш. noviny *stojí korunu* "газета стоит крону" [Vaillant 1977: 29] (ср. также ст.-чеш. *státi* "mít cenu" [MSČS: 477]), словац. *stát'*, серб.-хорв. *stalo* me *deset groša* [RHSJ, 68: 456], словен. obleka *stane dva tisoč dinarjev* [SSKJ, IV: 924]. По мнению М. Фасмера [Фасмер, III: 769–770], западнославянские слова, как и средневерхненемецкое *stân* "стоить", см. [MHDW, II: 574–575], образовались по аналогии лат. *constare*. Однако если средне (верхне- и нижне) немецкий глагол *kosten*, сочетающийся с ВП (ср. ср.-в.-нем. daȝ *kost* mê danne *tûsent pfunt*, daȝ *kostet* mich *ein sterben* [MHDW, I: 866], ср.-н.-нем. it *kostet grôt gelt*, it *kostet tat lîf* [MNDHW, II: 651]), действительно как формально, так и синтаксически восходит (через ст.-франц. *co(u)ster*, откуда соврем. франц. *coûter*) к средневековому латинскому *co(n)stare* (с винительным цены) < класс. лат. *constare* (с аблативом цены) [Grimm, V: 1865–1866; FT: 569; Kluge: 407; Niermeyer: 257; Walde: 597; EM, II: 653], то для *stân* предполагать латинское влияние отнюдь не обязательно. Еще братья Гримм с полным основанием утверждали: «И все же наши слова (*stân* и *gestân* в значении "стоить". – *В.К.*) кажутся не переводом, а самостоятельным произведением; потому что они, хотя еще и не засвидетельствованы в древневерхненемецком, все же, вероятно, являются древнегерманским достоянием, поскольку англ. *stand* также означает "стоить", очевидно, уже англо-сакс. *standan*, как и др.-сканд. *standa*...» [Grimm, V: 1865]. Равным образом, даже допуская – не без натяжек – возведение средневековых польских и чешских оборотов к латинскому (в таком случае приходится предполагать замену латинского приставочного глагола славянским бесприставочным), едва ли можно объяснить подобной аналогией сербские и тем более среднерусские формы. Думается, что развитие у глаголов с семантикой "стоять; ставить" и т.п. значения "стоить; продавать" если и не восходит к общеиндоевропейскому состоянию (по мнению братьев Гримм, это значение, "кажется, было усвоено глаголом уже в индоевропейском" [Grimm, XII: 1699]), то во всяком случае носит характер фреквенталии: здесь нельзя не упомянуть хет. *ištanḫ-* "стоить" [Kronasser 1966: 423], лат. *stāre*, встречающееся в значении "продаваться за какую-то сумму, стоить" уже у Плавта и Вергилия, *prostare* "быть выставленным на продажу", *proponere* "продавать" < ponere "класть" [Specht 1935: 51; EM, II: 651], греч. καθίστημι "ставить; быть выставленным" > "стоить" [Grimm, V: 1865; LS: 855], ὁδάω (ὁδεῖν) "увозить; продавать" [LS: 1197] < **sodéi̯ō* (каузатив "сажать" к **sed-* "сидеть") [Specht 1935: 52]. На этом фоне значение "стоить" и у ср.-в.-нем. *stân*, и у слав. *stati* более предпочтительно интерпретировать как результат по крайней мере типологически (если не генетически) общей семантической эволюции – от "стоять" к "быть выставленным" → "продаваться (за определенную цену)" → "стоить"[4]. Ввиду своей общеславянской распространенности **stati* "стоить" вполне может считаться праславянским наследием, а неравномерное и разновременное отражение соответствующих глаголов в отдельных частях славянской языковой территории естественно трактовать как следствие их разговорного, некнижного статуса (ср. *стати* vs. *достояти*).

Иначе обстоит дело с сочетаемостью. Как уже отмечалось, accusativus pretii при лат. *constare* появляется только в средние века (Jacere nostrum *nichil constabit* monachis "Наше пребывание ничего не будет стоить монахам" [Niermeyer: 257]): в классической латыни для выражения цены при *stare* и *constare* использовался аблатив (periculum vitae meae *tuo stat periclo* Plaut., Capt. 740 [Specht 1935: 51] – букв. "опасность для моей жизни стоит опасности и для твоей", haud illi *stabunt* Aeneia *paruo* hospitia Verg., Ae. 10,

---

[4] Ср. *ставиться* "выставляться на продажу" в тексте начала XVIII в.: та соль *ставилась*... у промышленников в Нижнем... по настоящей цене только по десяти денег пуд ПБП, XII, 415.

494–495 [EM, II: 651; стих указан ошибочно – 404] "ему будет недешево ⟨букв. "не малого"⟩ стоить гостеприимство Энея", edocet *quanto detrimento* et quot uirorum fortium *morte* necesse sit constare victoriam Caes., B.G. 7, 19, 14 [EM, II: 653] "указывает, скольких потерь и смерти скольких сильных мужей неизбежно будет стоить победа"). В древнегреческом при καθίστημι и других глаголах цены наблюдается генитив: οὐκ ἠθέλησα πράξασθαι πλέον ἢ ὅσου ἐμοὶ κατέστησαν "Я не хотел назначать цену выше, чем стоило мне" [Woodhouse: 176]. В средневерхне- и нижненемецком *stân* сочетается с винительным цены [Grimm, XII: 1699]: ср.-в.-нем. daz in wol *drîe schillinge stêt* [MHDW, II: 575], ср.-н.-нем. *êneme* (=einem) *grôt gelt (ên punt) stân* [MNDHW, III: 422], как и древнескандинавском: gullhringr er *stoð mörk* "золотое кольцо, которое стоило марку" [Grimm, V: 1865]. В старопольском единственный процитированный выше пример ВП сосуществует с многочисленными конструкциями *stać za coś*, а также формой *stać w czymś* [SSP, 53: 397–398]; в среднепольский период и в начале новопольского *za* + ВП также абсолютно преобладает, хотя словари изредка отмечают аккузатив и генитив: krzyżyk na szyi *stał czterdziestu czerwonych złotych* (1609 г.), Lewkowy taler *66 groshy stoi* (1645 г.) [Linde, V: 426], *Stoi* ten towar *trzy talary* (1-я пол. XVIII в.) [SJP, VI: 381]. В чешском, как указывает В. Махек, ВП сменил более раннюю конструкцию *za* + ВП [Machek: 575] – можно полагать, под немецким и латинским воздействием; только предложная форма фиксируется в [MSČS: 477] и в чешских сочинениях Я. Гуса (нач. XV в.) [Hus: 159], однако в XVII в. у Я.А. Коменского уже засвидетельствован как предложный, так и беспредложный аккузатив: *za nic nestojí* – válka... *sto tisíc lidí stála* [Com.: 606]. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что многие славянские конструкции с ВП прямо калькируют иноязычные сочетания, например, серб.-хорв. аккузатив при *valjati* от итал. *valere, celo kraljestvo vredan* [Miklosich 1868–1874: 390] – видимо, от нем. *wert* + ВП [Grimm 1989: 914], как и польск. *wart (wart złotówkę* [Vondrák 1928: 268]), *wartować* [Vaillant 1977: 26]; ср. также аккузатив при *hódny* (=нем. *wert*) в верхнелужицком [Libš 1981: 117]; относительно укр. *п'ятсот рубльов варт* даже А.В. Попов, весьма склонный возводить рассматриваемую форму к индоевропейской древности, заметил, что этот оборот "представляет несомненное заимствование" [Попов 1881: 121]. На фоне разнообразия падежных форм в индоевропейских языках поздний русский пример с ВП (*стал* ми *сто рублевъ* ХАН, 20), равно как и другие аналогичные конструкции в славянских языках, трудно признать отражающими исконное состояние. Можно полагать, что развитие именных актантов при рассматриваемом глаголе, сначала выступавшем в абсолютивном значении "быть выставленным (на продажу)", обусловливалось его семантическим развитием: дальнейшая кристаллизация значения – "продаваться" – потребовала обстоятельственного уточнения цены ("продаваться за такую-то сумму" – аблатив в латинском, генитив в греческом, предложные формы в славянских языках), а обобщение семантики до значения "иметь цену" отождествило анализируемые сочетания с другими атрибутивными конструкциями, выражающими квантитативную характеристику предмета посредством количественного винительного, ср.: ров был длиной *тысячу шагов* ("имел длину – *какую?* – тысячу шагов") – конь стоил *сто рублей* ("имел цену – *какую?* – сто рублей"). Вероятно, не без влияния со стороны разговорных оборотов типа *сталъ сто рублевъ* ВП цены появляется даже при книжном *достояти* в контексте, где по более ранним спискам фиксировался генитив (ср. выше пример из ПрЛ XIII, 80б–в): Гл҃а продая: ты вѣси, *что достоить*. ВМЧ, Дек. 6–17, 732. XVI в. [Сл. XI–XVII, 4: 337] (в обороте: Сие стадо *что достоит* (1 Парал. XXI, 17) Библ. Генн. 1499 г. [там же] – повторена аккузативная модель латинского оригинала: iste grex *quid commeruit*).

Употребление общеславянского глагола *стати* в значении "стоить" наблюдается в русском языке и после XV в., ср.: Здѣлали... сѣни и около двора забор *стало* 11 рублев и 6 ал⟨тын⟩ и 4 д⟨еньги⟩ Кн. прих.-расх. Ант. м. № 1, 172, 1584 г. [КДРС];

Добръ ножъ! Што онъ тебѣ *сталъ?..* Яз его купилъ за три гроша. RG, 31, втор. четв. XVII в.; тот бы шолкъ по П ефимков у Арханге(л)ского города *стал* В-К III, 91; Роспись, по чему *станетъ* мушкетъ... и по чему карабинъ *станетъ* Гебд., 51, 1660 г. [КДРС]; за запасы и за провоз берутъ денгами... кому во что запасы и провоз *станет* Котош., 150, 1666 г.; учение ныне много *станитъ* ⟨так!⟩ DV, 305, кон. XVII в. (*kostet;* ср. там же *умучцнъ* 14); Ценою на один карабль леса в пятнатцать ли тысяч или больши и менши до Ладоги *станут...* о том по окончании той пробы явитца ПБП, XII, 431; рублев полтораста ему один фрак *станет* Гог. Ревизор, II, 1 [ССРЛЯ, 14: 798]; одна икра *станет* нам двести рублей. Ильф и Петров. Широк. размах [там же]; встречаются подобные формы и в украинских говорах: Весїлля великі гроші *стало* [Тимченко 1928: 6]. В современном русском литературном языке, однако, этот глагол считается разговорным. Функцию основного лексического средства для выражения стоимости перенял глагол *стоить*. Как он возник?

С начала XVI в. в нашем материале фиксируется прилагательное *стоиныи* "сто́ящий" (в именной форме): приказщики мои заплатятъ ему, во что онъ *стоенъ* Арх. Стр. I, 147, 1518 г. [КДРС]: И намъ его жеребеи земли велѣти оцѣнити... чего земля *стоина* Ряд. зап. 1551 г. [Срезн., III: 516]; противъ тѣхъ проторей... полное воздаянье воздати... что тѣхъ проторей будетъ *стойно* и что его Королевское Величество отъ его Царского Величества попроситъ, по достою АИ II, 333, 1609 г. (см. ниже в аналогичном контексте примеры с глаголом *стоити);* будет того не *сто́йно,* ино яз в накладе RG, 47; а с середния и с плохия земли збавливано и окладено по розсмотру, чево которая земля *стоина.* Вер. кн. II, 46об., 1666 г. [КДРС]. Явный параллелизм *стоиныи – достоиныи* заставляет и в данном случае предположить отглагольную деривацию: *достоиныи* – от *достояти, стоиныи* – от *стояти* (значительно менее вероятна депрефиксация *достоиныи → стоиныи).* Реконструируемый таким образом имперфектив *стояти* в значении "стоить" образовывал видовую пару к глаголу совершенного вида *стати* "обойтись в известную цену": Конь *стои́тъ* сто рублевъ – Конь *сталъ* мнѣ сто рублевъ[5]. Реальным подтверждением его наличия в языке могут служить, на наш взгляд, следующие контексты: та прибавка Васи(л)ю платити по ценѣ что *че(г) стои(т)* Пам. Ряз., 75, 1584–1585 гг.; Ja chotzu tebbe towar prodati kack mene samomu *stoiet* RB, 63a (в нижненемецком переводе – Alβ sie mi suluen *steit);* Ias tebe prodam kak mnie sebe *stoiet.* TF, 293 *(steidt);* Fftroi: ffdetzetro ty sa tovar proszis kak sudit: *stoyt.* 437 *(werdt);* Ia tebe tovar prodam kak mnie, sebe *stoyt.* 440 *(steyt);* Я свои товар смѣтиль на девят сотъ гривень. без полтретяцяти гривенъ в том *стоит* мнѣ мои товар. как ты свои товар перемѣтиль. втом твои *стоит.* 445 *(steyt, steydt).* Правда, во всех этих формах трудно определить ударение, а тем самым – принадлежность к *стояти* или *стоити.* Однако внимательное сопоставление написаний *stoiet* и *stoyt* с аналогичными случаями в разговорнике Фенне показывает, что почти во всех релевантных формах, отражающих [и] после гласного, графемы *y* и *ie* используются для обозначения ударного звука; особенно информативны очевидно относящиеся к глаголу *стоять* написания *stoies* "стои́шь" 438, *stoiet* 357 и *stoiett* 191 "стои́т"; ср. также инфинитив *tayt* "таить" 331, 2-е л. *taies* "таишь" 200 и, наконец, формы мн. ч. притяжательных местоимений: *moy* "мои" (6 раз), *tuoy* (11 раз), *suoy* (5 раз). В целом *y* и *ie* обычны у Фенне – наряду с *i* – для выражения ударного [и] и в иных позициях, ср.

---

[5] Ср. аналогичные пары в старочешском: *státi, stanu, -eš* и *státi, stoju, -íš* [MSČS: 477] – и старопольском: *stać, stoję – stać, stanę* [SSP, 53: 397, 401]. Другой имперфектив к *стать* в значении "обойтись" – *становиться* "обходиться" – отмечен в петровское время: И того б смотрили, чтобы на каждой карабль оной лес обошелся до Ладоги в пятнатцать тысящ рублев для того, что ныне *становятца* такие леса во многие тысящи ПБП, XII, 430; тон всякай около семи фунтов *становится,* который мы ныне уторговываем по шести фунтов (там же, 479).

перед [т]: *spyt* "спит" 147, перед [т'] в инфинитиве: *bytt* "бить" 56, *rozbyt* 182, *piet* 249, *piett* 231 "пить", *prostyt* 177, в императиве: *obyd* "обидь" 420, *spyty* "спите" 147, перед другими согласными: *kryva* "криво" 204, *chryva* "грива" 77, *pyva* "пиво" (5 раз), *pyvo* (2 раза), *protyff* "против" 338 (ср. у И.А. Крылова, "Квартет": садись проти́в альта), *myr* "мир" 55, *pyr* 202, *obydno* 284, *spym* "спим" 147, *ymi* "ими" (твор. пад. мн. ч.) 149, *ymæ* "имя" 497, *sylo* "силу" 239, в конце словоформы: императивы *spy* "спи" 147, *volotzy* "волочи" 345, *govory* 392, числительное *try* (7 раз). Противоположные примеры далеко не столь внушительны; наиболее существенный для нас, *troyca* "троица" 273, возможно, передает не просто [ои], а [оjи]; прочие случаи таковы: *pryvikle* 236 (возможна перестановка гласных), *samy* "сами" 330 (не исключено, что *у* передает здесь [ы]), *sany* "сани" 79, *soly* "соли" (РП ед.ч.) 377, *pieszi* "пиши" 364, императивы *very* 214 и *day* (трижды) и две формы глагола *обижать: obysaies* 199 и *obysal* 436. Несмотря на эти отклонения, общая орфографическая система памятника дает, по нашему мнению, достаточно твердые основания для вывода о том, что формы, перечисленные в словоуказателе к изданию под леммой *стоити*, на самом деле относятся к глаголу *стояти*.æ

Немногочисленность конструкций с глаголами цены в письменности XV–XVI вв. определяется, скорее всего, их разговорным характером: показательно, что значительная часть известных нам форм фигурирует в разговорнике Т. Фенне, отражающем – с естественными, впрочем, искажениями – живую обиходную речь Пскова начала XVII в. Кроме того, не вызывает сомнений определенное неудобство данных глаголов с точки зрения смыслоразличения: *стати–стояти* в своих основных значениях и в значении "стоить" весьма далеко разошлись в семантическом отношении и по сути дела превратились в омонимы: Конь *сталъ* "остановился" – Конь *сталъ* "стоил". Столь же неудобным был и многозначный глагол *судити*, который, как свидетельствуют русско-немецкие разговорники и словари XVI–XVII вв., тоже мог выражать значение "стоить": Twoi towar... stoliko deneg ne *sudit* RB, 89a (Dyne war... Ist so vele geltt nicht *wertt;* аналогично – 64a, 70a); Moi towar *sudit* bolschi kack vtoba Jas prosyl 75a *(werth); sudit:* stoyt TF, 437 *(werdt); kosten, gelten – судить, станить* ⟨так!⟩ DV, 305. Неудивительно, что в ряде славянских языков лексемы, соответствующие ср.-русск. *стати–стояти*, либо полностью вытеснены заимствованиями, либо сосуществуют с ними в качестве синонимов. Так, в польском языке германизм *kosztować*, встречающийся даже в русско-польских документах XVI в. (кутазъ великы... которой *коштуетъ* его въ шездесятъ золотыхъ червоныхъ Пол. д. III, 757; кутазъ велики ... которой *коштуетъ* его золотыхъ червоныхъ пятдесятъ Там же; NB синтаксическую кальку с немецкого – ВП лица, см.: [Grimm, V: 1866]), с XVIII в. заменил лексему *stać*, см. примеры со *stać* в словарях [Linde, V: 426; SJP, VI: 380–381]). Уже в качестве полонизмов, восходящих к *kosztować*, глаголы *коштувати* и *каштаваць* утвердились, в свою очередь, resp. в украинском и белорусском языках на месте ранее употреблявшихся (сначала, видимо, тоже под польским, а затем под русским влиянием) глаголов *стояти / стоить*, а в старобелорусском – и глагола *важити* (даи ми одну реч, которая тобѣ немного *важити* будетъ; ланцугъ... *важыть* шестьдесять чырвоныхъ золотыхъ [ГСБМ, 2: 292]); ср., с одной стороны, староукраинские и старобелорусские конструкции с типично польским управлением *стояти за* + ВП: не *стоит за третию част* всих именей моихъ (Волынь, 1475 г.); што бы *стояла за двадъцать копъ г(р)ше(и)* (Краков, 1487 г.) [ССУМ, II: 392]; *за ничъто не стоить;* ледъва *стоить за единъ баханъ* хлеба (Ф. Скорина, 1-я четв. XVI в.) [СМС, II: 260] – и, с другой стороны, примеры из украинского языка XIX в.: ми не *стоїм* І *волосочка* одного; *сльоз* і *крові* Письмо [те] *стоїло* [Шевч., II: 296]; **Сто́їти, сто́ю, їш...** Хиба ж наша мати вже й *кози не стоїть; великого стоїть* – и даже с плеонастическим *-ся:* **Сто́їтися, сто́юся, їшся:** *Чого... стоїться* оцей халат?, А *що стоїться* сей жмуток?

[Гринч., IV: 208]. Нем. *kosten* было усвоено и иными славянскими языками: верхнелужицким – в форме *koštować*, фиксируемой с XVIII в. и вытесняющей в разговорном языке более ранний, известный с XVI в. глагол *płaćić* [Libš 1981: 108; Schuster-Šewc, 9: 638; 14: 1083; DOSW: 586], болгарским – в форме *костувам*, которая закрепилась наряду со *струвам*, в сербохорватском – в форме *коштати*, употребляющейся вместе с другим германизмом, *вредети*, и итальянизмом *ваљати* параллельно исконному *стајати*. По сходному пути пошел и русский язык, ограничившись, однако, лишь незначительным видоизменением исконной лексемы.

В конце XVI в. в документах, связанных по происхождению, содержанию и языку с Польшей, – "листе литовских послов" с перечислением "шкот", которые "учинились" им в Московском государстве, и ответной грамоте русских бояр, подробно трактующей – с цитированием жалоб поляков – об этих реальных и мнимых убытках (1570 г.), – отмечаются следующие контексты: Адамъ Былинской далъ вести пахолопку своему коня сивого почтового, которой *стоилъ копъ дванатцать* Пол. д. III, 750; перестень золотъ у Блажки... взятъ, а *тое цѣны*, что вы писали, многимъ *не стоитъ* 755; *стоитъ* то сѣдло и кутазы *штисотъ* ⟨РП⟩ *золотыхъ червоныхъ* 755; А что писали есте о Матвѣѣ о Мыслинскомъ, о слугѣ пана и воеводы иновлоцлавского, что царьское величество передъ собою сняти казалъ газуку... да шапку, которая газука, и шапка *стоитъ дватцать рублевъ*, и того не вернено, и то, пане, не нашие мѣры писати. 756; вернено ему кутазъ зъ галкою съ мѣденою не его, которые ледве *пятнатцать золотыхъ стоитъ* 756–757; тогды ему вернутъ назадъ кутазъ невелики зъ галкою мѣденою, которой ледве *стоитъ золотыхъ девятинатцати* 757. Поскольку образования наст. вр. внешне не отличаются от обсуждавшихся выше форм глагола *стояти*, особого внимания заслуживает форма прош. вр. *стоилъ* (750), демонстрирующая аномальный исход основы *стоц-*, отличный от первоначального *стоя-*. Известно, между тем, что глаголы состояния принадлежали к словоизменительному типу на *-ѣ-/-и-* (ср.: *сѣдѣти – сѣдиши, лежати – лежиши, стояти* < **stə-ē- – стоиши)* и в принципе не могли иметь инфинитивно-претеритальную основу на *-и-*, которая была присуща только каузативам, итеративам и деноминативам [Aitzetmüller 1978: 217–220, 224–227]. Следовательно, остается заключить, что в данном случае мы имеем дело со вторичным образованием, возникшим на базе новой формы презенса *сто́ить*, появлению которой способствовали, с одной стороны, польск. *stoi* (3-е л. ед.ч. наст. вр.) – наиболее частотная форма глагола *stać* (< **stojać), stoję* в значении "стоить", а с другой стороны – форма с инновационным ударением *досто́ить* – от синонимичного глагола *достояти*, повсеместно фигурирующая в среднерусских акцентуированных памятниках [Зализняк 1985: 362]. Форма *сто́ить* и послужила образцом для новой словоизменительной и акцентной парадигмы, и в частности для прош. вр. *стоил* и т.п. и инфинитива *стоити*, ср. [Фасмер, III: 748; Vaillant 1977: 29].

Будучи глаголом, специализированным – в отличие от *стати–стояти* – на выражении цены, *стоити* в непродолжительном времени заменил соответствующий лексико-семантический вариант глагола *стояти* и оттеснил на периферию языка глагол *стати* "обойтись (в определенную сумму)". Уже в начале XVII в. форма прош. вр. *стоило* наблюдается в двух редакциях русско-шведского соглашения: Государю нашему Царскому Величеству велеможному Королю Карлу, противъ его Королевской любви и дружбы и споможенья и проторей... полное воздаяние воздати... чтобы тѣхъ *проторей стоило*, чего велеможный Король у Государя нашего Царского Величества по достоянью попроситъ АИ II, 331 (договорная запись бояр со шведским полководцем Я. Делагарди, 17 дек. 1609 г.); полное воздаяние воздати... чтобъ тѣхъ *проторей стоило* 336 (грамота Василия Шуйского Карлу IX, 17 янв. 1610 г.); во второй четверти XVII в. презенс с ударением на *о* зафиксирован в акцентуированном учебном разговорнике, предназначенном для немцев, но явно написанном русским и достаточно близко

отражающем московскую обиходную речь; впрочем, рядом с ним – возможно, не случайно – употреблена и форма с нафлективным ударением, ср.: Катер⟨ина⟩: За сто(л)ко язъ не во(з)му, *не сто́итъ того*. Данил⟨о⟩: *Стои́тъ*, спроси ин'де. RG, 47. В середине XVII в. формы, образованные от основы *стои-*, в том числе бесспорная *стоили*, встречаются в "Вестях-Курантах", в целом ориентированных на народно-разговорный язык, хотя и не вполне свободных от польского влияния: в то мѣсто иные городы да(т) чтоб *тѣхъ* (ж) *стоили* В-К III, 46 (ср. отдельные полонизмы в том же "переводе с вестовых тетрадей": из *Вѣдны, кроле⟨в⟩скомъ* 48); дает он ему Давыду вѣдомо о ефимках... и в нихъ великои обман есть и *не стоят прямои цены* 91 (там же – цитировавшийся выше пример с глаголом *стати;* ср. лексический полонизм: королевское *весе(л)е* Варшаве попросту вело(с) 93); чтоб тѣхъ истинных *денег* и *ростов стоили* В-К IV, 55 (перевод Оснабрюкского договора, вероятно, выполненный нерусским, на что указывает нередкое смешение *и* и *ы*, а также странное написание: послѣ *детвего* (!) году 58). В деловых памятниках второй половины XVII в. форма *стоит* – наряду с прош. вр. на *стои-* – отмечается неоднократно, причем с учетом всего сказанного предпочтительнее, думается, отнести ее уже к парадигме *стоити*, ср.: И буде свейской прикащик за новое строенье, во что стало, той цены платить не учнет, а станет говорить, что *той цены не стоит*... и караулу на дворе быть ли? ЭСРШ, 117, 1663 г.; допрося иконописцовъ, *той цѣны* та олифа *стоитъ* ли Заб. Ик., 79, 1667 г. [КДРС]; имать у нихъ... въ ясакъ лисицами или за лисицы соболми, которой бы соболь *стоилъ лисицы* ДАИ VII, 148, 1678 г. [КДРС]; а какъ бы де онъ ⟨камень⟩ былъ чистъ... и онъ бы де *стоилъ* и болши той цѣны ДАИ X, 372, 1683 г. [КДРС]; а дати въ монастырь родителемъ ихъ денги, *чего* та вотчина *стоитъ* Там же, 308; *чего* тотъ камень *сътоитъ* Рим. д., 147, 1688 г. [КДРС]; чтобъ *стоилъ полъденьги* пирогъ Влад. сб., 180, 1696 г. [КДРС]; тое землю продает и ты пово(л) с ним видетца... и *чево* она *стоит* д⟨е⟩н⟨е⟩г заплати(т) ИНРЯ, 117; и в переносном значении: пише(ш) ты г(с)дрь ко мне с кручиною чтобы мне лутчи с Шестоковым разделатца... и мне г(с)дрь *стоит десяти Шестоковых* твое жалова(н)я приятство ПНРЯ, 42. Несколько примеров (среди которых и важная для нас форма *стоила)* фигурирует у Г. Котошихина (1666 г.): а за то... д⟨а⟩ет денгами по оцѣн⟨кѣ⟩ что *чего стоитъ* Котош., 64; а цѣнятъ королевские и ихъ посолские дары тою ценою *чего стоит* вѣсомъ а дѣла не щитают 80; а цѣну на них кладут они что *чего стоитъ* 106; дают денги за ту вотчину ис црские казны на поминание дши... *чего* та вотчина *стоила* 109. Новый глагол нашел отражение и в русской грамматике Г.В. Лудольфа (1696 г.): где лѣсовъ много тамъ огонь мало *стоитъ* Lud., 62 *(constat, kostet)*, и в "лексиконах" начала XVIII в., составленных И.Г. Спарвенфельдом и Ф. Поликарповым, причем в обоих словарях – в личной форме с ударением на *о: Сто́итъ* за много [SLS, IV: 131]; *Сто́итъ* сие *великия цѣны* [Полик.: 664].

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство примеров с verba pretii, засвидетельствованных в среднерусских текстах, демонстрируют управление РП – кстати, крайне редкое для польского *stać*. По всей вероятности, сочетаемость бесприставочных глаголов цены с РП наследует исконное управление достигательного глагола *достояти*, тогда как приглагольное употребление определительного детерминанта – количественного винительного – отражает расширение его синтаксических функций; знаменательно, что в XVII в. распространение аккузатива наблюдается не только при глаголах цены, но и при переходных глаголах продажи, способных одновременно присоединять объектный ВП (либо его субститут при отрицании – РП): Otzum ty suoi tovar dorosis tovar nomna opal y ty *peresznеu tzenu prodas*. TF, 281; Tebe *peresneu tzenu* ne *prodat* iovo 282; ty *odnoiu* ⟨ВП типа *тою, ею*[6]⟩ *tzenu torguis* besz

[6] Ср.: Пода́й мнѣ пивну́ю сто́пу... Да́й мнѣ *е́ю* сюдѣ́ RG, 24.

vbaffky. 298; *Продают* вьюк прутнику мелочи *полтину* Гр. Хив. Бух., 265. 1697 г. [КДРС] (пример сообщен нам А.Н. Шаламовой). Нетрудно убедиться, что ВП используется только для точного указания на цену либо при апелляции к такому указанию – в чем и проявляется его сущность как количественного детерминанта. РП тоже применяется при точном обозначении цены, но чаще – при неопределенном указании на стоимость, что отвечает исконной, этимологической функции генитива при достигательных глаголах как показателя объекта, к которому действие лишь направляется, не охватывая его целиком.

Со временем противопоставление по признаку точности (resp. определенности) становится более последовательным, приобретая характер лексико-комбинаторного варьирования: аккузатив по-прежнему выступает лишь в тех случаях, когда необходимо выразить точную цену (Книга *стоила сто тысяч рублей),* а РП, утрачивая способность к употреблению в необычной для него функции точного указания на стоимость, ограничивается контекстами, выражающими неопределенную цену (Книга *стоила больших денег),* либо метафорическим использованием в значениях "оправдывать затраты, расходы; заслуживать" (*Стоит* ли эта книга *ста тысяч рублей?)* и "требовать для своего осуществления каких-либо усилий, жертв, потерь и т.п." (Покупка этой книги *стоила* ему *больших хлопот;* Эти прихоти *стоили* ему *состояния*). Приведем примеры: хотя *што нибуть оное* вамъ будетъ и *стоить*, но лутче заплатить ПМ XVIII, 27, 1771 г. (речь идет о конкретной сумме); Приказчиков дом окончан ли? хорошо ли он обделан и *что стоил?* [Гоголь, X: 76]; обед *стоит* мне *17ть рублей;* возьми с меня, *что* оно будет *стоить* [Пушк., IV: 374]; А *что* будет *стоить* самовар? Герцен. Станция Едрово, 1 [ССРЛЯ, 14: 905]; Вот стразовую побрякушку ухватил... она *грош стоит.* А.В. Сухово-Кобылин. Св. Креч. II, 8 [Шахматов 1941: 548] – но: Я трудился долго и наконец успел нарисовать 3 картины, а 4-ю еще только что начал и можно сказать, что *стоит чего-нибудь* [Гоголь, X: 43] (речь идет об относительной ценности картины); необыкновенных *усилий* и *отказов* во всех необходимых потребностях это будет *стоить* вам [там же: 170–171]; особо отметим четкое противопоставление двух вариантов у Н.С. Лескова: – *...стоит* ли это огорчение *того,* чтобы вы кончились? – Разумеется, стоит; это *стоит тысячу рублей,* – простонал умирающий (Собр. соч. В 11 т. Т. 6. М., 1957. С. 642) – и неоправданную вариативность ВП и РП у А.И. Герцена, вероятно, продиктованную гиперкорректным стремлением к различному маркированию определенного (*целое поколение*) и неопределенного (*может, всего будущего*) объектов в метафорическом контексте, который отнюдь не допускает такой вариативности: в это время Наполеон (III. – *В.К.*) чувствовал то пламенное участие к судьбам Польши, которое ей *стоило целое поколение* и, может, *всего будущего* (Былое и думы, 7, V, I).

Итак, ВП при *стоить* имеет обстоятельственное происхождение. Синтаксический статус аккузатива цены, однако, с течением времени изменялся, так как, варьируясь с исконным РП при *(до)стояти,* он приобретал объектное значение, вообще свойственное всем позднейшим винительным, вступавшим в вариативные отношения с родительными при глаголах достижения и удаления (*достигнути города – городъ, дожидатися войска – войско, отступитися отчины – отчину* и т.п.). Объектный характер ВП при *стоить* подтверждается тем, что он мог подвергаться местоименной субституции (*что*), а также трансформации в РП при отрицании: *стоит тысячу рублей – не стоит (и) тысячи рублей.* Тем самым традиционная точка зрения, квалифицирующая ВП при глаголах типа *стоить* как обстоятельственную форму (см., например [Шахматов 1941: 548; Исаченко 1965: 102]), нуждается, как мы полагаем, в некоторых коррективах. Не вызывает сомнений то положение, что обстоятельственный аккузатив независим от глагола, т.е. не является ни обязательной, ни предсказуемой формой. Между тем очевидно, что анализируемые глаголы, будучи информативно недостаточными, необходимо требуют "зависимой словоформы,

обеспечивающей информативность" [РГ 1980, II: 16]. Именно обязательность и предсказуемость ВП цены и веса выделяет его из числа форм, рассматриваемых в "Грамматике-80" как падежно примыкающие, и заставляет Н.Ю. Шведову специально для этого случая вводить понятие "сильного падежного примыкания" [там же: 44]. Представляется, однако, что связь, возникающая между именем и глаголом в сочетаниях типа *стоить рубль*, является связью сильного управления; такой подход вполне соответствует указанию "Грамматики-80", согласно которому при "сильном управлении возникают отношения восполняющие или объектные либо их контаминации (в эти контаминации могут включаться и обстоятельственные отношения)" [там же: 21] (разрядка наша. – *В.К.*). Признание сильноуправляемого характера связи между компонентами исследуемых словосочетаний говорит в пользу определения ВП при глаголе *стоить* как объектной формы. Важнейшим фактором, который противоречит этому выводу, является отсутствие пассивной конверсии. Однако, сопоставляя обороты типа *стоит тысячу рублей* с транзитивными сочетаниями типа *имеет цену*[7], мы должны констатировать не только их семантическую близость, но и тождественность их трансформационных признаков: в обоих случаях в современном языке возможна только замена ВП родительным при отрицании. На наш взгляд, во всех указанных сочетаниях имеет место ВП внутреннего объекта, обозначающий понятие, которое "может рассматриваться как в некотором роде включенное в значение глагола", ср. древнерусские обороты типа *ити путь*, "где идея пути уже предвосхищена идеей ходьбы" [Марузо 1960: 54), и *стоить рубль*, где, так сказать, идея цены предвосхищена идеей стоимости. Для многих винительных внутреннего объекта пассивное преобразование также не характерно, хотя объектный их статус не подлежит сомнению (см. [Пешковский 1956: 294]).

Было бы, однако, неверно умолчать о том, что квантитативная семантика существительного оказала бесспорное воздействие на восприятие анализируемых сочетаний носителями языка: вытеснение оборотов типа *что стоит?* явно указывает на обстоятельственное переосмысление ВП[8]. Поэтому с точки зрения синхронии, видимо, все же следует считать винительный при глаголах цены пограничным между объектными и обстоятельственно-определительными формами.

ИСТОЧНИКИ

АИ II – Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 2. СПб., 1841.

В-К III – Вести-Куранты, 1645–1646, 1648 гг. М., 1980.

В-К IV – Вести-Куранты, 1648–1650 гг. М., 1983.

Гоголь, Х – *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. 10: Письма, 1820–1835. Л., 1940.

Гринч. – *Гринченко Б.Д.* Словарь украинского языка. Т. 1–4. Киев, 1907–1909.

ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1–11–. Мінск, 1982–1991–.

ИНРЯ – *Котков С.И., Панкратова Н.П.* Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII – начала XVIII века. М., 1964.

КДРС – Картотека Словаря русского языка XI–XVII вв. (хранится в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН).

Котош. – *Pennington A.E.* Grigorij Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Oxford, 1980.

Пам. Ряз. – Памятники русской письменности XV–XVI вв.: Рязанский край. М., 1978.

ПБП, XII – Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 12. Вып. 1. М., 1975.

ПМ XVIII – Памятники московской деловой письменности XVIII века. М., 1981.

ПНРЯ – Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. М., 1965.

Пол. д. III – Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским. Т. 3. СПб., 1892. (Сб. Рус. ист. о-ва. Т. 71).

---

[7] Трактовку этих конструкций как интранзитивных см. [Konopielko 1989: 52].

[8] Следствием деобъективации ВП является присоединение его – по аналогии со *стоить* – к явно непереходному глаголу *обойтись/обходиться*, обычно управляющему сочетанием *в* + ВП, ср.: стол его... *обходился* казне в день *четыреста рублей* (Н.С. Лесков. Захудалый род, Старое старится – молодое растет, 3); *Девятьсот рублей* это нам *обошлось* (Ф. Сологуб. Мелкий бес, X).

Полик. – *Polikarpov F.* Leksikon trejazyčnyj = Dictionarium trilingue, Moskva 1704 / Nachdruck und Einleitung von H. Keipert. München, 1988.
Пушк. – Словарь языка Пушкина. Т. 1–4. М., 1956–1961.
СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–4–. М., 1988–1991–.
Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–21–. М., 1975–1995–.
СМС – Слоўнік мовы Скарыны. Т. 1–2. Мінск, 1977–1984.
Срезн. – *Срезневский И.И.* Словарь древнерусского языка. Т. 1–3. Репринт. изд. М., 1989.
ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1950–1965.
ССУМ – Словник староукраїнської мови. Т. 1–2. Київ, 1977–1978.
УСб – Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.
Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1986–1987.
ХАН – Хождение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986.
Шевч. – Словник мови Шевченка. Т. 1–2. Київ, 1964.
ЭСРШ – Экономические связи между Россией и Швецией в XVII в. М.; Стокгольм, 1978.
Com. – *H. Rösel.* Wörterbuch zu den tschechischen Schriften des J.A. Comenius. Münster, 1983.
DOSW – Deutsch-obersorbisches Wörterbuch. I. Bautzen, 1989.
DV – Teutscher, und Reussischer, Dictionarium (Dictionarium Vindobonense): Das Wiener deutsch-russische Wörterbuch... / Hrsg. und eingeleitet von G. Birkfellner. Weinheim, 1984.
EM – *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine: Histoire des mots. 4. éd. T. 1–2. P., 1959–1960.
FT – *Falk H.S., Torp A.* Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. T. 1. Heidelberg, 1910.
Grimm – *Grimm J., Grimm W.* Deutsches Wörterbuch. Bd 1–16. Leipzig, 1854–1954.
Hus – *Novák K.* Slovník k českým spisům Husovým. Praha, 1934.
Kluge – *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22 Aufl. B.; N.Y., 1989.
Linde – *Linde S.B.* Słownik języka polskiego. T. 1–6. Lwów, 1854–1860.
LS – *Liddell H.G., Scott R.* A Greek-English Lexicon. Oxford, 1968.
Lud. – *Ludolf H.W.* Grammatica Russica, Oxonii A.D. MDCXCVI / Ed. by B.O. Unbegaun. Oxford, 1959.
Machek – *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha, 1968.
MHDW – *Benecke G.F., Müller W., Zarncke F.* Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Bd 1–3. Leipzig, 1854–1866.
MNDHW – Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Bd. 1–3–, Lief. 1–25–. Hamburg, 1928–1994–.
MSČS – *Bělič J., Kamiš A., Kučera K.* Malý staročeský slovník. Praha, 1978.
Niermeyer – *Niermeyer J.F.* Mediae latinitatis lexicon minus. Leiden, 1976.
RB – "Ein Rusch Boeck...": Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert / Hrsg. von A. Fałowski. Köln etc., 1994.
RBG – *Vasmer M.* Ein russisch-byzantinisches Gesprächbuch: Beiträge zur Erforschung der älteren russischen Lexikographie. Leipzig, 1922.
RG – *Sørensen H.Ch.* Ein russisches handschriftliches Gesprächbuch aus dem 17. Jahrhundert. København, 1961.
RHSJ – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. 1–23, sv. 1–97. Zagreb, 1880–1976.
Schuster-Šewc – *Schuster-Šewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. 1–23–. Bautzen, 1978–1989–.
SJP – *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. T. 6. Warszawa, 1915.
SLS – *Sparwenfeld J.G.* Lexicon Slavonicum. V. 1–4 / Ed. and comment. by U. Birgegård. Uppsala, 1987–1990.
SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Knj. 1–5. Ljubljana, 1970–1991.
SSP – Słownik staropolski. T. 1–10–, z. 1–63–. Wrocław etc., 1953–1990–.
TF – Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian, Pskov 1607. V. 2. Copenhagen, 1970.
Walde – *Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3., neubearb. Aufl. von J.B. Hofmann. Bd 2. Heidelberg, 1954.
Woodhouse – *Woodhouse S.C.* English-Greek dictionary: A vocabulary of the Attic language. London, 1959.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Зализняк А.А. 1985 – От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
Исаченко А.В. 1965 – Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким: Морфология. 2-е изд. Ч. 1. Братислава, 1965.
Марузо Ж. 1960 – Словарь лингвистических терминов. М., 1960.
Пешковский А.М. 1956 – Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
Попов А.В. 1881 – Синтаксические исследования. Воронеж, 1881.
РГ 1980, II – Русская грамматика. Т. II. М., 1980.
Тимченко Є.К. 1928 – Акузатив в українській мові: (З української складні). Київ, 1928.

Шахматов А.А. 1941 – Синтаксис русского языка. Л., 1941.
Aitzetmüller R. 1978 – Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg i. Br., 1978.
Grimm J. 1989 – Deutsche Grammatik 4, 2. Teil (1898). Hildesheim etc., 1989. (Grimm J. u. W. Werke. Abt. I, Bd. 14).
Konopielko B. 1989 – Транзитивные глаголы в современном русском языке. Wrocław, 1989.
Kronasser H. 1966 – Etymologie der hethitischen Sprache. Bd. 1. Wiesbaden, 1966.
Libš J. 1981 – Syntax der sorbischen Sprache in der Oberlausitz. Bautzen, 1981.
Miklosich F. 1868–1874 – Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Bd. 4: Syntax. Wien, 1868–1874.
Specht F. Zur Geschichte der Verbalklasse auf *-ē:* (Ein Deutungsversuch der Verwandtschaftsverhältnisse des Indogermanischen) // KZ. 1935. Bd. 62.
Vaillant A. 1977 – Grammaire comparée des langues slaves. T. 5: La syntaxe. Paris, 1977.
Vondrák W. 1928 – Vergleichende slavische Grammatik. 2. Aufl. Bd. 2: Formenlehre und Syntax. Göttingen, 1928.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. Е.В. ПАДУЧЕВА

РОДИТЕЛЬНЫЙ СУБЪЕКТА В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: СИНТАКСИС ИЛИ СЕМАНТИКА?

1. **О семантическом подходе к синтаксису.** Генитивная конструкция в отрицательном предложении (т.е. конструкция с родительным падежом субъекта[1] и безличным сказуемым – как, скажем, в предложениях *Сомнений не возникло, Ответа не пришло, Мороза не чувствуется*) – широко продуктивна как в русском, так и в других славянских языках. Но условия "замещения" нормального именительного падежа родительным до конца не ясны. Почему, например, *Сомнений не возникло* допустимо, а *Сомнений не исчезло* – нет?

Проблеме генитивного субъекта посвящена обширная литература. В монографии [Babby 1980] предлагаются решения в рамках семантических формулировок. Однако в последующих работах возможность семантических решений проблемы генитивного субъекта была подвергнута сомнению. Согласно [Апресян 1985], род. падеж субъекта в отрицательном предложении обусловлен "семантически немотивированным или не вполне семантически мотивированным" синтаксическим признаком, который приписывается лексемам в словаре. Мы покажем, опираясь на богатый материал, собранный исследователями этой проблемы [Ицкович 1974, Babby 1980, Guiraud-Weber 1984], что генитивная конструкция (ГК) в отрицательном предложении имеет четкий семантический инвариант (хотя и не столь простой, как первоначально предполагалось) и что обращение к семантике этой конструкции позволяет описать условия ее употребления в семантических терминах.

В связи с семантикой ГК возникает следующая проблема. В некоторых контекстах возможен и род. и им. падеж субъекта, причем мена падежа влечет отчетливое изменение значения, например:

(1) а. Тьма была кромешная. *Ни одного фонаря не горело* (= 'не было горящих фонарей, а возможно, не было никаких');

б. *Ни один фонарь не горел* (= 'фонари были, но не горящие').

Однако для многих глаголов род. падеж субъекта при отрицании обязателен, ср.:

(2) Разницы *не усматривается*;

Семантической общности в классе генитивных глаголов *не обнаруживается*;

Финансовой катастрофы *не вырисовывается*,

а без противопоставления семантика ГК смазывается. Кроме того, возможна мена падежа, которая не дает ощутимого различия в значении:

(3) а. *Договоренности* не достигнуто;

б. *Договоренность* не достигнута.

Так как же согласовать инвариантную семантику ГК с обязательностью род. падежа в (2) и синонимией род. падежа именительному в (3)?

Мы считаем, что генитивная конструкция во всех приведенных примерах – (1а), (2), (3а) – имеет один и тот же смысл; а именно, она маркирует наличие определенного компонента в семантической структуре предложения. В (2) этот компонент возникает

[1] Субъектом (синтаксическим) мы называем тот актант, который в неотрицательных предикативных употреблениях данного глагола выражается подлежащим.

в отрицательном предложении как следствие семантики глагола, а в (1) наличие или отсутствие этого компонента есть вопрос свободного выбора говорящего. Им. падеж в (3б) – это вариативность, обусловленная своего рода "экспансией" именительного: этот компонент есть в семантике предложения, но грамматически не выражен[2]. Тем самым примеры (2), (3) не противоречат предположению о том, что у ГК имеется семантический инвариант.

Описание условий употребления ГК естественно начать с выявления класса глаголов, способных в отрицательном предложении входить в генитивную конструкцию (слова этого класса мы назовем г е н и т и в н ы м и)[3]. Мы покажем, что все слова генитивного класса имеют общий семантический компонент (точнее, это группа компонентов, различных, но "родственных"; в семантике генитивного глагола присутствует один из них). Дело в том, что если есть инвариантный смысл у генитивной конструкции, то естественно искать семантическую общность и в классе генитивных глаголов; иначе откуда возникнет общий компонент в предложениях с ГК?

Вообще, лексический список, не охарактеризованный семантически, не исчерпывает проблемы выбора падежа субъекта в отрицательном предложении.

Во-первых, принадлежность глагола к генитивному классу – это лишь потенциальная возможность ГК. Так, при определенных коммуникативных условиях падеж субъекта у генитивного глагола с отрицанием может быть только именительный:

(4) а. Реорганизации не было проведено;
б. *Реорганизации не было проведено В СРОК.

В [Ицкович 1974, Babby 1980, Guiraud-Weber 1984, Апресян 1985] отмечались и другие параметры контекста, препятствующие генитивной конструкции при генитивном глаголе: одушевленность субъекта; референтность; ед. число. Мы покажем, что все эти факторы существенны ровно постольку, поскольку они препятствуют формированию в отрицательном предложении того семантического компонента, который маркируется генитивной конструкцией.

Во-вторых, генитивная конструкция может возникать, под давлением контекста, и при не–генитивном глаголе. Такие ее употребления мы трактуем как в ы н у ж д е н н ы е (ср. известное **Вас здесь не стояло*). Вынуждение состоит в том, что требуемый семантический компонент отсутствует в семантике глагола, а появляется в предложении лишь в специальном контексте. Описать вынужденные употребления можно только при семантическом подходе.

В [Апресян 1985] отмечено, что на употребление ГК влияет частица *ни* – как сама по себе, так и в сочетаниях *ни один, никакой, ни единый, ни малейший* и под. Употребления, обусловленные контекстом "усилительных" отрицательных частиц, мы тоже относим к вынужденным. Например, глаголы *находиться, тронуться* в (5), (6) не генитивные, и при отсутствии слов *никакой, ни один* род. падеж субъекта был бы невозможен:

(5) Никакого атомного снаряда на борту корабля *не находилось* (пример из [Ицкович 1974]);

(6) Зажегся зеленый свет, но ни одной машины *не тронулось* с места [Babby 1980].

Генитивная конструкция дает большой разнобой в оценках грамматической правильности. Например, нам кажутся неприемлемыми предложения

Таких примеров *не рассматривалось*;

Афазий и других отклонений от нормы раньше *не изучалось*,

---

[2] В ситуации экспансии мы вправе принимать во внимание только "исконный" вариант, пренебрегая употреблениями типа *Затруднения не возникли; Разница не усматривается; Падение курса не произошло*, хотя они и не исключены.

[3] Кроме глаголов, в генитивный класс входит небольшое число кратких прилагательных (такие как *видно, слышно, нужно*).

которые приводятся как допустимые в [Ицкович 1974]. Широкий диапазон различий в оценке говорящими допустимости ГК требует объяснения.

Итак, имеются следующие задачи: 1) выявить компонент, который является семантическим инвариантом генитивной конструкции отрицательного предложения; 2) охарактеризовать класс генитивных глаголов семантически – в его отношении к этому инварианту; 3) описать условия, которые препятствуют появлению в семантическом представлении предложения с генитивным глаголом генитивного компонента; 4) объяснить возможность появления ГК за пределами генитивного класса, а также разногласия в оценках правильности[4].

2.1. Семантика генитивной конструкции. В отрицательном предложении с генитивной конструкцией обязательно присутствует один из двух компонентов:

I. 'X–а не существует в Мире/Месте';

II. 'X–а нет в перцептивном пространстве Субъекта сознания',

где X – это предмет или явление, которое обозначается синтаксическим субъектом. Место выражается Локативом, если он есть (если нет, речь идет о существовании в Мире). Субъект сознания в узком смысле – это тот семантический актант, который, когда он невыразим в поверхностной структуре, называется Наблюдателем [Апресян 1986], а вообще говоря это Эксперимент – субъект восприятия. Находиться в перцептивном пространстве Субъекта сознания – значит восприниматься им.

В расширительном смысле компонент II может соответствовать другим формам интеллектуального контакта между X-ом и Субъектом сознания (знанию, ожиданию) и даже просто посессивному отношению. Тогда перцептивное пространство Субъекта сознания является уже не полем зрения (зоной актуального внимания), а привычной для него сферой бытия, его "личной сферой" в смысле [Апресян 1986].

Компонент I называется э к з и с т е н ц и а л ь н ы м, компонент II – п е р ц е п т и в н ы м (о том, что генитивную конструкцию порождает не только экзистенциальный, но и перцептивной компонент, см. [Падучева 1992]). Так, в (1) за семантику ГК отвечает экзистенциальный компонент, а в (2) – перцептивный:

(1) *Существенных изменений* не произошло;

(2) а. *Новых пассажиров* в купе не появилось;

б. *Деревни* на берегу не видно; *Хозяина* в доме не чувствуется.

Совмещение существования и восприятия в значении одной конструкции не удивительно: существование и восприятие – это родственные компоненты. Язык представляет существование как нахождение в Месте (по умолчанию – в Мире); а нахождение X–а в Месте, входящем в поле зрения Субъекта сознания, равносильно восприятию X–а Субъектом сознания. Как показала Г.И. Кустова (доклад в Институте языкознания, июнь 1996), связь местонахождения (в том числе перемещения – изменения местонахождения) с существованием и восприятием порождает отношение регулярной многозначности в обширных слоях предикатной лексики. Так, X может *появиться* или *исчезнуть* в Месте, составляющем перцептивное пространство Субъекта сознания (это будет перцептивное событие), и в Мире (тогда X начнет/перестанет существовать).

Связь местонахождения с восприятием имеет основу в сходстве актантной структуры соответствующих глаголов: в диатезе с закадровым Экспериентом падежная рамка глаголов восприятия и местонахождения состоит из одних и тех же двух актантов – это X и Место[5]. Когда актант Место обозначает поле зрения, как в (3б), или когда X – наблюдаемый предмет, как в (4б), происходит автоматический сдвиг от существования / местонахождения к восприятию:

(3) а. выступил пот на лбу; б. выступили горы *из-за облаков*;

---

[4] Многие примеры взяты из цитируемых лингвистических работ. Ссылки на лингвистический источник даются лишь в случае "особо интересных" примеров.

[5] Об обязательном семантическом актанте "Место" в семантике перцептивных глаголов см. [Wierzbicka 1980: 102].

а. возникли сомнения; б. возникло здание *из темноты*;

(4) а. представился случай; б. представилось *зрелище*;

а. открылась школа верховой езды; б. открылась *панорама*.

Во фразе *На экране появились странные изображения*, где и X и Место имеют перцептивную природу, противопоставление существования, местонахождения и восприятия просто нейтрализуется.

2.2. Две группы генитивных глаголов. Отрицательное предложение естественно представить как результат применения оператора отрицания к исходному утвердительному. Вопрос ставится так: какова должна быть семантика глагола в исходном утвердительном предложении, чтобы при отрицании в нем мог (или должен был) возникнуть один из двух указанных генитивных компонентов? Именно в этом случае говорящий может (или должен) употребить в отрицательном предложении ГК. Глагол относится к генитивному классу, если его толкование включает экзистенциальный или перцептивный компонент, причем в таком коммуникативном статусе, что при отрицании предложения он подвергнется отрицанию: этот компонент может быть ассерцией или импликацией, но не может быть пресуппозицией (презумпцией).

Утвердительные аналоги компонентов I и II имеют вид:

I'. 'X существует в Мире/Месте'.

II'. 'X находится в перцептивном пространстве Субъекта сознания'[6].

Соответственно, генитивные глаголы делятся на две группы.

В примере (5) семантика глагола (группы I) включает компонент 'X существует' (или 'X имеет место'), причем в таком коммуникативном статусе, что отрицание предложения даст отрицание этого компонента:

(5) *Существуют безвыходные положения* – 'X существует'

Были затруднения, Произошла катастрофа – 'X имел место'

Возник скандал – 'стало: X имеет место'

Требуется справка с места работы – 'необходимо: X существует'[7]

Сигнал повторился – 'раньше X имел место, сейчас снова X имел место'

За выстрелом последовал взрыв – 'после или в качестве следствия чего-то имел место X'

Выпал осадок – 'части чего-то переместились вниз; тем самым стало: X существует'.

Способностью иметь генитивный субъект может обладать не глагол, а его пассивная форма. Так, глагол *построить* – как и все другие переходные глаголы – в активном залоге не допускает ГК, поскольку у него X – объект, а не субъект:

Y *построил* X *из* Z =

'до t X–а не существовало [презумпция]

в t Y действовал с целью: определенным образом: воздействовал на Z [ассерция]

это вызвало: сейчас X существует [импликация]'.

А в пассивной форме – может, ср. пример (6); генитивный компонент формируется в этом случае при участии трансформации пассива, которая переводит актант X в ранг субъекта:

(6) *Гостиницы* не построено.

Как мы видим, экзистенциальный компонент возникает в отрицательном предложении с глаголом I группы как результат нормального взаимодействия значения глагола с оператором отрицания и семантикой грамматических форм.

В группу II входят глаголы с перцептивным компонентом; различаются группы IIа и IIб.

---

[6] В обоих случаях имеется в виду, что X не выполняет в ситуации, описываемой глаголом, никакой другой, более "активной" роли.

[7] При отрицании слов "модальной" подгруппы существование X–а не отрицается, а подвергается сомнению.

У глаголов группы IIа перцептивный компонент находится в "модальной рамке": Эксперимент участвует в толковании в статусе Наблюдателя – он не может быть выражен с помощью синтаксического актанта глагола. Так, можно сказать либо *На пороге появилась девушка,* либо *Девушка появилась в моем поле зрения*: поле зрения и Место – это один и тот же актант, и денотативно и синтаксически. Присутствие Наблюдателя в толковании глаголов этого рода было обосновано в [Апресян 1986][8]. Глаголы с актантом Наблюдатель традиционно трактуются как глаголы местонахождения (*Снега на полях уже не лежало*), перемещения (*Ответа не пришло*), проявления признака (*Не белело вдали знакомых очертаний домов*). Субъект сознания не обязательно невыразим, ср. *Знакомых по дороге* нам *не встретилось*; *Рыжиков* ему *не попалось.*

Группу IIб составляют слова, которые традиционно трактуются как обозначающие восприятие, ср. *Мороза не чувствуется, Деревни не видно.* Естественно, к генитивному классу могут относиться только такие предикаты восприятия, которые имеют либо пассивное значение, как *заметно,* либо пассивно-возвратное употребление, как *чувствуется.* Эксперимент у таких слов не может быть подлежащим, как в исходных диатезах глаголов восприятия (*Лисица видит сыр*), а вынужден ютиться на задворках падежной рамки.

Чтобы глагол принадлежал к генитивному классу, нужно, чтобы он обозначал в х о ж д е н и е X–а в перцептивное пространство Наблюдателя, а не в ы х о д из него, см. примеры в [Падучева 1992]. Исследователи актуального членения оперируют с классом глаголов "введения в рассмотрение", который, по смыслу, должен быть близок к группе II; однако он никогда не был описан исчерпывающим образом.

Различие между экзистенциальной и перцептивной группами следующее. При глаголе экзистенциальной группы X должен быть нереферентным, см. примеры (1), (2); это обязательное условие, вытекающее из семантики существования. А в перцептивной группе ничто не мешает X–у быть референтным (*Ивана в Москве нет и не предвидится*): для глагола группы II необходимо, чтобы обозначаемая им ситуация включала – или допускала – Наблюдателя (Эксперимента, Субъекта сознания). Как правило в этой группе возможно противопоставление по наличию/отсутствию Наблюдателя; ср., однако, глагол *оказаться* (*Маши дома не оказалось*), для которого Наблюдатель обязателен (он не только воспринимает, но и перемещается в то место, где фиксирует отсутствие субъекта), и обязательна ГК. Впрочем, даже во II группе глагол должен допускать нереферентный субъект хоть в каких-то своих употреблениях; так, глаголы *присутствовать, участвовать, находиться, размещаться, располагаться,* которые в любом контексте несут неподавляемую презумпцию существования X-а, не относятся к генитивным[9].

В остальном, различие между группами слабое – как уже говорилось, один и тот же глагол может означать и существование, и восприятие:

(7) а. Аргументов *не нашлось* = 'X-а не возникло, не начало существовать' [существование].
б. Нужного лекарства в аптеке *не нашлось* = 'X-а нет в перцептивном пространстве Субъекта сознания' [восприятие];

(8) а. Денег *не осталось* = 'стало: X-а не существует' [существование].
б. Людей на площади *не осталось* = 'стало: X–а нет в перцептивном пространстве Субъекта сознания' [восприятие].

2.3. Инсинуации отсутствия/несуществования. Связь между экзистенциальной и

---

[8] О Наблюдателе и Субъекте сознания в семантике глагола *быть* см. [Падучева 1992].

[9] Глаголы в предложениях *Письма не пришло, Снега на полях уже не лежало* отнесены к группе IIа, хотя присутствие Наблюдателя в исходных для них утвердительных предложениях можно оспаривать. Отдельного класса слов, допускающих п р и м ы с л и в а н и е Наблюдателя в отрицательном контексте, не было предусмотрено.

перцептивной группами генитивных глаголов возникает не только за счет регулярной многозначности, но и за счет слабых, легко подавляемых семантических компонентов, которые мы назвали и н с и н у а ц и я м и (ср. англ. invited inference).

В контексте глагола группы IIа генитивная конструкция часто добавляет (в случае нереферентного X-а) к отрицанию присутствия X-а в Месте инсинуацию н е - с у щ е с т в о в а н и я X-а в Мире: 'возможно, X-а не существует вообще'. Чтобы отменить "инсинуацию несуществования", надо употребить им. падеж, ср.:

(9) а. *Письма* не пришло = 'письма нет в Месте; возможно, его не существует';
б. *Письмо* не пришло = 'письмо существует, но его нет в Месте'.

В группе IIб дело обстоит иначе. Здесь прежде всего возникает всего лишь инсинуация о т с у т с т в и я X-а в Месте: компонент 'X не воспринимается Субъектом сознания (в Месте)' усиливается до компонента 'X-а нет в Месте'. Эта инсинуация легко подавляется; так в (10а) она есть, а в (10б) ее нет:

(10) а. Деревни *не видно* ⊃ 'возможно, ее здесь нет'
б. Отсюда деревни *не видно*, надо доплыть до поворота.

Далее возможен, однако, переход от инсинуации отсутствия к инсинуации несуществования – так же как в группе IIа. Например:

(11) Хозяина в доме *не чувствуется* ⊃ 'возможно, его нет в доме' ⊃ 'нет вообще'.
(12) Звуков с улицы ⟨сюда⟩ *не доносилось* [= 'возможно, звуков на улице и не было'];

Номинативная конструкция, напротив, несет презумпцию существования X-а:

(12') *Звуки с улицы* не доносились сквозь двойные рамы [= 'звуки были, но недоступные восприятию Субъекта сознания'].
(13) *Новые слова* [в качестве заранее известного говорящему – и тем самым существующего – множества] в тексте не встретились.

Ср. странное (13'), с презумпцией существования множества незнакомых слов:

(13') **Незнакомые слова* в тексте не встретились.

Для имен объектов с сильной презумпцией существования, в частности, для имен лиц, инсинуации несуществования не возникает. Так, утверждая (14а), говорящий не ставит под сомнение существование Маши. Противопоставление (14а) и (14б) касается только присутствия Маши 'здесь':

(14) а. *Маши* не видно = 'Маши нет в поле зрения и, возможно, ее нет здесь';
б. *Маша* не видна = 'Маши нет в поле зрения, хотя она находится здесь'.

Инсинуации отсутствия обусловлены не семантикой слов или ГК, а самыми общими законами мышления: если мы чего-то не видим (не слышим, не ощущаем) – там, где предполагали увидеть, – мы склонны заключить, что этого нет, поскольку восприятие привычно лежит в основе наших знаний о мире. Инсинуации этого рода имеют прагматическую основу.

Разница между несуществованием и отсутствием стирается, если Субъект сознания является одновременно Посессором X-а. Так, в (8а) деньги перестали существовать, поскольку речь идет о деньгах в личной сфере Посессора; то, что эти деньги существуют в другом месте, нерелевантно. В (15) из отсутствия X-а в Месте (которое получается в силу инсинуации отсутствия) логически следует его несуществование, поскольку представляет интерес только тот "объем" X-а, который мог бы находиться в перцептивном пространстве Посессора; т.е. существование X-а в принципе ограничено рамками личной сферы Посессора:

(15) *Мороза не чувствуется* ⟨здесь⟩ ⊃ 'Мороза нет ⟨здесь⟩' ⊃ 'Мороза нет'.

В работе [Babby 1980: XXII] основной вывод об условиях замены им. падежа на род. формулируется в виде метаязыкового утверждения: род. падеж выражает тот факт, что именная группа находится в сфере действия отрицания. В сущности, это та же формулировка, что у Якобсона и Карцевского: в предложении с родительным субъекта "отрицается само подлежащее", а в предложении с именит. падежом "отрицается не подлежащее, а его деятельность". Эта формулировка неэксплицитна: отрицание –

сентенциональный оператор, и его сферой действия может быть только утверждение. Если под отрицанием подлежащего понимать отрицание с у щ е с т в о в а н и я предмета или ситуации, обозначенных подлежащим, то речь идет о том самом семантическом компоненте, который возникает в экзистенциальной группе как обязательный, а в перцептивной – в качестве инсинуации. Однако, как мы пытались показать, свести семантику ГК к одной экзистенциальности нельзя.

Ниже следует перечень генитивных глаголов – достаточно представительный – в нем более 300 единиц. Широкая продуктивность вынужденных употреблений не оставляет надежды на составление п о л н о г о списка генитивных глаголов (ср. [Guiraud–Weber 1984]), повышая ценность семантических формулировок.

Глаголы даются в форме наст. или прош. времени 3 лица (или среднего рода) ед. числа. Глаголы, составляющие видовую пару, фигурируют как отдельные единицы; так, *останавливаться* может входить в ГК, а *остановиться* – нет, ср. *Иностранных туристов у нас в гостинице еще не останавливалось* и **Иностранных туристов не остановилось*; генитивный глагол *улавливаться* (*Различия не улавливается*) не имеет парного СВ. Если глагол допускает ГК только в пассиве, он и приводится в пассивной форме – сов. и несов. вида. Возвратные глаголы трактуются как словарные единицы, отдельные от мотивирующих невозвратных. Несов. вид возвратного глагола дается только если слово не имеет, помимо возвратного, также и пассивного употребления; например, для *припомнилось, образовалось* парный несов. вид приводится, а для *обнаружилось* – нет, поскольку есть пассивная пара *обнаружено/обнаруживается*.

Список делится на две части. В первую входят слова, для которых возможность вхождения в ГК подтверждена примерами реального употребления в текстах (парный глагол противоположного вида мог быть добавлен, не будучи документирован). Во второй части глаголы с соответствующей семантикой были подобраны по словарю, а допустимость ГК проверялась на информантах:

1) *не белеет* (ли парусов на горизонте); *не блистает* (теперь бриллиантов в ее прическе); *не бывает* (здесь песчаных бурь); *не было, нет* (такой возможности; Иванова в Москве); *не введено/вводится* (ограничений на вывоз валюты); *не ведется* (наблюдений, строительных работ); *не взято* (обязательств); *не виднеется* (ли вдали жилья); *не видно* (деревни); *не внесено/вносится* (ценных предложений); *не водится* (уток в этом пруду; за ним этого греха); *не возбуждается/возбуждено* (дела); *не возникло/возникает* (особых проблем); *не всплыло* (трупов убитых бойцов); *не вспыхивает* (ни искорки); *не встретилось* ("На кладбище не встретилось глазам никого", Сергеев-Ценский); *не выдалось* (ни одного теплого дня); *не выделено/выделяется* (средств на оборудование); *не выкопано* (сточных канав); *не вынесено* (постановления); *не выпало* (осадка; счастливого жребия); *не выписано/выписывается* (даже газет); *не выпущено/выпускается* (книг по лингвистике); *не выработалось/вырабатывается* (привычки); *не выражалось* (тревоги); *не высказывалось* (таких мнений); *не выступило/выступает* (ни капли крови из сосуда); *не вышло* (бы ошибки); *не выявилось* (способностей); *не выяснилось/выясняется* (подробностей); *не дано/дается* (названия); *не держится* (*Слуг в доме не держалось*); *не доносится* (звуков); *не допущено* (грубых промахов) / *не допускается* (ни малейших отступлений); *не досталось/достается* (билетов); *не достигнуто* (договоренности) / *не достигается* (нужного эффекта); *не дошло/доходит* (сведений); *не живет* (знаменитых людей); *не заведено/заводится* (дела); *не завелось* (друзей; мышей; денег); *не задано/задается* (лишних вопросов); *не затевается* (ли новых развлечений); *не заметно* (сдвигов); *не замечается/замечено* (Вани среди присутствующих); *не запечатлелось* (подробностей); *не запланировано/планируется* (палисадника); *не зарегистрировано/регистрировалось* (вспышек); *не звучит* (пышных речей); *не значится* (его в списке; этих расходов в смете); *не идет* (дороги по берегу; о колокольне речи не шло); *не издается* (книг); *не имеется* (возражений); *не исходит* (запаха); *не кроется* (ли подвоха); *не куплено/покупается* (еще муки на зиму); *не лежит* (газет на журнальном столике); *не мелькнуло* (ни искры интереса)/*мелькает*; *не наблюдается* (оживления в экономике); *не набралось/набирается* (тридцати человек); *не набрано* (команды); *не названо/называется* (имен); *не найдено* (желающих); *не накоплено/накапливается* (материалов); *не наложено/накладывается* (запрета); *не наладилось/налаживается* (дружбы); *не намечено/намечается* (поездки); *не написано/пишется* (еще таких романов); *не наступило* (поворота); *не начато/начинается* (строительства); *не нашлось/находится* (*Думаешь, на тебя управы не найдется?*); *не нужно* (его согласия); *не обеспечивается* (точности); *не обнаружено/обнаруживается* (отклонений); *не обнаружилось* (Вани); *не обозначилось* (тенденции); *не образовалось* (корки)/*образуется* (форм пассива); *не обращено/обращается* (достаточного внимания); *не объявилось/объявляется* (добровольцев); *не ожидается* (зарплаты; Вани); *не оказалось*

(препятствий); *не оказано/оказывается* (должного уважения); *не опубликовано/публикуется* (сводок); *не осталось/остается* (сомнений, следов); *не открыто/открывается* (детских учреждений); *не открылось/открывается* (Ни просек ни полян не открывалось за стволами, Трифонов); *не отметилось* (момента в памяти) / *отмечается* (отклонений); *не отпечаталось/отпечатывается* (следов); *не ощущается* (враждебности); *не передалось* (ему отцовских склонностей); *не перепало* (нам любви ни на грош); *не повторится* (такого безобразия); *не подвернулось/подворачивается* (возможности); *не подведено/подводится* (итогов); *не поддерживается* (связей с внешним миром); *не поднято/поднимается* (вопроса); *не поймано* (новых бабочек); *не показалось/показывалось* (изображений на экране); *не полагается* (обуви); *не положено* (тебе халата); *не получилось/получается* (разговора); *не получено* (сведений); *не понадобится* (белья); *не попало* (арбузов в магазин); *не попалось/попадается* (нужного примера); *не последовало* (ответа); *не поставлено/ставится* (вопроса); *не построено/строится* (гаража); *не поступило/поступает* (сведений); *не потрачено/тратится* (денег); *не появилось/появляется* (новых лиц); *не предвидится* (улучшений, конца); *не предоставлено/предоставляется* (общежития); *не предполагается* (затрат); *не предпринято/предпринимается* (попытки); *не представлено* (доказательств); *не представилось/представляется* (случая); *не предстоит* (подлинного выбора); *не предусмотрено/предусматривается* (ограничений на подписку); *не прибавилось/прибавляется* (ума); *не прибыло* (обещанных платформ); *не приведено/приводится* (данных); *не привязывалось* (ко мне никогда такой хвори); *не придается* (значения); *не приложено/прикладывается* (усилий); *не применяется* (удобрений); *не принято/принимается* (решений, мер); *не принято* (у нас таких чаепитий); *не приснилось/снится* (такого успеха и Элвису Пресли); *не пришло* (мне в голову такой мысли)/*приходит*; *не пришло/приходит* (ответа; на нашу станцию таких поездов); *не пробивается* (*Ни одной травинки вокруг него не пробивалось*); *не пробито/пробивается* (туннеля); *не проведено/проводится* (электричества; мероприятий); *не проектируется* (новых самолетов); *не производится* (таких деталей)/*произведено* (подсчетов, вскрытия); *не происходит/произошло* (существенных изменений); *не пролилось* (ни капли крови); *не пролито/проливается* (слез); *не проложено/прокладывается* (новых дорог); *не проникло/проникает* (света); *не прошло* (дня)/*проходит* (там дороги); *не прячется* (ли за печкой тараканов); *не растет* (травы); *не родилось/рождается* (таких смельчаков); *не рождено* (еще на свет такого гения); *не сдано/сдается* (в эксплоатацию новых печей); *не сделано/делается* (поправки на возраст); *не сидит* (галок на заборах); *не сказано/говорится* (нужных слов); *не сквозит* (тревоги); не скитается (Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, Гоголь); *не скрывается* (Между бревнами ⟨...⟩ не скрывалось задумчивых тараканов, Гоголь), примеры из [Арутюнова, Ширяев 1983]; *не случилось/случалось* (неприятностей); *не слышится/послышалось* (привычного шума); *не слышно* (победных труб); *не собрано/собирается* (сплетен); *не соблюдено/соблюдается* (таможенных формальностей); *не содержится* (прямого приглашения); *не создано/создается* (условий); *не состоит* (больных спидом на учете); *не сохранилось/сохраняется* (следов, дома); *не спрашивается* (желания); *не стоит* (подписи на документе; у дороги таких домов); *не существует* (безвыходных положений); *не сформировалось/формируется* (рефлекса); *не сшито/шьется* (мешков); *не таится* (в нем ничего привлекательного); *не требуется* (точности); *не уделено/уделяется* (внимания); *не улавливается* (энтузиазма в голосе); *не упало* (ни одного волоса с ее головы); *не упоминается* (имен); *не усматривается* (даже трещинки); *не установилось* (дружбы)/*устанавливается* (ограничений); *не уцелело* (свидетелей); *не фиксируется/зафиксировано* (колебаний); *не числится* (его по спискам; за ним грехов); *не чувствуется/почувствовалось* (перемен); *неизвестно* (простых решений).

2) *??не бегает* (по двору мальчишек); *??не бежит* (в траве ручейков); *??не блестит* (*В овраге не блестело теперь битого стекла*); *не блуждает* (ли по земле других таких несчастных); *не бродит* (котов по помойкам); *не брошено* (вызова); *не вернулось/возвращается* (обратно никаких писем); *??не ведет* (*Хорошей дороги на ферму не вело*); *не взошло* (нового светила); *не висит* (картин на стенах; игрушек на елке); *не воздвигается/воздвигнуто* (памятника); *не вошло/входит* (*Не входило еще в наш порт таких кораблей*); *не вселилось/вселяется* (новых жильцов); *??не встало* (новых зданий)/*стоит* (на столе кувшина с цветами); *??не вывелось/выводится* (больше утят); *не выглянуло* (из тумана новых вершин); *не выезжало* (ли из подворотни иностранной машины?); *не выходило* (ли подозрительных людей); *не вылезало* (из норки полевых мышей); *не вылилось* (ни капли из бутылки); *??не вынырнуло* (из мглы белых зданий); *не выросло* (даже лебеды); *не вырвалось* (вздоха); *не выскочило* (на экране нужной цифры); *не высовывается* (ли из ящика листа бумаги); *не вытекает* (такого следствия); *не вытекло/вытекает* (ничего из крана); *не выходит* (отсюда никаких путей); *не вьется* (флагов над судами); *не въезжало* (машин через эти ворота; давно новых жильцов); *??не горит* (*Все было по высшему разряду, разве что свечей не горело*); *??не грохотало* (телег по мостовой; водопада); *не гремело* (по этому поводу победных маршей); *не ездило* (машин по улицам); *не желтело* (на ветках яблок); *??не жужжит* (пчел над лугом); *не забежало/забегает* (*Не забегало ли собак на участок?*); *??не завивается* (больше белокурого локона над бровями); *не загорелось/загорается* (почему-то звезд на небе); *??не залезло/залезает* (теперь мальчишек в огород); *не застряло/застревает* (ли в щели горошины); *не звенело* (теперь музыки по ночам); *не зеленело* (бутылок на столе); *не зимует* (теперь у нас птиц); *не капнуло/капает* (ли сюда чего-нибудь); *не краснело* (на ветке яблок); *не кружилось* (хлопьев снега);

не крутилось (в голове ни одной полезной мысли); *не легло* (на стол белоснежной скатерти); *??не лезет* (пены из пивной кружки); *не летает* (по крайней мере самолетов над головой); *не мерцает* (огоньков в тумане); *не мокнет* (привычного белья на веревке); *??не мчится* (машин по улицам); *не нависло/нависает* (угрозы); *не назрело/назревает* (пока новых противоречий); *не настало* (потепления); *не несется* (бешеных воплей из лаборатории); *не ночевало* (таких людей); *не обрушилось* (бы еще более страшных бед)/обрушивается; *??не опустилось/опускается* (вертолетов); *не отделяется/отделилось* (слюны); *не отдыхает* (таких людей в нашем санатории); *не переводится* (детских сказок); *не плавает* (ли чего-нибудь подозрительного поблизости); *??не погрузилось* (желанного троса); *не подходит* (к ферме хороших дорог); *не ползает* (змей по берегу); *не порхает* (бабочек по лугам); *не приехало/приезжает* (туристов на базу); *??не приземлилось/приземляется* (больше парашютистов); *??не присоединилось/присоединяется* (*Хоть бы ко всем его несчастьям не присоединилось болезни*!); *не пристало* (ли какой ниточки к его платью)/*пристает; не причалило/причаливает* (к нашему берегу корабля с алыми парусами); *не пробежало/пробегает* (собак; таких мыслей в голове); *??не провалилось/проваливается* (больше никого в нашу яму); *не проглянуло-/проглядывает* (ли где голой земли); *не проживает* (здесь Ивановых); *не прорвалось/прорывается* (солнечного луча); *не прорезалось* (еще зубов); *не прорисовывается* (знакомых контуров); *не просвечивает* (ли голого тела); *не проскользнуло/проскальзывает* (ни тени иронии); *не проскочило/проскакивает* (даже намека); *не проснулось* (желания); *??не простиралось* (уже широких равнин за оконом); *не проступило/проступает* (знакомых очертаний); *не протекает* (ли там какой-нибудь реки); *не проявилось* (особых талантов); *не прыгает* (больше лягушек по обочине); *не пылает* (костров; прежнего румянца на щеках); *не разбито/разбивается* (лагеря); *не развевается* (флага); *не развелось/разводится* (мух); *не развилось* (дурных наклонностей); *не раздалось* (призывного клича); *??не распустилось* (новых цветков); *??не разразилось* (бы скандала); *??не расходится* (ли кругов по воде); *??не расцвело* (цветов на лугу); *не реализовано/реализуется* (ни одной возможности); *не реализовалось; ??не ревело* (коров на лугу); *??не резвится* (детей на лужайке); *??не решено/решается* (проблем); *??не сбегает* (школьников с лестницы); *??не свалилось* (бы кирпича на голову); *??не сверкает* (звезд); *не светится* (больше надежды в ее глазах); *не сидит* (рыбаков на льду); *не сияет* (на небе звезд); *не скачет* (лягушек по обочине); *не скользит* (лодок по воде); *не скопилось* (ли толпы на площадке) / *скапливается; не следует* (из ваших слов такого вывода); *не служит* (такого в нашем полку); *??не созрело* (еще слив); *не сошло* (на него благодати); *??не сохнет* (белья на веревке); *??не сыпется* (больше муки из мешка); *не течет* (реки под горой); *не толпится* (студентов у ворот); *не торчит* (ли у него ручки из кармана); *не хранится* (документов); *не ходит* (по улицам шумных компаний).

2.4. Генитив vs. номинатив в экзистенциальной группе. Итак, в перцептивной группе ГК и номинатив отчетливо противопоставлены: ГК маркирует присутствие Субъекта сознания, со всеми его инсинуациями, а номинатив отменяет и инсинуации и самого Субъекта. Что же касается экзистенциальных глаголов, то они, как правило, вообще не допускают номинативной конструкции под отрицанием. В самом деле, если из отрицания глагола следует несуществование Х-а, то семантически уместна только ГК. Возможен лишь "экспансивный" им. падеж, когда несуществование Х-а остается невыраженным. Ср. пример из МАС:

(1) Побежал в адресный стол узнать о Тамаре. Но ему сказали, что *такая не значится*.

Имеется, однако, ряд контекстов семантически законного номинатива в отрицательном предложении с генитивным глаголом I группы.

Так, экзистенциальные каузативы, типа *строить, совершать*, в пассивной форме выражают возникновение, т.е. начало существования Х-а. При них им. падеж допустим; он выражает значение з а п л а н и р о в а н н о с т и данного (еще не существующего) Х-а:

(2) а. Гостиницы не было построено;
б. Гостиница не была построена [= 'но была запланирована'].

Ср. недопустимость род. падежа в (3), где субъект имеет "гипотетическое существование" в смысле [Reichenbach 1947: 274]:

(3) а. **Установки* не было введено в действие [ввести в действие можно только установку, которая так или иначе существует];
б. **Заговора* не было раскрыто [чтобы раскрывать заговор, нужно иметь гипотезу о его существовании].

Противопоставлению им. и род. падежа в контексте родового субъекта тоже можно

приписать семантическую значимость; ср. пример из [Guiraud-Weber 1984]: *Даже лебеды не родилось* [нисколько] ≠ *Даже лебеда не родилась.*

Представляет интерес пример (4), где (а) и (б) отчетливо несинонимичны:

(4) а. *Оригинал* этого списка не сохранился.

б. *Оригинала* этого списка не сохранилось.

В (4а) говорящий осуществляет референцию к конкретному предмету, который он имеет в виду независимо от дескрипции. Про оригинал говорится, что он не сохранился, т.е. пропал; а пропажа предмета имеет обязательную презумпцию его существования. Отсюда им. падеж. А в (4б) оригинал определен дескриптивно, т.е. только в его отношении к имеющемуся списку. Такой объект не имеет прошлого, и его отсутствие в перцептивном пространстве Субъекта сознания влечет его несуществование.

В модальной подгруппе экзистенциальный компонент факультативен, и потому возможно противопоставление номинативной конструкции, порождающей презумпцию существования, и генитивной, свободной от презумпций:

(5) а. *Твоя справка* не потребуется; б. *Справки* не потребуется.

(6) а. *Твои советы* мне не нужны; б. Не нужно мне *твоих советов.*

3. Кажущиеся контрпримеры. В работах [Апресян 1985; 1995: 34] отстаивается тезис о том, что генитивные глаголы если и обладают какой-то семантической общностью, то заведомо не достаточной для однозначного предсказания синтаксического поведения. Приводятся примеры семантически близких глаголов, из которых один допускает ГК, а другой нет:

(1) а. Старосты на собрании *не было*;

б. *Старосты на собрании *не присутствовало.*

(2) а. Симптомов болезни *не появилось*; б. *Симптомов болезни *не исчезло.*

(3) а. Перемен в технической политике фирмы еще *не наступило;*

б. *Перемен в технической политике фирмы еще *не началось*;

в. Перемены в технической политике фирмы еще *не начались.*

Наш анализ позволяет дать различному синтаксическому поведению глаголов в этих примерах семантическое объяснение. Глагол *присутствовать* не принадлежит к числу генитивных, поскольку его субъект имеет презумцию существования, которая сохраняется в отрицательном предложении. Глагол *исчезать* не генитивный потому, что его отрицание выражает наличие, а не отсутствие X-а. Глагол *начаться* тоже не генитивный: X *началось* ≈ 'X имеет место сейчас и будет продолжаться в течение времени более долгого, чем уже прошло'; поэтому *начаться* вообще не допускает отрицания, иначе как в ситуации, когда X "запланирован", что требует номинатива (заметим, что в (3в) запланированность X-а подчеркнута словом *еще*).

Представляют интерес глаголы, которые выражают истекающее время – *истечь, миновать, пройти.* Все они являются прочно генитивными, хотя обозначают, казалось бы, исчезновение, а не начало существования:

(4) *Двух недель не прошло; Дня* не проходило без скандала.

Дело в том, что временному отрезку, чтобы он существовал, нужно, чтобы он прошел, а не начался: временной интервал, который не кончился, не начал существовать.

Недопустимость сочетания **Времени не идет* предсказуема: глагол *идти* обозначает не существование, а т е ч е н и е времени. Глагол *идти* не генитивный; даже в переносных употреблениях у него сохраняется динамический ореол: **не идет дождя,* **не идет дыма* (возможно только *не идет речи*).

Один из парадоксальных генитивных глаголов – *существовать.* Казалось бы, его значение – это и есть экзистенциальный компонент в ассертивном статусе; между тем, *существовать* часто имеет при отрицании номинативный субъект. Однако все употребления *существовать* с номинативом семантически мотивированы (мы

пользовались здесь прекрасным материалом, собранным в [Guiraud-Weber 1984: 97–102].

В [Селиверстова 1987] различаются существование в реальном мире и в мире вымысла. Таким же – т.е. отличным от реального мира говорящего – может быть внутренний мир отдельного лица или какой-то другой альтернативный мир, см. (8). В примерах (5)–(8) им. падежом обозначен мир говорящего (в котором X существует), противопоставленный миру Субъекта сознания:

(5) *Для него* не существовал общезаводской распорядок дня (Панова. "Кружилиха");

(6) Дрязги не существуют *для человека*, если только он не захочет их признавать (Тургенев. "Отцы и дети");

(7) Этот реальный мир сейчас не существовал *для нее* (Гладков. "Повесть о детстве");

(8) *В географическом смысле* Малая земля не существует ("Культура и жизнь", 1978);

Актант, выражающий мир несуществования – он выделен в (5)–(8) курсивом, – является в этом случае обязательным, как с точки зрения синтаксиса, так и истинностного значения. Например, (5') не только сомнительно синтаксически, но и явно ложно в ситуации, где (5) было истинно:

(5') Общезаводской распорядок дня не существовал.

Есть другая возможность: им. падеж может противопоставлять несуществование в наст. или будущем существованию того же X-а в прошлом:

(9) Владимир уже не существовал: он умер в Москве накануне вступления французов. (Пушкин. "Метель")

Это особенно ясно в контексте примера (10), где им. падеж означал бы ‘перестать существовать’, а генитив означает полное несуществование:

(10) Я дорого бы отдал, чтобы их [моих поэм] вообще не существовало на свете. (Богословский. "Тургенев")

Действительным семантическим исключением являются слова (II группы) *быть, оказаться, ожидаться* (возможно, также *предвидеться*), *обнаружиться, обнаружено, замечено, заметно, видно, слышно* – они допускают ГК при референтных субъектах, в том числе при именах собственных, см. (12), хотя все остальные генитивные глаголы такого субъекта не допускают, см. (13)–(15):

(11) *Вани* не оказалось (не ожидается, не было, не обнаружено),

(12) а. *Хлеба* не осталось; б. **Ивана* не осталось;

(13) а. Тебе *рыжиков* не попадалось? б. *Тебе *Вани* не попадалось?

(14) а. *Более* простых решений мне неизвестно; б. **Его адреса* мне неизвестно.

Эти слова пока не могут быть заданы иначе как списком, но он невелик. Во фразе *Иванова в списке не значится* "Иванов" – фамилия, а не человек, так что *значится* в список исключений не входит.

Исключением в I группе являются слова *возможно, желательно, допустимо, исключено, обязательно*, которые не допускают генитивного субъекта в контексте, где семантически ощутим экзистенциальный компонент, ср. **Провала не исключено*, **Справки не обязательно*.

4. Контексты, препятствующие употреблению ГК при генитивном глаголе. Все контекстные условия, которые препятствуют ГК, суть условия, которые препятствуют возникновению в семантическом представлении отрицательного предложения с генитивным глаголом компонента ‘X-а нет (в Мире/ в поле зрения Наблюдателя/ в личной сфере Субъекта сознания)’.

Переходность глагола всегда отмечается как категорическое препятствие для ГК [Пешковский 1956, Ицкович 1974]. Этот факт имеет семантическое объяснение: переходный глагол – это обычно глагол действия, и он имеет активный субъект, а ГК требует пассивного – который всего лишь существует или является объектом

восприятия. Кроме того, у глагола действия существование Агенса всегда составляет презумпцию, которая, естественно, не поддается отрицанию.

Есть, правда, аргументы в пользу того, что непереходность работает и как формальный признак. Так, *разбиться* и *потерпеть аварию, произойти* и *иметь место* – это семантически почти одно и то же; однако:

(1) а. Никакого судна там не разбивалось; б. *Никакого судна аварии не потерпело.

(2) а. Аварии не произошло; б. *Аварии не имело места.

Другое препятствие – **одушевленность** субъекта; многие глаголы перцептивной группы в контексте одушевленного субъекта требуют им. падежа, хотя при неодушевленном субъекте допускают ГК:

(3) а. *Деревни* не появилось (вопреки ожиданию);

б. **Пожарной команды не появилось* (надо: *Пожарная команда не появилась*).

Но дело в том, что одушевленный субъект – это активный субъект, и в контексте такого субъекта глагол обычно обозначает действие, ср. [Ицкович 1974, с. 78]: "Возможность употребления род. падежа находится в обратной зависимости от способности сказуемого выражать активное действие". Активный субъект заставляет понять предложение с данным глаголом как высказывание о действии этого субъекта (а не о его наличии/присутствии).

Фраза (4б) понимается как 'друзья ушли', что и исключает генитив:

(4) а. Друзей у нас не осталось; б. *Друзей с нами не осталось.

Что же касается эксистенциальной группы, то здесь вообще преобладают глаголы с неодушевленным субъектом, обозначающие устойчивое положение X-а. Чуть ли не единственный глагол устойчивого положения с одушевленным субъектом – *жить*. Он никогда не обозначает активного действия, и одушевленность его субъекта не служит препятствием для использования ГК:

(5) Знакомых никого в ней не жило (пример из [Guiraud–Weber 1984]).

Одушевленность существенна лишь в том случае, если речь идет о единичных, индивидуализированных объектах. Во мн. числе имена лиц могут уподобляться вещественным именам (mass terms), и одушевленность перестает играть роль (примеры из [Guiraud–Weber 1984]):

(6) Огни реклам погасли, не осталось *ни покупателей, ни продавцов*.

(7) На такой фабрике не осталось бы *работниц*.

О том, что **референтность** субъекта препятствует ГК, уже говорилось – референтный субъект, даже при генитивном глаголе, оформляется номинативом (исключение составляют слова перцептивной группы, упомянутые в разделе 3):

(8) а. *Книги* ⟨подходящей⟩ не нашлось;

б. *Книга* ⟨потерянная⟩ не нашлась.

(9) а. *Знакомых* нам на пляже не встретилось;

б. *Наши знакомые* нам на пляже не встретились.

Ед. число субъекта является препятствием для ГК, поскольку навязывает именной группе предпочтительно референтную интерпретацию:

(10) а. НЕВЕРНО (Принят новый сотрудник) = *Новых сотрудников не принято;*

б. **Нового сотрудника не принято*.

Фраза (10') тоже неправильна, поскольку человек становится сотрудником после того, как он принят:

(10') *Новый сотрудник* не принят.

Напротив, мн. число способствует ГК, поскольку превращает имя индивида в имя массы; тем самым генитив получает партитивное значение и дополнительную семантическую мотивацию. Препятствием для употребления ГК в контексте генитивного глагола может быть **коммуникативная структура** предложения:

(11) а. Разницы не усматривается;

б. *Разницы не усматривается НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ.

(12) а. Уличных звуков сюда не доносится;
б. *Уличных звуков не доносится СКВОЗЬ ДВОЙНЫЕ РАМЫ.
(13) а. Формы ед. числа не существует;
б. *Формы ед. числа не существует ВНЕ ОППОЗИЦИИ ЧИСЕЛ.

В предложениях (11б) – (13б) есть акцентно выделенный модификатор, и отрицается только этот модификатор, а экзистенциально–перцептивный компонент, отрицание которого требуется для ГК, остается неотрицаемым (схожие явления обсуждаются в связи с так наз. definiteness effect в [Szabolcsi 1986, Kiss 1995]. Это дает объяснение примеру (4) из раздела 1, а также примеру из [Апресян 1985, с. 294]:

*Ни одной болезни не протекает БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ.

В [Guiraud–Weber 1984: 105] отмечается невозможность ГК в контексте обстоятельства образа действия:

(14) а. Такой мысли не возникает; б. *Такой мысли не возникает неожиданно (надо: *Такая мысль не возникает неожиданно*).

Наша более общая формулировка обладает, как кажется, большей объяснительной силой.

Глагол может не допускать ГК просто потому, что он вообще не допускает отрицания. Отрицательное высказывание 'не-Р', как заметил еще Б. Рассел, обычно бывает коммуникативно уместно в ситуации, когда есть ожидание, что Р (в частности, когда нарушено некоторое нормальное положение вещей). При глаголе, семантика которого имплицирует случайность, неожиданность наступления события, отрицание звучит странно:

(15) ?Несчастья *не случилось*; ?Беды *не приключилось*.

Контекст вопроса, косвенного вопроса и сослагательного наклонения снимает эту помеху – Р и *не*–Р рассматриваются как равновероятные возможности:

(15') От этого большой беды *не приключится;* пошел узнать, *не случилось* ли несчастья.

Напротив, контекст ожидания Р может сделать возможным отрицание (а как следствие – и ГК) для глагола, вообще говоря неотрицаемого. Так, в (16б) ГК становится уместной, поскольку речь идет о прекращении устойчивого в прошлом состояния, когда раздавались выстрелы (что выражено словом *больше*):

(16) а. ?Выстрелов не раздавалось; б. Выстрелов *больше* не раздавалось.

5. Вынужденные употребления генитивной конструкции. Нам осталось лишь ответить на вопрос об источниках широкого разброса в оценке правильности предложений с ГК разными говорящими. Один источник – это смена языковой нормы, экспансия им. падежа, о которой уже шла речь. Но есть и другой источник – широкая возможность вынужденных употреблений (ср. англ. термин "coerced meaning" в [Nunberg 1992, Pustejovsky 1991]) генитивной конструкции, т.е. употреблений в контексте, "выжимающем" из глагола семантический компонент, нормально у него отсутствующий.

Вынужденное употребление ГК допускают глаголы, нормально не имеющие хорошего отрицания. Так, требуется специальный контекст, чтобы стали уместны отрицания предложений из (1а), со схемой толкования 'Х начал существовать; определенным образом':

(1) а. Разразился скандал, Грянул выстрел; Воцарилась тишина; Открылась гангрена.
б. *Скандала не разразилось, *Выстрела не грянуло; *Тишины не воцарилось; *Гангрены не открылось.

ГК невозможна, но и им. падеж не спасает положения. В семантической структуре предложений из (1а) компонент 'Х существует' находится в сфере действия модификатора, который осмыслен только если Х существует, ср. [Падучева 1996: 244].

Похожий класс составляют глаголы, смысл которых включает, помимо компонентов 'Х находится в Месте' и 'Наблюдатель это видит', модификатор 'Х является таким-то/находится в таком-то состоянии':

(2) Передо мной *простиралась* бескрайняя равнина; Вместо зуба *зияла* дыра.

Развеваются флаги; На его груди *блистали* звезды.

И здесь модификатор служит помехой для отрицания независимо от падежа субъекта:

(3) *Флаги *не развеваются;* *Звезды *не блистали*.

Отрицание глагола с модифицирующим компонентом, а следовательно и ГК, становится возможными, если модификатор попадает, вместе со всей ситуацией Р, в модальную рамку ожидания (это явление описано в [Богуславский 1975: 32] – ожидание того, что если ситуация Р будет иметь место, то в данной модификации соединяет генитивный компонент с модификатором в единую пропозицию, способную отрицаться:

(4) *Ожидаемого скандала* не разразилось; *Звезд* на его груди уже не блистало.

Вынужденным здесь является отрицание; контекст для ГК создается в отрицательном предложении беспрепятственно.

Другой пример вынужденного употребления ГК. Глаголы *стоять, висеть, сидеть* при целеполагающем субъекте обозначают деятельность, и ГК невозможна. Однако они могут переосмысляться и, в контексте множественного субъекта, обозначать привычное для наблюдателя устойчивое положение Х-а. Это дает им возможность окказионально вступать в ГК:

(5) У школы не стояло детей (ср. *У реки не стояло домов*);

(6) На заборах не висело мальчишек (ср. *На стенах не висело ковров*).

К тому же представить ситуацию Р как устойчивое состояние, длившееся на продолжительном интервале, предшествующем наст. моменту, значит создать контекст ожидания Р (*не висело мальчишек* = 'вопреки обыкновению'), оправдывающий отрицание.

Аналогично для большой группы глаголов, обозначающих движение – *бегать, блуждать, крутиться, кружиться, лезть, мчаться, плавать, ползать, проскальзывать, проскакивать, прыгать* и др.; они легко допускают контекстное примысливание Наблюдателя, что приравнивает их к генитивным глаголам перцептивной группы. Так, в примере (7) из [Арутюнова, Ширяев 1983] употребление ГК вынужденное:

(7) Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов (Гоголь).

Генитивный компонент в предложениях типа (7) не входит в толкование (т.е. в семантическое разложение) глагола, хотя и может быть выведен из него в качестве следствия: 'скитались/скрывались' – значит 'находились'. Допустимость ГК в таком контексте оценивается говорящими по-разному. Так, предложения (8), (9), где происходит семантическое выветривание глагола под действием Локатива (который семантически – не что иное как имя места, производное от этого глагола), как будто, более удовлетворительны, чем (10), (11):

(8) Таких у нас на предприятии *не работает*.

(9) Таких людей у нас в санатории еще *не отдыхало*.

(10) Свечи на столе *не горело*.

(11) *Не прыгало* лягушек по обочине.

Характерный пример вынужденного употребления ГК – клишированные шутки: *Вас здесь не стояло* (*не сидело*). Генитив переводит действие целеполагающего субъекта – *стоять* (*сидеть*) – в наблюдаемое местонахождение; на первый план выходит Наблюдатель, а Х предстает как неодушевленный предмет, что и придает высказыванию его уничижительный смысл.

Семантический компонент, обосновывающий ГК, может порождаться не за счет насилия над значением глагола, как в примерах (5)–(10), а за счет структуры субъектной группы. В [Апресян 1985] отмечено, что частица *ни*, как сама по себе, так и в сочетаниях – *ни один, никакой, ни единый, ни малейший* и под. – может оказывать

"возмущающее" влияние на состав класса генитивных глаголов. В самом деле, при наличии *ни один* ГК употребляется в контексте глаголов разрушения, нанесения ущерба и прекращения существования:

не разрушено (ни одного дома); *не разбито* (ни одной тарелки).

Дело осложняется тем, что *ни* в разных сочетаниях дает разные наборы генитивных глаголов, которые все отличны от основного. Коротко остановимся на *никакой* и *ничто*.

Кванторное прилагательное *никакой*, присоединяясь к референтной группе, может отменять презумпцию существования, связанную с этой группой, и выражать "глобальное" отрицание, когда говорящий не только отвергает рему предложения, но и подвергает сомнению существование его темы, см. примеры (4), (5) из раздела 1. Отсюда возможность ГК за пределами генитивного класса. Выражая речевой акт эмфатического несогласия с собеседником *никакой* отменяет презумпцию существования и в им. падеже, ср. диалог:

(11) – Произойдет катастрофа! – *Никакая катастрофа* не произойдет.

Если воздействие, оказываемое на ГК словом *никакой*, предсказывается из его лексической семантики, то поведение *ничего* семантически необъяснимо – *ничего* может быть субъектом при многих совсем не генитивных глаголах, например, *кончиться, измениться, перемениться, выясниться, болеть, интересовать, чудиться; кончено, забыто, спрятано, начато* и др.:

(12) а. *Ничего* не кончилось; б. **Войны* не кончилось.

(13) а *Ничего* не болит; б. **Головы* не болит.

Ничего может нарушать даже непреложный для всех остальных слов закон о несовместимости ГК с переходностью, пример из [Guiraud-Weber 1984]:

(14) Его *ничего* не интересует.

Экспансия *ничего* объясняется исторически. Поскольку слово *ничего* употребляется только в отрицательном контексте, у него в значении вин. падежа почти всегда выступает родительный (*Я ничего не вижу*), и это положение закрепилось в парадигме. С другой стороны, для русского языка на протяжении всей его истории актуально правило о том, что у слов среднего рода им. падеж совпадает с вин. В результате, *ничего* приобрело, особенно в разговорном языке, функцию не только вин., но и им. падежа, что и объясняют примеры (12) – (14)[10].

* * *

Итак, мы можем заключить, что проблема лексических границ ГК – это, в значительной мере, проблема выявления класса глаголов, лексическое значение которых включает (или хотя бы не исключает) утверждение существования субъекта или присутствие в ситуации Наблюдателя.

Наш анализ позволяет, в конечном счете, вывести смысл генитивной конструкции из смысла ее частей: и безличность и род. падеж ущемляют в правах синтаксический субъект, который либо нереферентен, либо оттирается на задний план вторгшимся в ситуацию Наблюдателем. Трактовка, предложенная для пассивных форм (пример (6) в разделе 2.2), обнаруживает частичное семантическое сходство субъектного генитива с объектным, ср. [Timberlake 1975].

Принадлежность к генитивному классу можно вывести из семантических свойств глагола, которые должны быть фиксированы в его словарном описании даже и независимо от проблемы ГК. В русском языке, где генитивная конструкция в ряде контекстов грамматически обязательна, наличие генитивного компонента в толковании слова (или, в случае вынужденого употребления, совместимость с этим компо-

---

[10] Это морфологическое решение предложил А.А. Зализняк.

нентом) должно быть отмечено, если мы хотим достичь интерактивности словаря и грамматики. Но и для других языков "генитивный" класс не может не быть семантически релевантным (ср., например, данные о венгерском языке в Kiss 1995)[11].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1985 – Семантические признаки лексем // Russian linguistics, 1985, v. 9, N 2–3.

Апресян Ю.Д. 1980 – Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "Смысл ⇔ Текст". Wien, 1980.

Апресян Ю.Д. 1986 – Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика, Вып. 28, М., 1986.

Апресян Ю.Д. 1995 – Новый объяснительный словарь синонимов: концепция и типы информации // Новый объяснительный словарь синонимов. Проспект. М.: 1995.

Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н. 1993 – Русское предложение. Бытийный тип. М., 1993.

Богуславский И.М. 1985 – Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.

Ицкович В.А. 1974 – Очерки синтаксической нормы // Синтаксис и норма. М., 1974, с. 43–106.

Кустова Г.И. 1996 – О коммуникативной структуре предложений с событийным каузатором // Московский лингвистический журнал, т. 2, 1996.

Падучева Е.В. 1992 – О семантическом подходе к синтаксису и генитивном субъекте глагола *быть* // Russian Linguistics. V. 16, 1992.

Падучева Е.В. 1996 – Семантические исследования. М., 1996.

Пешковский А.М. 1956 – Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.

Селиверстова О.Н. 1977 – Семантический анализ экзистенциальных и посессивных конструкций в английском языке // Категории бытия и обладания в языке. М. 1977.

Babby L. 1980 – Existential sentences and negation in Russian. Ann Arbor. 1980.

Guiraud-Weber M. 1984 – Les propositions sans nominatif en russe moderne. Paris, 1984.

Kiss É.K. 1995 – Definiteness effect revisited. // I. Kenesei (ed.) Levels and structures. Szeged, 1995.

Nunberg G., Zaenen A. 1992 – Systematic polysemy in lexicology and lexicography // Euralex' 1992, P. II, 1992.

Paducheva E.V. Definiteness effect: the case of Russian (in print)

Pustejovsky J. 1991 – "The generative lexicon" // Computational linguistics. V. 17, 1991.

Reichenbach H. 1947 – Elements of symbolic logic. N.Y.: 1947.

Szabolcsi A. 1986 – From the definiteness effect to lexical integrity // W. Abraham, S. de Meij (eds.) Topic, focus and configurationality. Amsterdam, 1986.

Timberlake A. 1975 – Hierarchies in the genitive of negation // Slavic and East–European journal. 1975. V. 19. N 2.

Wierzbicka 1980 – Wierzbicka A. Lingua mentalis. Sydney, 1980.

---

[11] Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект N 95–06–17044. Автор благодарен А.А. Соловьевой, Г.И. Кустовой, Т.Е. Янко, Р.И. Розиной за помощь в работе на разных ее этапах; Т.В. Булыгиной за внимательное прочтение текста, позволившее своевременно выявить ряд погрешностей; Барбаре Парти за интерес к работе и поддержку; участникам семинара в Институте проблем передачи информации под руководством Ю.Д. Апресяна за заинтересованное обсуждение работы, а также и самому Ю.Д. Апресяну за критику, которую пока, к сожалению, не удалось учесть в полной мере.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. О.А. ЛАПТЕВА

К ФОРМАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УСТНО-РАЗГОВОРНОГО СИНТАКСИСА

I. Нормативность произносимой в разных ситуациях речи (и бытовой, и официальной, и частной, и публичной) наиболее очевидным образом определяется употребленной языковой формой. Форма присуща любой языковой единице – от фонемы до текста. Она создается звуковым обликом языковой единицы (в письменном виде обозначенным свойственными письменному тексту средствами) и выражает различительную способность языкового знака. Формальный облик языкового элемента или языковой структуры (предложения, словосочетания, слова, морфемы) вместе с его значением (функцией) и его парадигматическими и синтагматическими связями с другими элементами (структурами) парадигмы или речевой цепи служит маркером его принадлежности к литературному языку, просторечию или территориальному диалекту, а в пределах литературного языка – к кодифицированному или некодифицированному его типу.

В последние десятилетия наблюдается энергичное и экспансивное развитие функциональной лингвистики, которая представляет собой сложный конгломерат дисциплин разного рода, порой весьма отдаленных друг от друга (назовем семантику, прагматику, описание языковой картины мира, теорию коммуникации, теорию литературного языка в его функциональных разновидностях, теорию текста, функционально-семантические описания синтаксиса, а также результаты обобщения практики преподавания русского языка как иностранного). Лингвисты этих направлений часто исходят из некоей хотя и не во всех случаях прямо эксплицируемой, но достаточно определенной предпосылки, касающейся формального плана языка. Ее можно было бы обозначить как отнесение формальных исследований к уже пройденному лингвистикой и, в частности, русистикой, условно говоря, "поржезинско-фортунатовско-петерсоновскому" этапу развития сравнительно-исторической фонетики и грамматики индоевропейских языков (в том числе русского, вспомним упреки в формализме, раздававшиеся в 40–50-х гг. в адрес М.Н. Петерсона), который себя уже исчерпал. На смену ему неминуемо приходит функциональная лингвистика, которую и следует считать единственно современной и даже более того – лингвистикой будущего века (такая мысль в той или иной форме звучала на прошедших трех международных конференциях – "Грамматические уроки XX века", "Виноградовские чтения-95" и "Лингвистика на исходе XX века").

Но ведь изначально в любом методе описания языка значение формы – например, рода, числа, падежа – учитывалось всегда и обязательно. Собственно формального описания языка не существовало – оно всегда в соответствии с коммуникативным предназначением языка было нацелено на выявление значения языковой формы. В литературе последних лет на это уже обращалось внимание [Золотова 1988: 5; Зиндер, Касевич 1989: 29]. Не идет ли общая схема нынешнего развития лингвистической мысли вразрез с сущностными свойствами языковых единиц и языковой системы?

Формально-функциональное описание языковой системы любого уровня может по-

ниматься как нахождение формально-языковых оппозиций и позиций нейтрализации различительных признаков, участвующих в образовании оппозиций. Оппозиции различают некоторое значение (функцию) и могут быть привативными, эквиполентными и – реже – градуальными. Без них нет языковой системы (структуры). Поэтому принадлежность языкового элемента к тому или иному уровню – не только фонологическому – языковой системы не должна служить препятствием для его участия в образовании оппозиций (ср. [Бондарко 1996: 7] со ссылкой на Р. Якобсона).

Здесь мы хотели бы подвести некоторый итог более чем двадцатилетнему изучению русского разговорного синтаксиса, поставив перед собой цель взглянуть на него с точки зрения возможностей выявления основных линий оппозиционных соответствий и тем самым попытаться формализовать его описание (о языковых механизмах, действующих в нем, нам уже приходилось говорить [Лаптева 1980]).

Такое формально-функциональное описание могло бы означать: а) нахождение формальных признаков, лежащих в основе синтаксических оппозиций; упорядочение и классификацию этих признаков; в) построение системы оппозиций; г) выявление позиций нейтрализации; д) определение характера функции различительных признаков.

Такая постановка задачи затрагивает и вопрос о типах литературной нормы. Ее две основных разновидности (кодифицированная и некодифицированная) предполагают и дальнейшее внутреннее членение (первая – книжно-письменная и общелитературная, вторая – устно-литературная и устно-разговорная [Лаптева 1990]). Функция отнесения явления к тому или иному типу нормы может принадлежать различительному признаку (СРУНР I, II, III, 1985, 1994, 1995). Этот вопрос принципиально важен для культурно-речевых дисциплин, что первым заметил Д.Э. Розенталь.

II. Бинарное разграничение шести устно-разговорных синтаксических типизированных конструкций по принципу избыточности (с именительным темы, добавления, вопрос с дополнительной фазовой границей) или экономии формально-грамматических средств (бессоюзного подчинения, наложения, двупредикативные построения с *кто*; номенклатуру и описание см. [Лаптева 1976]) может быть уточнено введением формального признака расщепления в высказывании глагола (удвоение или усиление) и имени (удвоение), который является принадлежностью разговорного синтаксиса и противопоставлен отсутствию такого расщепления в кодифицированном синтаксисе[1]. Это разграничение накладывается на первое и вместе с ним образует более сложную, однако и более четко и оппозиционально организованную систему. Расщепление свойственно не только конструкциям, построенным по принципу избыточности, но и некоторым конструкциям, построенным по принципу экономии.

В "количественном" отношении расщепление глагола оказывается сильнее расщепления имени: оно свойственно четырем конструкциям (бессоюзного подчинения, наложения, с *кто*, с дополнительной фазовой границей), тогда как расщепление имени – двум (с именительным темы и добавления). Однако картина сложнее, так как расщепление глагола проникает и в конструкции с именительным темы. Охватывает оно и описанные Л.А. Капанадзе глагольные номинации [Капанадзе 1973].

Кроме названных типизированных конструкций, оно охватывает более широкую область организации устно-речевого потока, членящегося на сегменты, которые стремятся включить в свой состав глагол. Глагольная экспансия простирается за пределы разговорной речи вплоть до письменной кодифицированной, и можно констатировать, что в устной литературной речи и изобразительно-описательных регистрах письменного литературного языка (но не в информативных – термины Г.А. Золотовой) широко распространено явление глагольного распространения выска-

---

[1] Существование "лекторского именительного" (термин А.М. Пешковского) не противоречит этому утверждению, поскольку эта конструкция восходит к устно-разговорному синтаксису.

зывания (или – добавления уточняющей глагольной группы). Расщеплением глагола являются и описанные Н.Ю. Шведовой двойные глаголы [Шведова 1960], которые свойственны этим же сферам русского литературного языка.

Думается, что членение русского литературного языка на две бинарно противопоставленные зоны (устно-разговорная речь и книжно-письменная речь), разделенные промежуточной, переходной зоной сгущения общелитературных языковых средств (изобразительно-описательная художественная и газетная речь), во многом определяется тем, допускается ли в них глагольное расщепление.

Глагольность устно-разговорной речи замечена давно (в функциональной стилистике говорят о ее "глагольном строе") как ее отличие от письменной научной речи (которой свойствен "именной строй"). Весь вопрос в том, что указание на частотность глаголов в устно-разговорной речи ("много глаголов") нуждается в структурном анализе.

Наблюдаются различные возможности структуризации этого явления, прямо определяющие допущение или недопущение его в кодифицированное нормативное речеупотребление. Ступени глагольной структуризации можно расположить по линии нарастания устно-разговорной специфики и типизации формальных признаков конструкций. Таких ступеней условно мы насчитали девять. Первые четыре – принадлежность узуальной устно-разговорной (или, шире, устно-литературной) и одновременно кодифицированной литературной нормы. От пятой до девятой – принадлежность только первой, устно-разговорной, нормы и отчасти – устно-литературной, но не кодифицированной.

1. Насыщение глаголами коротких сегментов. В высказывании возникает дополнительный предикативный центр (центры), субъект которого может быть тем же, что и в первом центре, а может быть и другим. Возникающее при этом различие между простым и сложным предложением, принципиальное для кодифицированного типа литературного языка, для устно-разговорной речи оказывается несущественным.

А. Кодифицированная норма. Светлана Алексиевич в "Известиях" (3 авг. 95) приводит трагический рассказ женщины, передавая его письменными средствами: "Мне это нельзя вспоминать, плакать. Я ребеночка жду. Но я вам расскажу... Заходят днем в автобус с проверкой паспортов... Обычные люди, только с автоматами. Посмотрят документы и выталкивают из автобуса мужчин... И тут же, возле дверей... Стреляют... Даже не ведут их далеко... Я никогда бы сама не поверила. А я это видела... Видела, как вывели двух мужчин, один совсем молодой, красивый, он им что-то кричал. По-таджикски, по-русски... Он им кричал, что у него жена недавно родила, что у него трое маленьких детей дома. А они только смеялись, тоже молодые, совсем молодые. Обычные люди, только с автоматами. Он упал... Он им кроссовки целовал... Все молчали, весь автобус. Только отъехали: та-та-та..."

Б. Узуальная устно-литературная норма. *Я бы хотел здесь рассказать один вопрос /осветить/ остановиться на одном вопросе* (ТВ "Время" инт. с Б. Гидасповым); *Ну и теперь / если кто смотрел нашу передачу / сначала мы намеренно построили ее по-разному / вы заметили / что там был калейдоскоп лиц / а другая половина была по традиционному типу / мы пробовали разные стили / и надо выбрать что нам больше нравится* / а главное что ва́м больше нравится звоните нам (ТВ "Зеркало" ведущая). В подобных высказываниях представлены устно-литературные аналоги простого и сложного кодифицированного предложения.

Нетрудно заметить известные различия в А и Б, но это предмет отдельного разговора. Бывают и случаи полной нейтрализации (совпадения) обеих норм: И бросили этот бульдозер на один год / это в 67-м году сделали / и набралась вода (ТВ "Сельский час" рассказ директора конного завода – примеры ТВ из [Лаптева 1990]).

2. Глагольное распространение высказывания. Здесь ожидается окончание высказывания перед глагольным распространением, но оно не оправдывается.

А. Кодифицированная норма. «Две тысячи серий "Санта-Барбары" на той или иной стадии идут в 35 странах, кое-где он побывал в ранге "Мэйсона", но нигде не встречал такого безумного ритуального восторга, как в наших краях, разве что в Турции (ожидается точка, но высказывание продолжается – *О.Л.*) было нечто приближающееся по масштабам исступленного всенародного обожания.» (Изв. 8 авг. 95); "На полуострове всего около 10 общеизвестных секс-притонов, а также многочисленная сеть особо дорогих проституток (по экспертным оценкам, всего несколько десятков) (здесь ожидается точка – *О.Л.*) обслуживает многократно проверенную и постоянную клиентуру." (там же).

Б. Узуальная устно-литературная норма. *Таких комплексов у нас порядка двена́дцати сейчас сооружается* (радиоинтервью. Последние два слова добавлены дополнительно); *Нам ещё нужно будет собраться может быть даже в более организованной фо́рме мы соберемся* (на заседании оргкомитета. Последние два слова добавлены).

Различия между А и Б несущественны, возможно, здесь обе нормы нейтрализуются. И в А, и в Б в высказывании есть общий член нефиксированного синтаксического значения, относящийся одновременно и к основному предикату, и к глагольному распространителю.

3. Двойные глаголы. Они неоднократно описаны в литературе как разговорные явления в художественном тексте (Шведова 1960). Это случаи типа *сидит думает, ходит смотрит, отдыхает лежит, отвлекает ходит*, где структуризация налицо – у глаголов совпадают формы времени, наклонения, лица (или рода), числа, вида (обычно – несовершенного), один из глаголов имеет значение пребывания в состоянии, структура односубъектная. Таков тип А – кодифицированная норма. Здесь она совпадает с общелитературной и потому свойственна и разговорной речи, где, кроме специфически разговорных, всегда много и общелитературных явлений. Если же названные признаки структуризации меняются (*прислонился стоит, задумался молчит*), тип А переходит в Б, возникает узуальная устно-литературная норма.

Тип А очень широко употребляется в устной литературной речи. Разговорная речь: – *А где полотенце? – А оно сохнет висит; – Это вы зайдете в процедурный сделаете; Я все время ходила вот так вот держалась; Я помню мы как-то возвращались закоченели.* Телевизионная речь: *Вот мы в детстве сидели учились* ("Пятое колесо"); *У нас был урок пения. Ну мы, конечно, озорова́ли сидели* ("До 16 и старше"); *в то время как все наши ездили на фабрику, я сидела смотрела фильмы* ("Кинопанорама", говорит актриса); *Вот щас занимался наблюдал здесь* (телерепортаж из космоса). Разницы между разговорной и публичной речью здесь нет.

В типе Б глаголы, как и в типе А, могут быть расположены контактно, но из-за полного или частичного несовпадения названных признаков возникает близкая к отношениям подчинения разновременность действия: *Ну мы там в садике сели подумали / куда же мы пойдем устроимся в гостиницу* [Ширяев 1986: 129]; *Он приедет расскажет о конференции* (там же); *Зинка, говорят, плачет приходит; вчера вся вспотела пришла; У меня была личная карточка, ну мне просто ее не вернули взяли.* Этот тип концентрируется в разговорной речи [Лаптева 1976: 287 и сл.].

4. Глагол в обеих частях бессоюзного предложения. Тип А этих конструкций детально описан в академических грамматиках русского языка и специально – Е.Н. Ширяевым [Ширяев 1986]. Как общелитературное явление он употребляется и в разговорной речи.

Охарактеризуем тип Б – узуальую устно-литературную норму, концентрирующуюся в разговорной речи. Здесь есть разные структурные

возможности. В конструкциях типа – *Он спал ты пришел?, – Они тебе говорили они куда́ ездили?* [Лаптева 1976] проявляется структурная близость с явлением насыщения коротких сегментов глаголами (п. 1). Как и эти сегменты, части бессоюзного предложения могут быть и одно-, и разносубъектными, при этом присутствует значение подчинения одной части другой.

Е.Н. Ширяев описывает односубъектные структуры с вклиниванием одной части в другую [Ширяев 1986]: *Никуда я плохо себя чувствую не пойду; Он спать нагулялся вчера рано лег; Поеду работу кончу на юг куда-нибудь* (127–128). Здесь просматривается близость с типом Б двойных глаголов (п. 4). В разносубъектных структурах: *Я жара начинается на дачу уеду; В магазин песку надо сходи пожалуйста; Я у него английский начался помогаю немного* (там же). Конструкции же типа *Я слышал они опять вместе живут; Вы получили записочку / в пять мы собираемся* [Ширяев 1967] по характеру семантических отношений частей принадлежат к изъяснительному типу, а формально близки предложениям типа – *Он спал ты пришел?*

Несмотря на явную разговорную принадлежность всех этих конструкций, их все же можно считать относящимися к более широкой устно-литературной норме, потому что они довольно свободно употребляются в непринужденных рассказах гостей телевидения. Ср.: *Идем в четыре часа магазин закрыт* ("Прожектор перестройки"); *Прихожу туда сидит старший тренер Александр Петрович* ("Сельский час"); *Пришел на ипподром полно народу* ("Вокруг смеха" Юрий Никулин); Или на встрече с писателем Вяч. Кондратьевым: *Вы уйдете никто об этом знать не будет.* Однако в других устно-речевых регистрах (информативное повествование) эти конструкции не употребляются.

Итак, мы представили явление расщепления глагола (усиления глагольности) как принадлежность обеих норм – кодифицированной и устно-литературной. Можно констатировать довольно отчетливое выделение этих типов норм для всех четырех рассмотренных типов построений. Они структурно различны, хотя наблюдаются и случаи совпадения (нейтрализации) этих типов норм, что объясняется свободным употреблением конструкций в разговорной речи.

Перейдем теперь к тем структурам, которые являются специфической принадлежностью узуальной устно-литературной и устно-разговорной нормы и в кодифицированном типе литературного языка не встречаются.

5. Глагол в составе грамматического субъекта. Это явление описано в работе [Лаптева 1980]. Оно представлено конструкциями типа: *На искусствоведении заведует кафедрой я думаю самый способный человек нашего поколения т а к о й е с т ь К.; Ко мне все просился т а к о й е с т ь у н а с В о р о б ь е в; К вам вот тут придет е с т ь т а к о й П.*

Часто такая формула употребляется при перечислении: *Там были мои ровесники, одна женщина, е щ е о д н а т а к а я б ы л а Н и н а; Там был Миша, Люська и т а к о й е с т ь П е т р о в.*

Здесь уже можно увидеть четкие структурные признаки. Глагольный субъект включает в себя бытийный глагол и местоимение *такой.* От глагольного распространителя высказывания такой субъект отличить не всегда просто, ср.: *Там у папы есть карандаш и листок т а м л е ж и т.* С другой стороны, к нему примыкают бессоюзные предложения типа – *А где авоська з д е с ь л е ж а л а?* Нейтрализация этих оппозиций возникает при видоизменении названных структурных признаков.

6. Глагол в составе грамматичесекого объекта. Здесь наблюдается две основных разновидности конструкций с четкими структурными признаками. Первая из них – переходная от 5 к 6.

А. Та же формальная структура, что и в глаголе в составе субъекта, широко употребляется в составе объекта. При этом она одновременно остается и в составе субъекта и поэтому обладает сразу двумя грамматическими связями – со сказуемым

и управляющим глаголом, чего никогда не бывает в кодифицированной литературной грамматике. Это конструкции типа – *Подай вон носки на стуле лежат* или – *Принеси "Новгородскую правду" на столе лежит*, которые формально (и даже лексически) совпадают с конструкцией – *А где авоська здесь лежала?* и при различии грамматических позиций выделенного в примерах члена объединяются общностью строения именного члена.

Формальное совпадение с конструкциями, включающими группу типа *такой есть Петров*, также возможно в позиции объекта, но без местоимения *такой*: *Есть у нас соответственно магнитофонные кабинеты будем монтировать; Я пошел в магазин и набрел в центре там чеканная мастерская есть; Я сейчас возьму там мармелад пластовый есть.*

Именная группа с глаголом одновременно в позиции субъекта и объекта может иметь и более свободное строение: *А пойдет она около нас школа преобразуется в немецкую и она в нее пойдет; Мы были / у нас секретаршей работает молоденькая девушка / и вот у нее подруга.*

Такие конструкции – специфическая принадлежность разговорной нормы. В публичной речи – телевизионной – они встречаются редко. Ср.: *Это конечно очень больша́я область изменений тут можно выявить* (на обсуждении); *Там есть факты явно инсцени́рованные они снимают* (ТВ "Эта Америка"); *Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня на нашем канале много разнообразной информа́ции я получил* ("Подмосковье", вед. А. Львов). В отличие от 9 субъекты здесь разные.

Если пункт 5 можно обозначить моделью *Там был такой домик стоял*, то пункт 6 – *Там был такой домик построили* (примеры из разговорной речи).

Б. Глагол в именной группе может управлять именем в ее составе, а вся группа, в свою очередь, управляться основным глаголом-предикатом предложения: *Мы там смотрели корабль нам показывали; Уже здесь он получил ему присвоили докторскую степень.* Имя, таким образом, управляется сразу двумя глаголами, которые чаще располагаются справа и слева от него. Этого никогда не бывает в кодифицированной грамматике. В публичной речи таких примеров не отмечено. Модель конструкции: – *Там построили такой домик сделали.*

7. Глагол в номинации. Этот материал описан Л.А. Капанадзе [Капанадзе 1973: 438] и представлен случаями типа: *На чем они спят мне не нравится; Поставь из чего пить; Принеси на что положить; Надо подшить на чем пеленки гладить.* Сюда же можно отнести другую конструкцию с четкими структурными признаками – двупредикативную модель с *кто*: – *К столу подойтите кто записывается; – Все вернитесь кто убежал!; – Кто не взял билеты опускайте в кассу; У нас щас, к сожалению, ушла кто бы мог отнести* (см. [Земская 1973: 229–233]).

Структурные различия этих двух типов конструкций сочетаются с явными различиями нормативного плана: если первые – собственно глагольные номинации – специфическая и яркая принадлежность только разговорной нормы, то вторая – с *кто* – довольно свободно употребляется в публичных условиях говорения и в телевизионной речи: *И сейчас, кто более внимательно занимается этим вопросом, я поняла, что такой закон нужен* (на семинаре); *Кто не имеет собак дома сидит* ("600 секунд"); *Первая премия, кто еще не слышал, присуждена...* ("Время" диктор); *Благородная задача каждого моряка-полярника – оказать помощь кто окажется в беде* ("Время" интервью. Редкий для этой конструкции случай ее употребления в позиции объекта).

8. Второй глагол при управлении (и примыкании). Эти конструкции описаны в [Лаптева 1976]. Они похожи на 6Б. Разница в том, что здесь управляемый (или примыкающий) член обязательно располагается между глаголами – поэтому такие конструкции получили название конструкций наложения, – которые образуют два предикативных центра и потому равноправны, хотя есть и материальные совпадения с 6Б, то есть явление омонимии. Это конструкции типа – *Ладно, отдам тебе пешку можешь забирать; А потом ее нашла под шкафом она валялась; – Пойдем спать тебя укладывать буду; Щас я прогребу три яблони мне осталось; – Ты возьми с собой что-нибудь поесть нужно приготовить обязательно; Сидела дома работала.*

Эти конструкции близки и к глагольному распространению, и к двойным глаголам, и к бессоюзным предложениям типа *Ты не видел носок здесь лежал* и вообще проявляют сильную склонность к омонимии с другими конструкциями. Все же у них есть собственный различительный признак – общий член двух предикативных центров обязательно располагается между ними – в середине высказывания. В 2 (особенно А) этот член – по сути квази-общий, т.к. перестает быть общим по завершении высказывания. Грамматические возможности конструкций п. 8 принципиально чужды кодифицированному типу литературного языка. Может быть, поэтому такие структуры никогда не употребляются писателями – даже теми, которые стремятся имитировать разговорную речь.

И тем не менее – парадокс! – эти структуры широко, без видимых ограничений вошли в публичный тип литературной речи. Можно считать, что, первоначально возникнув как принадлежность разговорной речи и ее нормы, они уже стали достоянием нормы устно-литературной. Материал весьма обширен [Лаптева 1990: 467–480]: *Было очень много вопросов задавалось* (на заседании); *у нас была дружная компания / и во дворе / и в школе любили заниматься спортом* ("Время" интервью); *Если даже говорить о Ворóнеже Наталья Ивановна сказала* (на дирекции); *Ведь вы его оперировали во время финской войны́ было дело* (ТВ Моск. Новости интервью); *мы много подготовили кандидатов наук и стажéров у нас было много различных* (на собрании). Можно отметить еще большее усугубление глагольности этих конструкций, особенно в разговорной речи, если общим членом выступает инфинитив, ведь в высказывании тогда возникает сразу три глагола.

9. Второй глагол в составе самого глагольного предиката (расщепление предиката). Мы строили нашу классификацию по принципу нарастания специфически разговорной глагольности и потому отнесли эту ступень на последнее – девятое – место.

А. Схема этих конструкций – "сказуемое + подлежащее + сказуемое" (P + S + P), а модель можно выразить как *Там был такой домик стоял* – происходит омонимия с пунктом 5. Ср.: *У вас был рулон такой лежал около палатки; у нас было партийное собрание состоялось; – А она была отличница в классе считалась?; там например в 1704 году была такая книжечка вышла.*

Обозначенная омонимия все-таки неполная: у конструкций с двуглагольным сказуемым обычно первый глагол – бытийный, второй – полнозначный, в то время как при вхождении глагола в состав субъекта глаголы расположены в обратном порядке, и в формулу входит местоимение *такой*. Субъекты в 6А могут быть разные, в 6Б они разные всегда, а в 9 субъект всегда один и тот же. Что касается двойных глаголов (3), на которые эти конструкции тоже похожи, то для типа 3А характерно контактное расположение глаголов, причем один из них – глагол нахождения в состоянии (не всегда), а для типа 3Б – тоже контактное расположение с разновременностью глаголов.

Б. Возможна и схема "сказуемое + дополнение + сказуемое" (P + Ob + P): *Ну и потом я туда же привлекла Иванова сунула в эту компанию; Еще я тут*

недавно ч и т а л а Бажова п е р е ч и т ы в а л а; и никто на тебя не кричит что ты н е в з я л дорогой заказ н е с д е л а л; Можно с х о д и т ь в Луговую с ъ е з д и т ь; они должны были п р о б и т ь траншею вот такую п р о к о п а т ь не полениться (здесь глагольность еще более усилена третьим инфинитивом). Здесь оба глагола полнозначны, возможен и инфинитив. Модель по форме совпадает с 6Б (*Там построили такой домик сделали*), однако в 6 (глагол в позиции объекта) субъекты обоих глаголов разные, здесь же – один и тот же субъект. От двойных глаголов (3) эта схема отличается тем же, что и предыдущая, от 8 тем, что там односубъектность необязательна.

И опять – парадокс, как и в пункте 8. Несмотря на яркую специфичность и разговорность конструкции и ее формальную определенность, она широко употребляется не только в разговорной, но и в других типах публичной речи – телевизионной, производственной, тем самым выходя за пределы разговорной нормы и вступая в область более широкой нормы – устно-литературной. Тип А: *А недавно с ним б е с е д о в а л и тов. Мурашевский и президент Никонов б ы л и у него* (М.С. Горбачев); *минута в минуту п р о в о д и л и с ь все эти опера́ции п р о и г р ы в а л и с ь в лаборатории* (интервью с космонавтом); *Ко мне п р и х о д и л и матери погибших в Афганистане о б р а щ а л и с ь в редакцию* (на партконференции); *и отсюда и д у т так сказать и наши размышлéния в о з н и к а ю т* (телеинтервью); *Когда пришлось забирать документы / в списке в и с е л а в общем-то такая бумажка б ы л а что происходит набор диспетчеров* ("До 16 и старше" интервью).

Тип Б: *Мы начинаем и с к а т ь такой вариант и такую середину п ы т а е м с я н а й т и* ("Кинопанорама", Марина Неелова); *Я не понимаю, почему бригадир должен ехать на завод и в ы б и в а т ь панели буквально друг у дру́га в ы р ы в а т ь?* ("Время" интервью); *Это значит, что мы можем и г р а т ь не только драматические произведения с т а в и т ь на нашей сцене* ("Взгляд", Вас. Ливанов).

Итак, здесь были сгруппированы конструкции с повышенной глагольностью (формальным усилением предикативности). На основании предложенного обзора охарактеризуем эту группу в целом в формально-функциональном и нормативном планах.

1. Группа имеет четкую структуру одновременно по двум линиям. Первая – нарастание от 1-й ступени к 9-й формально-структурной разговорной специфики и уход от возможностей кодифицированной нормы. Чем больше разговорная специфика, тем больше различительная сила дифференциального признака, образующего оппозицию "кодифицированность–разговорность". В этой группе формально-структурные дифференциальные признаки еще слабо противопоставлены признакам, узаконенным кодифицированной нормой. В типе Б первая группа ступеней еще сохраняет связь с кодифицированной нормой, а тип А полностью ей принадлежит. Вторая линия – это усиление глагольности (предикативности) высказывания. Структурные признаки конструкций достаточно четкие. Это:

однородность или разнородность грамматических признаков глагольного действия;

наличие или отсутствие бытийного глагола;

одновременность или разновременность глагольного действия;

наличие или отсутствие глагола пребывания в состоянии;

контактность или дистантность глаголов;

наличие или отсутствие в высказывании определенной синтаксической конструкции (например, перечисления);

наличие или отсутствие общего члена двух частей высказывания;

моно- или дву-(поли-)субъектность высказывания;

наличие или отсутствие синтаксической подчиненности одной глагольной части другой;

вхождение глагола в группу субъекта или объекта.

Возникающие по этим признакам оппозиции являются привативными или экви-

полентными, причем они формируются по некоторому числу признаков – от одного до *n*. Оппозиции по отношению друг к другу не находятся во взаимоисключающих отношениях – так же, как это происходит в фонологии (оппозиция по твердости–мягкости не исключает оппозицию по глухости–звонкости). Однако в отличие от фонологических оппозиций они образуются признаками, способными нести не одно, а более значений (в этом случае – грамматических), то есть по самой своей природе склонными к нейтрализации и омонимии. Сами признаки в условиях текстовой (речевой) последовательности могут сглаживаться, нейтрализовываться и совпадать. Поэтому основная эквиполентно-оппозиционная, подлинно бинарная линия в принципе организации разговорного высказывания проходит между способами у с и л е н и я (расщепления) г л а г о л а и у с и л е н и я (расщепления) и м е н и (см. III).

Группа разделяется на две части (1–4 и 5–9). В 1 и 2 второй глагол употребляется по принципу добавления его к основной части высказывания с первым глаголом. В 3–9 второй глагол входит в состав основных строевых элементов грамматической схемы предложения (высказывания). В переходных 3 и 4 еще есть кодифицированный тип А. Поэтому, имея в виду обе линии – нормативную и структурную, точнее было бы для первой выделять части 1–4 и 5–9, а для второй – 1–2 и 3–9.

2. Плавность шкалы нарастания признаков разговорности и усиления глагольности в выделенных ступенях обусловливает наличие пересечения и совпадения признаков в разных ступенях и отсюда – возникающую формальную омонимию (полную или частичную). Так, в ряде формальных воплощений 4 = 1, 2, 5; 8 = 2Б, 3Б, 4А, 6Б; 9 = 3, 5, 6Б, 8. Это не означает, что ступени не различаются, потому что каждая имеет только ей свойственный признак (4 – разносубъектность, 3 – контактность глаголов, 8 – срединное расположение общего члена, 9 – односубъектность и др.). Омонимия же, которую можно рассматривать как случай (позицию) нейтрализации признаков разных ступеней, возникает не в типичных для них случаях, но при отступлении в их строении в сторону большей свободы устройства. Такие отступления характерны для речевой стихии.

С другой стороны, если говорить не о ступенях возрастания глагольности, а о типизированных синтаксических моделях разговорной речи, то в самой их природе уже принципиально заложена возможность омонимических совпадений [Лаптева 1976: 136, 348 и сл.; Ширяев 1986: 127], а в широко омонимичной модели наложения возникает и дополнительная омонимия, связанная с членением высказывания на синтаксические группы.

И тем не менее разговорной речи с ее автоматизмом в высшей степени свойственно стремление к формальной определенности и жесткости, которое мирно уживается с сильной омонимичностью (алогичность, противоречивость русского языка и тем более живой речи часто отмечается иностранными преподавателями русского языка).

3. Если обратиться к характеру нормативности ступеней, то здесь обнаруживается 3 типа явлений: 1) свойственные литературной норме в целом (кодифицированной и устно-литературной), т.е. норме общелитературной; 2) свойственные изначально устно-разговорной узуальной норме и из нее вошедшие в норму узуальную устно-литературную; 3) свойственные только устно-разговорной норме. В наших ступенях пункты 8 и 9 и конструкции с *кто* пункта 7 несмотря на яркую разговорную специфику, наличие четких структурных признаков и даже типизированность широко выходят за пределы собственно разговорной нормы, которая стремится к проникновению в публичную речь.

С позиций культурно-речевого аспекта рекомендованы к устному употреблению в публичном говорении могут быть 1 и 2 типы нормы, но не 3. Это значит, что рекомендуются пункты 1–4 А и Б, частично 7 (с *кто*), 8 и 9. Пункты типа А могут быть рекомендованы потому, что и в устно-разговорной, и в устно-литературной речи широко употребляются общелитературные конструкции, лишенные книжно-письменной специфики.

Думается, что такая система норм отражает членение русского литературного

языка на три зоны – специфические и взаимно противопоставленные области устно-разговорной и книжно-письменной речи и зону срединную, охватывающую публицистическую речь (частично), художественную речь и речь публичного устного говорения (на разные темы и в разных условиях).

III. Результат расщепления имени на два центра – это имя существительное (или местоимение) и его местоименный коррелят (или коррелят-существительное). Это явление подробно описано под названием "конструкции с именительным темы" и "конструкции добавления" [Лаптева 1976]. Можно обобщить это описание по линии выделения и взаимодействия различительных признаков этих конструкций. Признаки эти четкие, их оппозиции очень определенные. В отличие от конструкций, образующих ступени глагольности (II), конструкции с расщеплением имени не вступают в омонимические отношения между собой, но только – с некоторыми типами общелитературных конструкций (отношения неполной омонимии).

Поэтому при их представлении можно, отвлекаясь от текучей стихии устно-разговорного употребления, схематизировать материал путем представления вариаций исходной конструкции, которые и образуют основные возможные формальные типы. Реальный речевой материал мы предложим в тех случаях, когда нужно будет представить функционирование некоторых из этих типов в публичной речи. С разговорным же материалом, уже подробно описанным, для наглядности свойств модели мы поступим там же, как в разделе II с конструкцией *Там был такой домик стоял.*

Формальные типы при расщеплении имени существительного образуются варьированием следующих признаков:

1) Пространный состав группы именительного свойствен всем разговорным типам конструкций и отличает их от просторечного и не рекомендуемого нормой (и общелитературной, и устно-литературной) варианта *Пушкин он родился в 1799 году.* Характер же распространения группы именительного различает собственно разговорные и устно-литературные конструкции, то есть влияет на сферу распространения варианта (придаточное с *который* и причастный оборот в составе группы характеризует публичную речь).

2) Падеж местоименного коррелята и соответственно двусубъектность и односубъектность конструкции различает в выделяемых ниже 4-х основных типах попарно четные и нечетные – в четных косвенный падеж и двусубъектность, в нечетных – именительный и односубъектность.

3) Наличие или отсутствие бытийного глагола (или глагола состояния) в группе именительного различает типы 1 и 2 (без глагола) и типы 3 и 4 (с глаголом). Как видим, глагол охватывает и область доминирования признака именного расщепления. Принцип усиления глагольности оказывается более экспансивным и универсальным, чем принцип усиления имени. Появление глагола создает частичную омонимию с общелитературными сложносочиненными предложениями или соединением двух простых предложений (типа *В одном царстве, в одном государстве жил-был царь, он был добрый* или *В одном царстве, в одном государстве жил-был царь. Он был добрый*). Частичность омонимии определяется характером отношения двух частей высказывания: в общелитературном сложно-сочиненном предложении или соединении двух простых они обладают равноправной и равноценной предикативностью, а в конструкции с расщеплением имени-субъекта они являются частями единого высказывания и объединяются в его составе единой предикацией, выражающейся глаголом второй части высказывания и относящейся к обозначенному группой именительного субъекту. Бытийный же глагол первой части является актуализатором общей глагольности. Еще одним важным структурным различием общелитературной и разговорной конструкции является то, что такой глагол не может иметь распространителей – в отличие от первой части сложносочиненного предложения или первого предложения в последовательности из двух простых. Усиление формальной глагольности в группе именительного сопровождается ослаблением глагольной

семантики – обозначен лишь признак существования в настоящем или прошедшем (чаще) времени.

4) Интонационная завершенность группы именительного, аналогичная точке на письме, возможна при распространении группы именительного придаточного с *который*, что увеличивает протяженность группы во времени и усиливает вероятность появления ИК-I. Однако в этом случае даже не возникает омонимии с общелитературной конструкцией, это всего лишь усиление актуализации субъекта высказывания, и без того актуализированного расщеплением и пространным составом. Группа именительного, несмотря на наличие придаточного, не получает предикации без второй части высказывания. Этот признак различает две вариации в пределах типов 3 и 4.

Теперь дадим список самих конструкций.

1А. *Такой вот большой дом, он просто не умещается на рисунке.* Признак 1 – пространственность состава – создается актуализаторами *такой вот* и определением. Падеж местоименного коррелята именительный, конструкция односубъектна. Глагола в группе именительного нет (признаки 2 и 3). Конструкция принадлежит устно-разговорной речи и норме.

1Б. *Вот который ты хотела нарисовать такой большой дом, он просто не умещается на рисунке.* Пространность состава усилена придаточным с *который*. Оно размещено в группе именительного по принципу актуализатора – в ее начале и предшествует определяемому существительному *дом*. Признаки 2 и 3, как в 1А.

1В. *Вот такой большой дом, который ты хотела нарисовать, он просто не умещается на рисунке.* Размещение и роль придаточного соответствуют общелитературной норме, а расщепление имени – нет. Признаки 2 и 3 не варьируются. Конструкция принадлежит устно-разговорной норме и очень широко распространена вне ее, однако в пределах нормы устно-литературной. Примеры будут даны после списка.

1Г. *Вот такой большой дом, который ты хотела нарисовать. Он уместится на рисунке?* Распространение по типу Б и В, признаки 2 и 3 не варьируются. Вступает в действие признак 4 – интонационная завершенность группы именительного (в А, Б и В ему была противопоставлена интонационная незавершенность). Устно-разговорная речь и норма. Конструкции по преимуществу вопросительные, но возможен и невопросительный вариант (в данном случае глагол будет с отрицанием). Схема типа 1 (А, Б, В, Г) – S_1S_1P.

2А. *Такой вот большой дом, его просто не уместить на рисунке.* Здесь признаки 1, 3 и 4 полностью совпадают с типом 1, а признак 2 во всех четырех подтипах – А, Б, В и Г – другой: падеж местоименного коррелята косвенный, конструкция двусубъектна. Поэтому без комментариев приведем соответствующие модели:

2Б. *Вот который ты хотела нарисовать такой большой дом, его просто не уместить на рисунке.*

2В. *Вот такой большой дом, который ты хотела нарисовать, его просто не уместить на рисунке.*

2Г. *Вот такой большой дом, который ты хотела нарисовать. Его можно уместить на рисунке?*

Весь тип 2 принадлежит устно-разговорной норме, конструкция 2В употребляется и в публичной речи, но не столь широко, как 1В. Схема типа 2 (А, Б, В, Г) – S_1S_2P.

3А. *Такой вот большой был дом, он просто не уместился (= не умещался) на рисунке.* Модель повторяет признаки 1А, кроме признака 3, который противоположен типу 1 во всех четырех подтипах (А, Б, В, Г) – в составе группы именительного употреблен глагол. Остальные признаки совпадают с типом 1; поэтому типы 1 и 3 полностью соотносительны и принадлежат одной системе. Возникает важное следствие для разговорной тематики: различие между простым и сложно-сочиненным предложением здесь не актуально (ср. отмеченную в ч. II возможность нейтрализации простого и сложноподчиненного предложений).

3Б. *Вот который ты хотела нарисовать такой большой был дом, он просто не умещался на рисунке.*

3В. *Вот такой большой был дом, который ты хотела нарисовать, он просто не умещался на рисунке.*

3Г. *Вот такой большой был дом, который ты хотела нарисовать. Он (что, никак) не уместился (= не умещался) на рисунке?* (вопросительность может усиливаться актуализаторами).

Тип 3 целиком принадлежит устно-разговорной грамматике и норме. Схема: $S_1P_1S_1P_1$.

4А. *Такой вот большой был дом, его просто было не уместить на рисунке.* Первая часть высказывания – группа именительного – в типе 4 = типу 3, вторая – типу 2 (глагол во второй части нужен для выражения отнесенности действия к прошлому).

4Б. *Вот который ты хотела нарисовать такой большой был дом, его просто было не уместить на рисунке.*

4В. *Вот такой большой был дом, который ты хотела нарисовать, его просто было не уместить на рисунке.*

4Г. *Вот такой большой был дом, который ты хотела нарисовать. Его можно (было) уместить на рисунке?*

Тип 4 целиком принадлежит устно-разговорной грамматике и норме. Схема: $S_1P_1S_2P_2$. (Пусть не смущает в схемах обозначение S_2 при безличности, т.е. бессубъектности: для варьирования типов это не принципиально.)

Мы отметили то, что свойственно не только устно-разговорной, но и устно-литературной норме публичной речи. Материал обширен [Лаптева 1990: 439–459]. Вот характерные примеры: *Те документальные фильмы, которые были сняты в первые годы советской власти, которые показывали жизнь тех дней, они ни кому не показывались, так и лежали на полке* ("До и после полуночи" интервью) (1В); *Поэтому академический институт, создаваемый здесь по аграрно-промышленным проблемам, он как раз и должен...* ("Время", интервью академика) (это подтип 1В с причастным оборотом в составе группы именительного, которого нет в разговорной системе, он – принадлежность только публичной речи); *Интересно, что вот эти вот инклюзии, возраст их составляет несколько миллионов лет* ("Клуб кинопутешествий", Ю. Сенкевич) (2А); *Дело в том, что те муравьи, о которых он рассказал, у них вообще нет муравейника* ("Зеркало", докт. биол. наук) (2В). Другие типы и подтипы не употребляются в публичной речи или употребляются редко (ср. 1Г: *Вот у меня сестренка, она в 7-м классе учится. Она тоже собирается итти на ферму*). Но – очередной парадокс: по типам 1Г, 2Г, 3Г, 4Г стали сейчас строиться и широко распространяться (мода!) газетные, то есть кодифицированные нормой, вопросы интервьюеров.

Из этих возможностей в публичных типах литературной речи настолько широко употребляется 1В (с *который* или причастием, чаще с *который*), что его можно считать специальной принадлежностью этой речи, здесь он заметно вытесняет общелитературную норму без расщепления имени и используется намного чаще, чем в разговорной речи.

Завершая обзор устно-разговорной системы расщепления имени существительного, отметим, что, в отличие от системы расщепления глагола, формальной омонимии (позиций нейтрализации) здесь не возникает.

При расщеплении местоимения образуется система, намного более простая, чем при расщеплении имени. В разговорной речи выделяются всего два случая: с именительным падежом и косвенными падежами. В устной публичной – обычно только один: с именительным падежом и часто встречающейся отличительной особенностью, которую следует считать общелитературной: наличием при существительном указательного местоимения *этот* (ср. известный заголовок статьи Сергея Образцова: "Кому он нужен, этот Васька?"). Указательное местоимение может

употребляться и в разговорной речи, и здесь его следует считать также создающим общелитературную конструкцию (на основании ее употребления в письменных текстах в отличие от собственно разговорных).

Схема S + P + S (устно-литературная норма): – *А чем она луше вермишели лапша?; – Они все промокли валенки; –Они все такие иголки* (разговорная речь); *Чем он силен хозрасчет* ("Время", корреспондент); *они довольно далеко зрители* (Алла Пугачева); *Впрочем, они совсем неплохие новые "Жигули"* ("600 секунд", ведущий); – *Тогда может быть снять вилку. – Но все-таки она должна быть вилка* (на обсуждении); *Вы убедитесь, что они совершенно разные задания* (на родительском собрании); *В общем-то они занимаются довольно упорно дети* (на совете). Примеры с *этот* не приводим. Их много.

Схема Ob + P + Ob (преимущественно устно-разговорная норма): *Там им будет гораздо спокойнее ребятам; Это ты ее угощал бабушку, да?; Нет, ну все-таки у них не чувствуется такого темперамента в игре у шведов* (запись Института русского языка АН. Все примеры – из разговорной речи); *я согласен, я писатель, я не ученый, я хочу, чтобы вы усложнили ее эту проблему* ("Пятое колесо"); *Вот тут я их выписал эти названия* (говорит К. Симонов). Без *этот* примеров в публичной речи почти нет).

Нетрудно заметить, что обе разновидности конструкции – обратное соответствие 1А и 2А конструкции с расщеплением существительного. Есть и разница – нет распространенного состава группы именительного, нет и самой группы; во второй разновидности оба члена имеют форму косвенного падежа, тогда как 2А имени существительного имеет в косвенном падеже только местоимение-коррелят.

Таким образом, противопоставление разновидностей осуществляется только по одному признаку – по форме падежа. Нейтрализации не возникают.

Подведем некоторые итоги. Наш по преимуществу формальный анализ (его функциональная сторона заключалась в основном в установлении сфер функционирования конструкций, распределения типов литературной нормы, а также в нахождении оппозиций и позиций нейтрализации) был нацелен на установление основных принципов организации устно-разговорных моделей и упорядочение в систему самих моделей. Поэтому здесь были охвачены только основные описанные в литературе типизированные построения, вступающие в оппозиционные отношения. Не учтены случаи нулевой глагольности (Ширяев 1973: 288–313), поскольку нулевое выражение предикативности есть частный случай ее формального выражения (то есть она все равно есть), не описывались ранее выявленные функции конструкций и грамматические отношения частей в их составе (явление актуализации, характер отношения частей в полипредикативном высказывании). Оказалось, что:

1. Признак экономии – избыточности языковых средств не обладает абсолютной различительной силой из-за своей недостаточной формальной определенности. На первый взгляд может показаться, что самый принцип расщепления глагола и имени означает формальную избыточность. Она действительно несомненна для всей системы типов расщепления имени, однако с оговоркой о ее функциональном значении (актуализация). Но о ней не приходится говорить применительно к сложному бессоюзному предложению, хотя мы сочли возможным рассматривать его в ряду конструкций с усиленной глагольностью. Что касается конструкций наложения (в другой терминологии – высказываний с интерференцией Ширяев 1973: 339–347), рассмотренных в нашем пункте II8, то они парадоксальным образом совмещают в себе оба признака – экономию и избыточность: общий член создает экономию, а вторая глагольная форма может считаться избыточной, если рассматривать ее как добавочную. Видимо, при квалификации этого явления следует четко разграничивать собственно формальный и функциональный аспекты.

2. Попытки применения формально-структурного метода рассмотрения конструкций

устно-разговорного синтаксиса (первая такая попытка с выделением сильных и слабых позиций и указанием на случаи нейтрализации различительного признака была сделана Е.Н. Ширяевым применительно к отдельному явлению [Ширяев 1973: 322]) показывает, что ранее выделенные модели охватываются двумя противоположными и противопоставленными признаками – расщеплением глагола и расщеплением имени, причем с этой точки зрения они могут быть разнесены по разным ступеням проявления признака. Само явление расщепления (усиления) объединяет эти противоположные признаки и указывает на общность системы устно-разговорного синтаксиса в целом. Внутри подсистем, выделяемых противопоставлением этих ведущих признаков, устанавливаются свои системные отношения и разграничения по дополнительным признакам. При этом экспансия глагола охватывает и область действия признака расщепления имени в случаях глагольной организации группы именительного. Обозначенная бинарность указывает на четкий характер системных отношений.

Примечательно, что основная оппозиция – расщепление имени или глагола – никогда не нейтрализуется. Подобное есть и в фонологии: редукции в безударных позициях подвержены лишь гласные неверхнего подъема, верхнего же – не редуцируются и нейтрализации этих двух типов не происходит.

Противопоставленность внутри глагольного и именного типов обнаруживает различный характер. В первом случае (раздел II) оппозиции носят в большей степени функциональный характер, обозначая области нормативных отношений. Во втором (раздел III) – в большей степени структурно-формальный.

В тексте, тем более устно-речевом, всегда возникает неограниченное множество условий для возникновения позиций нейтрализации признаков и создания формальной омонимии. Это не означает повышенной вариативности разговорных конструкций – сама форма обычно жесткая, с заданными признаками. Однако при ее реализации возникают добавочные признаки или незначительные отклонения от формы. Впрочем, и в фонологии – самой четкой, классической области оппозиционных свойств признаков и возникающих позиций их нейтрализации – в реальном тексте, в речи позиции нейтрализации возникают в случаях, системой не предусмотренных, и само явление оказывается намного шире предусмотренного системой.

В отличие от фонетических позиций, обусловливающих нейтрализацию признаков (два признака совпадают в одном), в синтаксических моделях нейтрализация идет по линии значения, а не формы: конструкции с разными признаками могут быть синонимичными, с одинаковыми признаками – омонимичными. Вот почему односубъектное простое и сложное предложение в такой системе нейтрализуются.

Эти возможности системы устно-разговорного синтаксиса проявляются на глубинных уровнях синтаксического значения, которое часто формально не дифференцировано. Явление описано [Лаптева 1976а; Земская 1973: 235, 383; Ширяев 1986].

3. Синтаксические модели могут различать не значение, а функциональную принадлежность модели к той или иной сфере литературного языка. Различительная сила знака оказывается шире его лингвистического значения. Употреблением, узусом систематизированных моделей определяется их принадлежность только к устно-разговорной и к более широкой устно-литературной норме. В этом отличие устной формы от письменной, кодифицированной, которая требует "признания авторитетами" и закрепленной узаконенности. При этом если явление не проявляет признаков (формальных и узуальных) принадлежности только к одному устному нормативному типу и употребительно в типах А и Б раздела II и в типах 1Б и 2В раздела III и в собственно разговорной, и в публичной речи, а порой попадает из них и в речь письменную кодифицированную, то перед нами – функциональная омонимия, где под функцией понимается не глубинное синтаксическое значение, а принадлежность к той или иной сфере функционирования литературного языка. Поэтому понятие позиции нейтрализации различительных признаков в области синтаксиса шире, чем в фонологии. Оно не ограничивается неразличением язы-

кового значения и переходит в функционально-узуальный план. Основные же принципы устройства языковой системы на разных уровнях едины.

Подобным же образом изоглосса в диалектологии, ограничивающая территорию распространения явления (знака), противопоставлена другой изоглоссе не по характеру значения, а по признаку принадлежности к той или иной территории. Изоглоссы могут нейтрализоваться в своем маркированном признаке при соотнесении их с литературным соответствием (ср. сев.-рус. *б'иедá* – ю.-рус. *б'адá* и лит. *б'и^{е}дá*). Н.И. Толстой считал проблему междиалектных соответствий первостепенной [Толстой 1969: 10].

4. В живой речевой стихии, когда при продуцировании текста возникают разные и все новые возможности сочетания и соседства языковых элементов, сложившаяся на определенном этапе система оппозиций с течением времени под воздействием меняющегося узуса может расшатываться. Сначала появляется не известная прежде системе нейтрализация, неразличение дифференциальных признаков, а затем – утрата ими своей релевантности, маркированности. Старые оппозиции исчезают, новые появляются. Видимо, в этом заключается основной механизм языковых изменений (ср. [Мартине 1965: 458])[2].

5. Принцип культурно-речевых рекомендаций прост – если явление широко вошло в публичное употребление и при этом не противоречит системным и эстетическим свойствам языка, то есть не является ошибкой, его можно рекомендовать в качестве устно-нормативного.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бондарко А.В. 1996 – Теория инвариантности Р.О. Якобсона и вопрос об общих значениях грамматических форм // ВЯ. 1996. № 4.

Земская Е.А. 1973 – Наблюдения над синтагматикой разговорной речи // О некоторых специфических чертах порядка слов в разговорной речи // Русская разговорная речь. М., 1973.

Зиндер Л.Р., Касевич В.Б. 1989 – Фонема и ее место в системе языка и речевой деятельности // ВЯ. 1989. № 6.

Золотова Г.А. 1988 – Синтаксический словарь. М., 1988.

Капанадзе Л.А. 1973 – Номинация // Русская разговорная речь. М., 1973.

Лаптева О.А. 1976 – Русский разговорный синтаксис. М., 1976.

Лаптева О.А. 1976а – О влиянии функционального расслоения литературного языка на его грамматику // Синтаксис и стилистика. М., 1976.

Лаптева О.А. 1980 – О грамматике устного высказывания // ВЯ. 1980. № 2.

Лаптева О.А. 1990 – Живая русская речь с телеэкрана. Сегед, 1990.

Мартине А. 1965 – Структурные вариации в языке // Новое в лингвистике. IV. М., 1965.

СРУНР – 1985, 1994, 1995 – Современная русская устная научная речь. Т. I: Общие свойства и фонетические особенности. Красноярск, 1985; Т. II: Синтаксические особенности. М., 1994; Т. III: Текстовые, лексико-грамматические, словообразовательные особенности. М., 1995 / Под ред. О.А. Лаптевой.

Толстой Н.И. 1969 – Славянская географическая терминология. М., 1969.

Шведова Н.Ю. 1960 – Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.

Ширяев Е.Н. 1973 – О некоторых показателях незамещенных синтаксических позиций в высказываниях разговорной речи; Специфические виды связи в высказываниях разговорной речи // Русская разговорная речь. М., 1973.

Ширяев Е.Н. 1986 – Бессоюзное сложное предложение в русском языке. М., 1986.

---

[2] Касаясь вопроса о языковых изменениях, Н.И. Толстой считал, что механизм семантических преобразований имеет в своей основе и внутрилингвистические, и экстралингвистические процессы; при этом сначала меняется сема, компонент значения, а затем и само значение в целом [Толстой 1969: 20].

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. Т.А. МИХАЙЛОВА

К "ГРАММАТИКЕ" ЗАГОВОРА

(о словесной магии в древнеирландской поэтической традиции)

Основным предметом нашего исследования является особый жанр древнеирландских песен-поношений (или песен-проклятий), называемых "áer". При достаточно проблематичной этимологии данного слова (см. [Vendryès 1959: 20], а также [Orel 1985]), неясным является и его точное значение: его традиционный английский эквивалент "satire" [CDIL 1964: 78] представляется нам слишком упрощенным и далеко не передающим всей сложности целого комплекса представлений, стоящих за данной лексемой. Как нам кажется, более точная ее дефиниция должна определяться в первую очередь ее прагматикой: áer – это поэтический текст, исполняемый профессиональным поэтом-филидом против короля (или иного лица, занимающего достаточно высокое социальное положение), написанный специально для этого и имеющий своей целью гибель короля или лишение его трона. Таким образом, как мы видим, изначально *áer* – это не столько "насмешка", сколько "заклинание", хотя с развитием профессиональной поэтической традиции в Ирландии эти тексты органично вписались в группу жанров, объединенных общей идеей хулы как формы "направленного" смеха (см. [Стеблин-Каменский 1978]) и действительно могут рассматриваться как "сатиры" или "насмешки". В своей изначальной функции – служить своего рода оружием профессионального носителя Слова ирландская песнь-поношение может быть сопоставлена с ирландским же традиционным проклятием (*maldacht* из лат. *maledictio*), имеющим ту же прагматическую направленность и отличающимся, на первый взгляд, от поношения лишь тем, что носителем слова в данном случае является не поэт, а святой. Выявление более тонких различий между этими двумя типами текстов возможно, с одной стороны, лишь при условии детального анализа разного рода обстоятельств, сопутствующих их созданию и произнесению, с другой – при помощи сопоставления дошедших до нас образцов самих текстов, выявления моделей, по которым они строятся и проч., т.е. описании всего того, что может быть названо "грамматикой" заговора (ср. аналогичное применение понятия "грамматики" к последовательности действий в рамках обряда в работе Н.И. Толстого [Толстой 1982]).

Но в первую очередь оговоримся, что именно мы будем понимать под "заговором", и постараемся ответить на вопрос, можем ли мы включать указанные тексты в заговорную традицию. Положительный или отрицательный ответ на него, естественно, будет зависеть от того, на какое именно определение "заговора" мы будем опираться в данном случае. Заговорная традиция имеет столь долгую историю изучения, что самый список и классификация его дефиниций могли бы стать предметом отдельного исследования. Однако уже на самый первый взгляд становится очевидным, что определение самого понятия "заговор" зависит от того, чтó каждый конкретный исследователь видит в нем, а точнее – с какой точки зрения на него смотрит (происхождение, характер исполнения, сфера бытования или прагматики, т.е. цели). Так, совершенно ясно, что определение Н. Познанского ("словесная формула, первоначально служившая пояснением магического обряда" [Познанский 1995: 162]) ориенти-

рована на происхождение заговора, а определение Е.Н. Елеонской ("простое, но определенное выражение какого-нибудь желания, иногда усложненное сравнением" [Елеонская 1994: 101]) – на его прагматику и структуру. В определении заговора Н.И. Толстого видна совершенно иная точка зрения, ориентированная на носителя заговорной традиции, с одной стороны, и форму ее бытования, с другой: "Заговор, – пишет он, – как правило, не просто ф о л ь к л о р н ы й текст, но и определенное д е й с т в и е определенного деятеля с определенными предметами" [Толстой 1995: 447]. Близкое определение содержится и в вышедшем недавно словаре славянской мифологии: "Заговор – ф о л ь к л о р н ы й текст магического характера и о б р я д его произнесения" [Топорков 1995: 105].

Однако, при всем изобилии определений понятия "заговор" их противоположность друг другу, как правило, является лишь кажущейся, поскольку в каждом конкретном случае каждый конкретный исследователь имеет в виду конкретную группу текстов, функционирующих в определенную эпоху в определенной социальной и национальной среде. Именно поэтому в одних определениях появляется слово "фольклорный", в других – "ритуальный", а в третьих – "магический". Возвращаясь к анализируемому нами корпусу текстов, мы должны будем оговориться сразу, что поскольку во всех случаях мы имеем дело с письменной фиксацией памятника, возникшего или в дописьменную эпоху или так или иначе ориентированного на принципиально у с т н о е исполнение, применить понятие "фольклор" здесь, скорее всего, мы не можем. В том же, что касается определенного ритуального действия, сопровождавшего произнесение текста, то сведения об этом довольно скудны, носят скорее вторичный характер и, как мы увидим в дальнейшем, актуализированы не для всех типов текстов. С другой стороны, ирландские песни поношения и проклятия ирландских святых полностью соответствуют определению заговора (впрочем – довольно широкому), данному еще 120 лет назад Н. Крушевским: "Заговор есть выраженное словом пожелание, соединенное с известным обрядом или без него, пожелание, которое должно непременно исполниться" [Крушевский 1876: 23].

Строго говоря, по своей сути и по своей ориентации на прагматику данного речевого действия от данного определения, как нам кажется, на первый взгляд мало отличается определение В.Н. Топорова: "...особые тексты формульного характера, которым приписывалась магическая сила, способная вызвать желаемое состояние" [Топоров 1980: 450], однако внесение в него понятия ф о р м у л ь н о с т и демонстрирует принципиально иной акцент возможного анализа группы текстов "с очевидной прагматической направленностью, выражающейся в установке на магическое воздействие на объект" [Топорова 1990: 7].

Как мы можем предположить, несмотря на разнообразие и даже некоторую противоречивость определений понятия "заговор", необходимость присутствия в данном классе текстов особых словесных формул, обеспечивающих д е й с т в е н н о с т ь слова, ощущается практически всеми исследователями заговорной традиции. Причем, с одной стороны, в структуре заговорных формул могут наблюдаться довольно частные явления, характерные для конкретного этно-локального подтипа традиции (например, обязательные упоминания Даугавы в латышских заговорах против кровотечения [Олупе 1993: 131]). С другой стороны – в заговорах обычно присутствуют отдельные традиционные элементы (сравнения, пространственно-временная локализация, упоминания имени, инвокация к высшей силе, особый тип синтаксиса и др.), которые, видимо, позволяют говорить об "общеиндоевропейских истоках" [Топоров 1995: 9], и которые, являясь на первый взгляд чертами вторичными, оказываются на самом деле теми чертами, которые заговор отличают от других форм "словесной магии" и по которым он обычно с легкостью распознается.

Какие же из известных и описанных "вторичных" элементов словесных формул содержатся в древнеирландских песнях – поношениях и проклятиях и, шире, присутствует ли в них вообще ф о р м у л ь н о с т ь, необходимая для включения данных магических текстов в класс заговоров. Обратимся непосредственно к текстам.

Согласно данным самой эпической традиции, первая песнь поношения в Ирландии была написана филидом Корпре против короля фоморов Бреса, правившего тогда всем островом. Формальным поводом для исполнения поношения, поводом, без которого данная песнь считалась бы "несправедливой", был отказ поэту в надлежащем даре, которым обязан был наделить его король. Этот принцип уходит своими корнями в индоевропейский обычай традиционного обмена дарами, в частности – между поэтом и королем (откуда в ирл. *dúan* 'поэма' и *dúas* 'плата за поэму', см. [Watkins 1976]) и призван устанавливать и удерживать в обществе необходимое равновесие. Надо сказать, что этот же принцип, согласно которому король обязан был непременно наделить поэта даром, причем именно тем, какого тот требовал, сохранялся в Ирландии на удивление долго, и отголоски его мы можем встретить в бардической поэзии XVI–XVII вв.

Текст первой песни-поношения содержится в саге "Битва при Маг Туиред":

Без пищи, что явится быстро на блюде,
Без молока коровы, в утробе которой теленок,
Без жилья человечьего в темени ночи,
Без платы за песни поэтов *пребудет пусть* Брес.

(пер. С.В. Шкунаева [Предания 1991: 37])

Как мы видим, основной магический эффект данного четверостишия, по мнению русского интерпретатора, состоит в оптативе глагола бытия ("*Пусть* у Бреса *не будет* всего перечисленного поэтом"). Однако обратимся к оригиналу, текст которого показывает спорность данной интерпретации:

Cen colt for crib cernine,
cen gert ferbba fora n-asa aithrinni,
cen adba fir iar ndruba disoirchi,
cen díl daimi rissi, *rob* sain Brisse!

Rob – форма 3 sg. от связки – действительно может быть в данном случае интерпретирована как оптатив (*rop, ropo*), однако она же почти полностью совпадает с аналогичной формой перфекта (*robo, rop*, см. [Strachan 1970: 73]). Если прочесть последнюю строку именно так, то мы должны будем интерпретировать все четверостишие несколько иным образом: Корпре не желает, чтобы Брес лишился всех, перечисленных им, ценностей, но уже констатирует данный факт как свершившийся.

Наше предположение, как нам кажется, может быть подтверждено сопоставлением поношения против Бреса с другим известным текстом аналогичной жанровой принадлежности: песни-насмешки против короля Кайера, которую исполнил его племянник филид Неде, чтобы лишить короля трона (формальным поводом для этого послужил отказ Кайера подарить Неде кинжал, с которым королю, согласно зароку, нельзя было расставаться):

Maile baire gaire Caieur
combeodutar celtra catha Caier
Caier dibá Caier dira Caier foró
fomara fochara Caier
(цит. по [Калыгин 1986: 29]).
(Зло вражда короткая (жизнь) Кайеру
Поразили копья битвы Кайера
Кайер убит (?) Кайер обнажен (?) Кайер под землей
Под морем под камнями Кайер!)

Предложенный в книге В.П. Калыгина перевод формы *combeodutar* как "пусть поразят" является, с нашей точки зрения, хоть и логичным сюжетно, но не точным грамматически: *co-tm-beotur* представляет собой перфект 3 pl. от глагольной основы *ben-* 'бить, ранить' с глагольным префиксом *com-(con-)* со значением отделения (букв. "отбивать", т.е. "поражать насмерть" [Льюис и Педерсен 1954: 401]). Неде, таким образом, как мы видим, не желает смерти своему дяде, но уже объявляет о ней как о свершившемся, якобы, факте (вместо оптатива мы видим перфект с результативным значением). Ср. аналогичное описание р е з у л ь т а т а (через перфект), где "цель заговора уже как бы достигнута" в белорусских формулах отсылки болезни, описанных Т.М. Судник [Судник 1983].

В других, дошедших до нас, к сожалению, очень немногочисленных, образцах песен-поношений мы встречаем, как правило, явную тенденцию к элипсису глагола, что с нашей точки зрения может быть интерпретировано не как "черты разговорной речи" (как объясняет аналогичное явление в германских заговорах Т.В. Топорова [Топорова 1990: 11]), а как предоставление слушателю принципиальной возможности двоякого понимания текста, заданную уже самой его грамматикой. Приведем в качестве примера довольно поздний текст, приписываемый барду начала XVII в. Энгусу О'Дали по прозвищу Красный Бард. Его "насмешка" была направлена против рода Мак Тернанов (Энгус О'Дали, нанятый лордом Маунтжоем и Дж. Кэрью, должен был исполнить песни-поношения против глав всех ирландских кланов, которые оказывали сопротивление английской короне):

Caoch an inghean, caoch an mháthair,
Caoch an t-athair, caoch an mac,
Caoch an capall bhíos fá 'n tsráthair,
Leath-chaoch an cú, caoch an cat (цит. по [Hyde 1903: 477]
(Слепая дочь, слепая мать,
Слепой отец, слепой сын,
Слепая лошадь, что будет на дороге,
Полуслепая собака, слепая кошка.)

– в данном случае пожелание слепоты оказывается синонимичным ее констатации, что приближает собственно заклинание к поэтической хуле и делает песнь поношения похожей скорее на эпиграмму.

Аналогичная эпиграмматичность прослеживается и в ряде других поношений, причем сочетаясь со свернутым до поэтической метафоры с р а в н е н и е м, также часто встречающимся в заговорной традиции, она приближает песнь к другим образцам так называемого "темного языка" ирландских филидов. Так, например, песнь-поношение против короля Аода, которую сочинил и исполнил филид Даллан Форгалл в ответ на отказ короля отдать ему свой драгоценный щит, начиналась словами:

О, Аод, сын Дуаха Темного,
Твой пруд не вечен...

Эти строки королем просто не были поняты, и Даллану пришлось объяснить, что под "прудом" (*linn*) он подразумевал срок жизни короля, и подобно маленькому прудику, вода в котором полностью испаряется от зноя, жизнь короля иссякнет от песни поношения (см. [Elliott 1960: 43]).

Аналогичная метафора лежит в основе знаменитого поношения против мышей, исполненного филидом Сенханом Торпейстом: "О мыши, хоть и остры ваши усы / вы побеждены в битве с истинным воином...".

Однако мы должны признать, что сложные сравнения-метафоры, отличающие ирландские песни-поношения, все же не совсем идентичны развернутым сравнениям, характеризующим традиционный заговор, выдержанный скорее в духе фольклорного параллелизма (ср. "Остановись ты, кровь, как остановилась вода Иордана" или "Вся-

кая боль, уменьшайся, как луна на ущербе, засохни, как болотный камыш, истлей, как старый мертвец" и проч.). Темная метафора в ирландском поношении является фактом скорее поэтического языка, а не словесной магии и встречается не менее часто в образцах совершенно иной жанровой принадлежности (генеалогиях, панегириках, элегиях).

Как это ни странно, гораздо более близким к традиционному заговору с данной точки зрения оказывается проклятие святого. Например, проклятие св. Ронана против короля Дал Арайде Суибне, бросившего в него копье:

Mar dochuaidh i cédóir
crann an fhogha a n-airde
co ndeachair-si, a Shuibhne,
re gealtacht gan chairde [Buile Suibhne 1931: 6]
(Как пролетело в бросок
древко копья в его высоте,
так чтобы пошло у тебя, Суибне,
к безумию без друзей.)

Или – проклятие св. Патрика против короля Бекана:

Bécan,
ní rab ilar a tredan!
Oiret rabh grian ur deiseal,
ní rabh seiser d'óibh, Bécán! [Ó Cathasaigh 1986: 11].
(Бекан,
Не было много твоего праздника!
И как солнце пошло направо,
Не было шести твоих потомков, Бекан.)

Ср. в этой связи традиционное использование условных предложений и сравнительных оборотов в заговорах, вызванное общей тенденцией к установлению зависимости между объектами и явлениями ("всеобщему детерминизму" [Топорова 1990: 10]).

Аналогичное явление встречается и в традиционных гэльских (как ирландских, так и шотландских) народных заговорах, носящих в Ирландии название *ortha* (из лат. *oratio*), в Шотландии – *sian*, букв. "речь, голос" или *eolas* – "знание". См., например, заговор на родовспоможение, записанный в Ирландии (в Мунстере) в начале нашего века:

A bhean, beir do leanbh,
Mar rug Anna Muire,
Mar rug Muire Dia,
Gan mairtriú, gan daille,
Gan easba coise ná láimhe [Ó Súilleabháin 1977: 45]

("Женщина, рожай своего ребенка, / как родила Анна Марию, / как родила Мария Бога, / без уродства, без слепоты, / без нехватки рук или ног".)

С другой стороны, сопоставление песен-поношений филидов с проклятиями святых демонстрирует отсутствие в последних столь часто встречающихся в заговорах традиционных п е р е ч и с л е н и й, усиливающих каждый взятый в отдельности компонент словесного ряда, что в целом создает особый эффект магического воздействия заговора (ср., например, латышский заговор от лихорадки: "Иди к хозяину болота / иди к хозяину реки / иди к хозяину озера / иди к хозяину моря / иди к хозяину огня / иди к хозяину земли / иди к хозяину дома / иди к хозяину города / иди к хозяину

леса" – повторить 27 раз [Лекомцева 1993: 212–213]). Подобные традиционные перечисления, встречающиеся, как видно из уже приведенных нами примеров, в песнях-поношениях филидов достаточно часто, можно встретить и в поздней гэльской заговорной традиции. См., например, шотландский (Хайленд) заговор от дурного глаза:

Я накладываю на тебя заклятие Марии,
Лучшего заклятия нет на свете,
Против малого глаза, против большого глаза,
Против глаза быстрой прожорливой женщины,
Против глаза быстрой жадной женщины,
Против глаза быстрой неряшливой женщины [Ross 1990: 64].

Подобные перечисления встречаются в филидической традиции довольно часто, причем далеко не только в песнях-поношениях. Ср., например, аккумуляция блага в так называемом "заклинании о долгой жизни":

Rohorthar mo richt,
rosōer mo recht,
romōrthar mo lecht,
nimthi bas for fecht,
rofirthar mo thecht (цит. по [Калыгин 1986: 102])

("Пусть будет убит мой облик / пусть освободится мое право / пусть восславится моя сила / пусть не буду я убит в походе / пусть будет истинным мое странствие...".)

И, наконец, остановимся еще на двух традиционных элементах заговорных формул, элементах, раскрывающих, по нашему мнению, саму суть лежащего в основе прагматики заговора веры в принципиальную возможность бесконтактного воздействия на человека или силы природы при помощи Слова. Мы имеем в виду в данном случае – называние имени того, кому адресован (или – против кого направлен, что функционально, безусловно, тождественно) заговор и инвокацию к высшим силам, обеспечивающую эффективность магического текста.

В том, что касается первого, то, как мы видим из всех приведенных нами в качестве примеров песен-поношений и проклятий, произнесение имени проклинаемого в обоих случаях являлось безусловно обязательным. Причем, надо отметить, что в том, что касается поношений, повторение имени или зашифровка его при помощи анаграммы могут рассматриваться и как факт особого поэтического языка, требующего упоминания того, кто может быть назван "объектом стиха" – любой жанровой принадлежности – панегирика, элегии и проч.

Однако, попадая в один ряд с другими образцами словесной магии, песни-поношения начинают автоматически подчиняться и другим законам и поэтому факт называния имени проклинаемого приобретает иной смысл, чем упоминание имени прославляемого короля. Произнесение вслух имени является, безусловно, достаточно важным элементом любой заговорной традиции, поскольку именно оно делает данный магический текст направленным, чем и обусловливается эффективность слова как действия. Однако, кроме направленности как таковой, произнесение имени приводит в движение особый механизм взаимосвязи имени и его носителя. "Эти особенности использования имени подтверждают распространенный в архаичных коллективах взгляд на имя как на внутреннюю сущность, душу его носителя, источник силы и процветания. Именно эти особенности имени обеспечили ему выдающуюся роль в мифологии и ритуале, мантике и поэтике, логике и философии, семиотике и культуре в целом" [Топоров 1993: 85].

В песнях поношения в отдельных случаях вместо традиционного имени собственного может выступать общее название класса объектов (например, мыши), что обусловлено подвижностью самой сферы, которую охватывают имена. Однако суть

называния от этого не меняется: произнесение имени каждый раз делает данный текст единичным и единонаправленным. Сочиненный и произнесенный лишь однажды, каждый конкретный текст песни-поношения должен был "сработать" лишь один раз; его можно было запомнить, но повторить его, подставив другое имя, было уже нельзя. С одной стороны, данная установка соответствовала прагматической установке любого заговора, который "в принципе не мог быть безадресным" [Топоров 1993: 86]. С другой стороны, обязательность упоминания имени проклинаемого как в поношениях, так и в проклятиях святых, не является, как можно было бы подумать, реализацией распространенной формулы "раба Божьего такого-то", поскольку предполагает не только обозначение "объекта стиха", но и знание его автора. Традиционный заговор (как текст, а не как сам факт его произнесения), если и не мог быть "безадресным", то являлся, как правило, анонимным, его текст каким-либо способом узнавался, но не сочинялся. Ирландские же песни поношения, как и проклятия святых, всегда имели конкретного автора, который не только был автором в общепринятом смысле этого слова, но и нес определенную ответственность за сам факт сочинения и исполнения им данного текста. Известны случаи, когда "несправедливое" поношение могло принести гибель самому поэту: так, Даллан Форгал, исполнивший поношение против Аода, вскоре сам погиб, король же, против которого поношение было направлено, никак от него не пострадал.

В том, что касается призывания высших сил, сопровождающего заговор и как текст, и как обрядовое действие, то данный элемент магической формулы является настолько универсальным, что вряд ли нуждается в каких-либо пояснениях с нашей стороны. Как правило, в сохранившихся традиционных народных заговорах – это призывания христианского Бога или святых, видимо, заменивших иные силы, к которым взывал магический текст в своей более архаической форме. Интересно в связи с этим, что подобные инвокации могли сопровождать и определенные действия, которые, собственно говоря, не могут быть названы нами ритуальными. Так, например, как пишет А.Я. Гуревич, «церковь не запрещала сбора целебных трав, если он совершался с молитвой, но решительно осуждала его в тех случаях, когда вместо "Credo" и "Pater noster" исполнялись "безобразные заклинания"» [Гуревич 1981: 141].

Действительно, в традиционных заговорных формулах мы неизменно встречаем имена Христа, Девы Марии и других святых. Народные заговоры Ирландии и Шотландии не составляют здесь исключения и даже, более того, в отдельных случаях напоминают уже не заговорные формулы, а просто молитвы. Например:

Бог надо мной,
Бог передо мной,
Бог позади меня.
Я иду по твоему пути, о Боже,
Сохрани меня, Боже, на моем пути [Ross 1976: 49].

В отдельных случаях имя христианского Божества может заменяться словосочетаниями типа "король жизни" или "король всех королей", что, видимо, восходит к бардической традиции (ср., например, A Thriath na Flath Fial – "Вождь благородных князей").

Обращение к христианскому Божеству встречается иногда и в ряде образцов филидической традиции, но не в песнях поношения, а в текстах "оградительного" характера. См., например, анонимное заклинание, призванное защитить путника, датируемое VIII в. [Green D., O'Connor J. 1967: 27], но, по мнению В.П. Калыгина [Калыгин 1986: 101], сложившееся в еще более ранний период:

Atom-riug in-diu
niurt geno Christ cona baithius,
niurt a chochtho cona adnacul
niurt a essérgi cona fhresgábail...

("Окружаю я себя сегодня / силой рождения Христа и его крещения / силой его распятия и успения / силой его Воскресения и вознесения...".)

Но если имена Христа и Марии, как правило, встречаются в народных заговорах, направленных на благо, в текстах противоположной направленности обычно используется призывание иных сил (ср. также маркированное начало вредоносного заговора: "Встану я, н е благословясь, выйду н е перекрестясь... и проч."). Ср., например, так называемый "приворотный стих":

Есть у тебя, отец Сотана, мал рыж бес полуденой,
есть у тебя, отец Сотана, черен бес вечерен,
еще есть у тебя светлой бес утренной,
пошли, отец Сотана, этих бесей,
привороти рабу или рабыню имярек к блудодеянию.

"По показаниям рейтора Федора Аничкова (дело 1747 г.), он, "смотря на девку или бабу", тихо читал про себя заговоры "о привороте баб и девиц с призыванием самого Сатаны". По его словам, "скверныя письма" он "содержал для блудодействия, однако же успеха не имел и потом забросил" [Журавель 1996: 122–123].

В проклятиях святых, что вполне естественно, не могло содержаться ни призывов к дьяволу, ни упоминаний языческих божеств. Представляющее собой, по сути, вредоносный заговор, сопровождавшийся ритуальным позвякиванием колокольчика, закрепленного на жезле святого, проклятие с точки зрения функциональной и правовой как таковое не воспринималось ни самим автором проклятия, ни, за рядом исключений, проклинаемым королем. Это было скорее суровое, но справедливое возмездие за совершенный грех. Поэтому в проклятии святого содержатся такие же обращения к Богу и святым, как и в благословениях. Ср., например, отрывок из проклятия Ронана против короля Суибне: "...an bás roimris-si for mo dhalta-sa, gurab eadh notbéra .i. bas do rinn, 7 mo mhallacht-sa fort 7 mo bhennacht for Eorainn, Uradhrán 7 Telli uaim i n-aghaidh do shli 7 chloinne Colmain Chuair" [Buile Shuibhne 1931: 6] – "смерть что принес ты моему воспитаннику, так что пусть это унесет тебя, то есть смерть от копья и мое проклятие против тебя из-за этого и мое благословение Эранн, святые Урадран и Телле по велению моему / будут, пусть будут, есть (?) / против твоего семени и потомков Кольмана Куара"; или: "Aitchim-si an Righ uasal uilechumhachta nar fféde se an tingrinntidh sin do ionnsaighe na heagailsi dia hingreim doridhisi amail dorighni fecht n-aill... [Buile Shuibhne 1931: 65] – "Обращаюсь я к Королю благородному всемогущему, чтобы оскорбитель этот не смел приблизиться к церкви, чтобы вновь совершить оскорбление, которое уже совершил он раньше...".

В песнях-поношениях же, напротив, не встречается практически никаких инвокаций. Единственным, составляющим исключение, примером является очень поздний текст, приписываемый все тому же Энгусу О'Дали, Красному Барду – поношение против рода Фицгибонов:

Ni fhuil fearg nach dtéid ar gcúl
Acht fearg Chriost le cloinn Ghiobun
Beag an t-iongnadh a mbeith mar tá
Ag fás i n-olc gach aon lá [Hyde 1903: 477].
(Нет гнева, что пошел бы назад,
Но гнев Христа против рода Гиббонов.
Мало странного, что будет это так,
Что растет он во зле каждый день.)

Отсутствие каких-либо обращений к высшим существам в хулительных песнях филидов является, с нашей точки зрения, далеко не случайным: сила, к которой должен был воззвать филид, чтобы слово его обрело действенность, была не вне его, но в

нем самом. Поэт в древней Ирландии воспринимался не как медиатор между миром богов и миром людей, но скорее сам воплощал собой Иной мир на этой земле. В подтверждение сказанного достаточно вспомнить хотя бы космогонические тексты, приписываемые Аморгену, пра-поэту ирландцев:

Я ветер морской,
Я волна в океане... и т.д.

Носитель слова, отчасти, сам в момент его произнесения представлял собой как бы одновременно центр мира и его модель и именно поэтому в его тексте не содержалось и не должно было содержаться никаких упоминаний об иных мирах и иных прецедентных локализаторах (ср. [Шиндин 1993]).

В отличие от языческого поэта, христианский святой был, как это ни странно, гораздо менее сакрализован как личность, и именно поэтому для создания магического текста ему, как и деревенскому знахарю или колдуну, необходимо было обращение к высшим силам, без чего его слово могло бы оказаться бездейственным. И именно поэтому текст его проклятия, уже именно как текст, оказывался ближе к народному заговору, чем к поэтической хуле. Впрочем, последнее, видимо, было отчасти явлением, характерным не только для средневековой Ирландии. Как отмечает А.Я. Гуревич, "церковные сакральные формулы нередко представляли собой субституты народных заклятий, подчиняя магию молитве и заменяя обращение к природным и сверхъестественным силам язычества призывами к христианскому божеству и пантеону ангелов и святых, равно как и проклятиями, направленными против дьявольской нечисти – источника всевозможных бедствий, на каждом шагу подстерегающих человека" [Гуревич 1990: 284–285].

В качестве вывода к своей небольшой работе "Проклятие и поношение" современный ирландский исследователь Т. О'Кахасы пишет, что "проклятие полностью совпадает с поношением как с функциональной, так и с чисто формальной точки зрения; речь здесь может идти только о терминологических различиях" [Ó Cathasaigh 1986: 15]. Момент функциональный и правовой в нашем небольшом исследовании практически не затрагивался, в том же, что касается формы и способа исполнения данных магических текстов, то, как мы пытались показать, проклятие святого ближе к народному заговору, чем поношение профессионального филида.

Впрочем, вывод наш не видится нам самим окончательным. Тема словесной магии необычайно сложна и, несмотря на многолетнюю историю изучения, далеко не исчерпана. В нашу задачу входила лишь попытка продемонстрировать принципиальную возможность сопоставления текстов народных с текстами, принадлежащими профессиональным поэтам, и входящими, с нашей точки зрения, как прагматически, так и парадигматически в традицию заговора. Синтагматически же при этом они остаются фактом традиции поэтической.

Но, повторяем еще раз, тему эту мы не рассматриваем как исчерпанную. Мы пытались хотя бы обосновать возможность ее постановки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гуревич А.Я. 1981 – Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.

Гуревич А.Я. 1990 – Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.

Елеонская Е.Н. 1994 – К изучению заговора и колдовства в России // Елеонская Е.Н. Сказка, заговор и колдовство в России. Сб. трудов. М., 1994.

Журавель О.Д. 1996 – Сюжет о договоре человека с дьяволом в древнерусской литературе. Новосибирск, 1996.

Калыгин В.П. 1986 – Язык древнейшей ирландской поэзии. М., 1986.

Крушевскій Н. 1876 – Заговоры как вид русской народной поэзии. Варшава, 1876.

Лекомцева М.И. 1993 – Семиотический анализ одной инновации в латышских заговорах // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М., 1993.

Льюис Г., Педерсен Х. 1954 – Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М., 1954.
Олупе Э. 1993 – Формула уничтожения в латышских заговорах // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М., 1993.
Познанский Н. 1995 – Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул. М., 1995.
Предания 1991 – Предания и мифы средневековой Ирландии. М., 1991.
Стеблин-Каменский М.И. 1978 – Историческая поэтика. Ленинград, 1978.
Судник Т.М. 1983 – К описанию структуры одного белорусского (восточнополесского) заговора // Текст: семантика и структура. М., 1983.
Толстой Н.И. 1982 – Из "грамматики" славянских обрядов // Труды по знаковым системам. 15. Типология культуры и взаимное воздействие культур. Тарту, 1982.
Толстой Н.И. 1995 – Из наблюдений над полесскими заговорами // Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
Топорков А.Л. 1995 – Заговор // Славянская мифология. М., 1995.
Топоров В.Н. 1980 – Заговор // Мифы народов мира. Т. I. М., 1980.
Топоров В.Н. 1993 – Об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы) // Исследования в области балто-славянской культуры. Заговор. М., 1993.
Топоров В.Н. 1995 – О древнеиндийской заговорной традиции // Малые формы фольклора. Сб. статей памяти Г.Л. Пермякова. М., 1995.
Топорова Т.В. 1990 – Прагматика и структура текста (на материале древнегерманских заговоров) // Слово в контексте литературной эволюции: заговор, эпос, лирика. М., 1990.
Шиндин С.Г. 1993 – Пространственная организация русского заговорного универсума: образ центра мира // Исследования в области балто-славянской культуры. Заговор. М., 1993.
Buile Shuibhne 1931 – Buile Shuibhne / Ed. by J.G. O'Keeffe. Dublin, 1931.
CDIL 1913–1975 – Contributions to a dictionary of the Irish language. Dublin, 1913–1975.
Elliott R.C. 1960 – The power of satire: Magic, ritual, art. Princeton, 1960.
Green D., O'Connor J. 1967 – Golden treasury of Irish poetry: A.D. 600 to 1200. London; Melburn; Toronto, 1967.
Hyde D. 1903 – A literary history of Ireland. London, 1903.
Ó Cathasaigh T. 1986 – Curse and satire // Éigse. V. 21. 1986.
Orel V.E. 1985 – Oir. *áer* // The bulletin of the Board of Celtic Studies. V. XXXII, 1985.
Ó Súilleabháin S. 1977 – Irish folk custom and belief. Corc, 1977.
Ross A. 1976 – The folklore of the Scottish Highlands. London, 1976.
Strachan J. 1970 – Old-Irish paradigms and selections from the Old-Irish glosses. Dublin, 1970.
Vendryès J. 1959 – Lexique étymologique de l'irlandais ancien. A. Paris, 1959.
Watkins C. 1976 – The etymology of Irish *DUAN* // Celtica. 1976. V. 11.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. Т.В. ТОПОРОВА

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ ЗАГОВОРОВ

Сопоставительный анализ заговоров в различных индоевропейских традициях постоянно привлекал внимание исследователей, поскольку именно этот жанр содержит ограниченный набор мотивов и формул, составляющих содержание соответствующих текстов. Высокая степень подобия заговоров объясняется универсальными прагматическими интенциями его субъекта, в частности, стремлением добиться получения желаемого (компенсировать недостачу, сохранить или усилить исходное состояние). Типы заговоров, определяемые потребностями исполнителя или заказчика, имеют общую референцию (ср., например, наиболее распространенные случаи – изгнание болезни, избавление от яда или стрел, возвращение скота, просьба об удачном путешествии и др.), в значительной мере предопределяющую их содержание, а также и лексическое наполнение. Сходство реальных ситуаций, служащих поводом для обращения к заговору, а также ряд структурных особенностей текстов данного жанра (их компактность, селективность стилистических приемов, передающих идеи глобального детерминизма, закона всеобщей эквивалентности, мощное воздействие прагматического фактора на всех уровнях языка) дает основания для поиска аналогичных мотивов в различных индоевропейских традициях.

Древнегерманские заговоры[1] сопоставляются с данными двух наиболее детально разработанных и полно представленных заговорных традиций – индоиранской[2] и восточнославянской[3]. Целью предлагаемых ниже реконструкций, разумеется, не является исчерпывающее описание многочисленных схождений, уже не раз отмечавшихся специалистами[4]; скорее задача состоит в том, чтобы представить цепь совпадений как с и с т е м у, охватывающую все семантические сферы, функционирование которой обусловлено общими прагматическими интенциями субъекта заговора. Реконструкция осуществляется на двух уровнях – семантическом, объединяющем

---

[1] Древнегерманские заговоры цитируются по изданиям [Dobbie 1942; Schauffler 1917]. В статье приняты следующие сокращения: AS – Ad strigendum sanguinem. Bamberger Blutsegen "К остановке крови. Бамбергское заклинание крови", M – Erster Merseburger Spruch "Первое Мерзебургское заклинание", M 2 – Zweiter Merseburger Spruch "Второе Мерзебургское заклинание", NS – Niederdeutscher Spruch "Нижненемецкое заклинание", PN – Pro nessia. Der Münchener Wurmsegen "Против червей. Мюнхенское заклинание против червей", PS – Ad equum errehet. Pariser Spruch "Против воспаления конского копыта. Парижское заклинание", PS 2 – Pariser Spruch gegen Fallsucht "Парижское заклинание против эпилепсии", SB – Die Strassburger Blutsegen "Страсбургские заклинания крови", WH – Wiener Hundsegen "Венское заклинание собак", WR – Weingartner Reisesegen "Вейнгартенское заклинание о путешествии"; 1 – For unfruitful land "Против неплодородной земли", 2 – The nine herbs charm "Заклинание девяти трав", 3 – Against a dwarf "Против карлика", 4 – For a sudden stitch "От внезапного колотья", 9 – For theft of cattle "Против кражи скота", 11 – A journey charm "Заклинание о путешествии", 12 – Against a wen "Против опухоли".

[2] Древнеиндийские заговоры цитируются по изданиям [AB 1976; PB 1972].

[3] Русские заговоры цитируются по изданию [Майков 1869].

[4] Ср. [Kuhn 1864; Буслаев 1861; Genzmer 1950; Schlerath 1962; Schmidt 1967; Иванов, Топоров 1963; 1965; 1966; Топоров 1969; 1993; 1995] и др.

определенные мотивы, сюжеты, мифологемы, и формальном, предполагающем одинаковое языковое выражение соответствующей идеи.

I. Подробнее остановимся на некоторых магико-религиозных формулах, восходящих к индоевропейскому "поэтическому языку":

a) Конструкции, описывающие состав человеческого тела: A + A, B + B, C + C и т.д. Ср: *ben zi bena, bluot zi bluoda, / lid zi gelidin, sôse gelîmida sîn* (M 2)[5] "кость к кости, кровь к крови, / сустав к суставу да присоединится"; "Да соединится твой (костный) мозг с мозгом, твой сустав с суставом; / ...да срастется кожа с кожей; / ...да срастется плоть с плотью!" [AB: IV, 12, 3–5]; "стыкася, сростася тело с телом, кость с костью, жила с жилою" [Майков 1869: 267].

Ядро этой формулы образуют названия частей тела, расположенные в определенной последовательности: "костный мозг" – "кость" – "сухожилие" – "плоть" – "кровь". Перечисление ведется изнутри вовне, за номинативом следует датив с предлогом и предикат со значением синтеза. Формальная запись выглядит следующим образом: A (nom.) – conj. с ассоциативным значением – A (dat.) – verb ("соединять") – B (nom.) – conj. – B (dat.) – verb – C (nom.) – conj. – C (dat.) – verb и т.д.[6]

b) Конструкции, описывающие изгнание змеи или болезни из органов человеческого тела: A > B, B > C, C > D и т.д. Ср.: *Gang ut, Nesso... / uz fonna marge in deo âdrâ, vonna den âdrun in das fleisk, / uz fonna demu fleiske in daz fel, / fonna demo velle in diz tulli* (PN) "Выйди наружу, змей, ... / из костного мозга в жилы, из жил в плоть, / из плоти в кожу, / из кожи в копыто"; "Из костей, из твоего костного мозга, из кровеносных сосудов / якшму – из ладоней, из пальцев, / из ногтей я вырываю у тебя!" [AB: II, 33, 1]; "... прогоняют злого, лихого ноктя иссарки в гриву, из гривы в спину, из спины в окорока, из окороков в ноги, из ног в копыта..." [Майков 1869: 195].

На формальном уровне данную конструкцию можно представить в следующем виде: Conj. 1 (с отделительным значением) – A (косв. пад.) – conj. 2 (обозначающий направление) – B (acc.) – conj. 1 – B (косв. пад) – conj. 2 – C (acc.)... – verb. ("выходить, покидать").

Эта конструкция содержит тот же инвентарь лексем, что и конструкция A (костный мозг, кость, сухожилие, плоть, кровь), но в обратной последовательности, так как в соответствии с логикой изгнания болезни органы тела перечисляются изнутри, а последний компонент (например, "земля") находится вообще за пределами организма; в обеих конструкциях антонимичны предлоги и предикаты, и первую можно интерпретировать как формулу соединения, а вторую – как формулу отделения применительно к частям тела. Обе операции – синтез и анализ наиболее точно определяют глубинную сущность заговора и его механизм и обнаруживают многочисленные параллели как в языке, так и в ритуале различных заговорных традиций.

c) Мотив отсутствия места для враждебных субъекту заговора сил (болезней, демона и др.) и их отсылки на гору: *Wenne, wenne, wenchickenne, / her ne scealt þu timbrian, ne nenne tun habben, / ac þu scealt north eonene to þan nihgan berghe, / þer þu hauest* (12, 1–4) "Опухоль, опухоль, маленькая опухоль, / здесь ты не должна ни строить, ни жилища иметь, / а ты должна на север отсюда к ближайшей горе [уйти], / там ты живешь"; "Да будет тут не-место для голубя и совы..." [AB: VI, 29, 2]; "Загони их в гору, / канвов, отравляющих жизнь" [AB: II, 25, 4]; "Тут тебе не быть, тут тебе не жить; быть тебе по болотам, по гнилым колодам, за темными лесами, за крутыми горами, за желтыми песками. Там тебе быть, там тебе пожить" [Майков 1869: 94].

d) Магической функцией слова объясняется многократное исполь-

---

[5] Полный перечень контекстов, в которых зафиксирована данная формула, см. [Топоров 1969: 11–13].

[6] A, B, C в этой формуле выражены индоевропейскими изоглоссами, поэтому их конкретное языковое воплощение остается за рамками данного исследования.

зование имен или признаков адресата, когда цель коммуникативного акта заключается исключительно в номинации. В основе этой концепции лежит мифопоэтическое представление о первичности имени по отношению к его носителю, его креативной функции (то есть имя создает объект). Если обратиться к теории коммуникативного акта, то складывается ситуация, когда код направлен сам на себя (code referring to code в терминологии Якобсона [Якобсон 1972]).

Примеры магического употребления слова в заговоре демонстрируют различные индоевропейские традиции. Ср.: *Uuola, uuiht, taz tu uueizt, taz tu uuiht heizist, / taz tu neuueist noch nechanst cheden chuospinci* (A) "Хорошо, демон, что ты знаешь, что ты называешься демоном, / что ты не знаешь и не умеешь сказать заклятье корове"; "Раскалывающее, с сотней ветвей... / "Раскалывающий" по имени твой отец. / В ответ расколи ты того, / кто нам враждебен" [AB: IV, 19, 5]; "Трисвятый Владыко, страшный, и страшно имя твое..." [Майков 1869: 267].

e) Мотив ограждения от враждебных субъекту заговора сил: *Ic me on þisse gyrde beluce... / wið þane sara stice, wið þane sara slege* (11, 1–2) "Я ограждаю себя (букв. 'замыкаю') этим посохом... / против болезненного прокола, против болезненного удара"; "; "Те рыжие звери, / ...ими мы ограждаем тебя" [AB: I, 22, 3]; "...Огражду вокруг меня (имя рек) и дружины моей... тын железный, ... чтобы никто не мог прострелить его, от востока до запада, от севера на лето..." [Майков 1869: 42].

f) отражение змееборческого мотива "основного мифа": *Wyrm com snican, toslat he man; / ða geman Woden VIIII wuldortanas, / sloh ða þa næddran, þæt heo on VIIII tofleas* (2, 31–33). "Змей вполз, он убил человека; / тогда Водан взял девять чудесных ветвей, / убил он змея, так что тот разбежался на девять частей"; "Который большой жернов Индры, давитель всякого червя, – / им я раздробляю червей" [AB: II, 31, 1]; "Эй же ты, змея скорпея, я пришел к тебе с нуждою" "С какою?" "Найди ту змею, кая укусила раба Божия"... "Я, говорит, не пойду." "А я тебя громом убью". "Я от грома спрячусь в землю" [Майков 1869: 178].

Важным элементом сюжета "основного мифа" можно считать упоминание грома или прямое обращение к нему (ср.: *Doner dutîgo dietewîgo*! (PS 2) "Гром милостивый, вечный для народа" в контексте поединка сына Адама и сына дьявола; "Поклон тебе, о молния, поклон твоему грому" [AB: I, 13, 1]); в обоих текстах апелляция к грому открывает заговор.

В приводимых выше версиях "основного мифа" выделяются общие элементы сюжета – участие в поединке божественного персонажа (Водана, Индры, Иисуса Христа) и змея и особая роль числа 'девять', обозначающего количество змей или змееныше[7].

g) Индоевропейская формула "небо–земля": *eorðan ic bidde and upheofon* "землю я молю и верхнее небо" (1, 29); "Да будут милостивы к тебе Небо–Земля" [AB: III, 4, 5]; "...так к этому моему слову небо и земля – ключ и замок" [Майков 286].

h) Мифологема "верхнее небо": *eorðan ic bidde and upheofon* "землю молю и верхнее небо" (1, 29); "Земля установлена... высшее небо поставлено" [AB: X, 2, 25].

i) Мотив избавления от уз: *insprinc haptbandun* "избеги уз-оков" (M); "...Отсюда царь крепких обетов / пусть отпустит все привязи" [AB: VII, 83, 1].

j) Индоевропейская мифологема "преступник" – "волк": *Christ uuart gaboren er uuolf ode deiob* "Христос родился раньше волка или вора" (WH); "Пусть уйдет волк дальним путем, / а также разбойник самым дальним путем..." [AB: VI, 3,

---

[7] Данные различных индоевропейских традиций позволяют высказать предположение, "не является ли мотив девяти червей (или змей), поражаемых героем заговоров с помощью огня, камня, дубинки... косвенным отражением мотива о ссоре Громовержца с детьми (девять сыновей), изгнании их и последующем их поражении (возможно, с обращением их сначала в червей или змей)?" [Топоров 1969: 31].

2]; "...Соблюдите и сохраните мое стадо... от насланного волка, от лихого человека..." [Майков 1869: 285].

k) "З а к л и н а т ь з а к л и н а н и е": *þis galdor ongalan cyþe* "это заклинание сможет заклинать" (3, 17); *Sygegealdor ic begale* "Победное заклинание я заклинаю" (11, 6); *samānám mántram abhi mantraye vaḥ* [PB: X, 191, 3] "единый з а г о в о р я з а г о в а р и в а ю в а м"; "...З а г о в о р о м я з а г о в а р и в а ю с ь, железным замком запираюся" [Майков 1869: 370].

1) Мифологема ч у д о д е й с т в е н н о г о р а с т е н и я

а) "Р а с т е н и е с о з д а н о д е м и у р г о м": *þa wyrte gesceop witig drihten* (2, 36) "эти растения создал мудрый Господь"; "На небе твой корень, о трава, / на земле ты установлена" [AB: XIX, 32, 3].

б) "П е р в о е р а с т е н и е": *yldost wyrta* (2, 3) "старейшее растение"; "Ты возникла как первое из растений" [AB: XIX, 32, 10].

в) "Р а с т е н и е – м а т ь": *Ond þu, wegbrade, wyrta modor* (2, 7) "А ты, щавель, мать растений"; "сотня, о матушки, ваших разновидностей, а также тысяча ваших растений" [PB: X, 97, 2].

г) В ы с о ч а й ш а я о ц е н к а растения: *Fille and finule, felamihtigu twa* (2, 36) "Кервель и укроп, очень могучие оба"; "Ты высшее из растений. / Деревья подвластны тебе" [AB: VI, 15, 1].

m) Мотив в о з в р а щ е н и я с к о т а (с антонимическими предикатами: *...feoh to findanne, næs to oðfeorganne, / and to witanne, næs to oðwyrcenne, / and to lufianne, næs to oðlædanne* (9, 3–6) "...скот найти, а не увести, / и присмотреть, а не навредить, / и любить, а не угнать"; "Они не исчезнут. Вор не причинит (им) вреда. / Недруг не покусится на их движение..." [AB: IV, 21, 3]; "Заговариваю я... сей заговор над моим табуном. Как мураши где ни ходят, ни гуляют, а приходят и не отлучаются от своего гнезда, – так бы мои добрые кони... не вышли бы из сего круга..." [Майков 1869: 287].

II. Древнегерманские и **восточнославянские** заговоры обнаруживают некоторые соответствия, а именно:

1) Мотив д в и ж е н и я а д р е с а н т а и е г о в с т р е ч и с адресатом: *Man gieng after wege / ...dô begagenda imo mîn trohtin* (PS) "Человек шел по дороге, / ...ему повстречался Господь..."; "...пойду аз, раб Божий, из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле, на путь, на дорогу; в стречу мне, рабу Божию, три брата..." [Майков 2]. Показательно, что в обеих традициях за указанным мотивом следует диалог действующих лиц, то есть речь идет об общем композиционном приеме.

2) Мотив р а з б и в а н и я к а м н я с эсхатологическими коннотациями, отсылающий к "победе Бога Грома над противником, реализующейся [...] в расщеплении камня, под которым скрывается его противник" [Иванов, Топоров 1974: 96]. Ср.: *Doner dutîgo... / Dô quam des tiufeles sun uf Adames bruggon / unde scîteta einen stein ze wite* (PS 2) "Гром милостивый... / Тогда пришел сын дьявола на Адамов мост / и разбил камень в стружку"; "Наступает к тому белому камню святый Егорий храбрый ⟨...⟩; разбивает тот белый камень на четыре части" [Майков 1869: 16].

3) Мотив н е с п о к о й н о й р ы б ы: *Visc flôt aftar themo uuatare, / thô verbrustun sîna vetherun* (NS) "Рыба плавала по воде, / тогда у нее лопнули плавники"; "На желтом песку есть белая рыбица. Как белая рыбица тоскует и мечется и не может без воды жить..." [Майков 12].

4) Мотив к у з н е ц о в: *Sæt smið, sloh seax lytel* "Сидел кузнец, ковал маленький меч" (4, 13); *Syx smiðas sætan, wælspera worhtan* (4, 16) "Шесть кузнецов сидели, делали боевые стрелы"; "на том море стоит остров, на том острове стоит столб, на том столбу сидят семьдесят семь братьев, они куют стрелы булатные день и ночь..." [Майков 1869: 21].

5) Мотив грохота злых сил: *Hlude wæran hy, la, hlude, ða hy ofer hlæw ridan* (4, 3) "Громкими были, ох, громкими, когда они скакали через холм"; "Седла гремят, узды бренчат, в порожние мехи ехати по хмель..." [Майков 1869: 202].

Звуковая аранжировка текста, изображающая в обоих случаях скачку враждебных человеку существ, дополняется одинаковым стилистическим приемом – в начале злые силы называются лишь косвенно, на них указывают глагольные формы 3 л. мн. ч. и личные местоимения 3 л. мн. ч. (то есть возможно табуирование), а прямая номинация осуществляется позднее.

6) Мотив ползучего змея: *Wyrm com snican* "Приполз змей" (2, 31); "Из земли из поганския, из-за моря Астраханского ползет ползун змей Полоз... Ползет тот змей, выползает..." [Майков 1869: 263].

Есть основания предполагать, что в приводимых примерах отмечен не просто важнейший признак змея как биологического вида, а речь идет об атрибуте противника Громовержца в змееборческом эпизоде "основного мифа", о чем недвусмысленно свидетельствуют мифологические контексты обоих заговоров.

7) Космологические представления: *thy biguolen Sinthgunt, Sunna era suister* (M 2) "тогда заклинала ее Синтгунт [букв. 'пути битву (имеющая)'], Солнце ее сестра". Синтгунт отождествляется с месяцем [Vries 1957: 172] по признаку регулярного движения, а деифицированная пара "месяц" и "солнце" относится к основным космологическим элементам[8].

Ср.: "...оболокусь я оболоками, подпояшусь красною зарею, огорожусь светлым месяцем, обтычусь частыми звездами и освечусь я красным солнышком..." [Майков 1869: 42].

Проникновение в заговор космологических представлений вызвано необходимостью обращения к прецеденту – первотворению, гарантирующему максимальную сакральность ритуала и вербальной части заговора.

8) Мотив открытых дверей: *offin sî dir diz sigidor, ... / bislozin sî dir diz wâgidor* (WR) "пусть откроются перед тобой двери победы, ... / пусть закроются перед тобой двери моря"; "...и услыши нас молящихся Тебе и отверзи нам двери, их же никто не может затворити..." [Майков 1869: 267]. Восхождение д.-в.-н. *dor* и русск. *дверь* к общему корню (и.-е. **dhu̯er-*) дополняется антонимичными предикатами 'открывать' – 'закрывать' и общими грамматическими формами – императивами.

9) Мотив засыхания врага или болезни: *Eal he weornige, swa syre wudu weornie* (9, 16) "Весь он [вор] пусть засохнет, как сохнет сухой лес"; "Как у матушки у сухой сосны, сохнут и посыхают сучья и коренья... так бы сохло и посыхало у (имя рек) уроки и призоры и притки, щипоты, ломоты..." [Майков 1869: 210].

Существенно, что идея засыхания реализуется в типичном для заговора сопоставительном предложении, причем глагол "сохнуть" фигурирует и в главной, и в придаточной части, и подкрепляется прилагательным "сухой", то есть очевидны признаки поэтической организации текста.

Подводя итоги сопоставительного анализа трех индоевропейских заговорных традиций (древнегерманской, древнеиндийской и восточнославянской), следует отметить некоторые существенные моменты:

---

[8] Показательна скандинавская параллель из эддического "Прорицания вельвы", посвященного описанию демиургического акта: *Sól varp sunnan, sinni mána, / hendi inni hægri um himinigður; / sól þat né vissi, hvar hon sali átti, / ...máni þat né vissi, hvat hann megins átti* "Солнце бросало с юга, спутник месяца, / правую руку до края небес; / солнце не знало, где его место, / ...месяц не знал, где его сила" [Edda 1962: 2], где солнце и месяц появляются в параллельных конструкциях и обозначаются как спутники (др.-исл. *sinni*, ср. д.-в.-н. *Sinthgunt* с однокорневым элементом). Древнеисландский текст цитируется по изданию [Edda 1962]. Русский текст цитируется по изданию [Старшая Эдда 1963].

1) Семантические параллели гетерогенны по своему происхождению. Они восходят к различным источникам: a) текстам, для которых характерно магическое употребление слова (ср. *n̥men u̯eid – "имя знать"); b) индоевропейской мифологии (ср. отражение змееборческого мотива "основного мифа", мифологемы "преступник" – "волк", кузнеца как хтонического персонажа, эсхатологического раскалывания камня, сакрального растения и др.); c) формулам индоевропейского поэтического языка ("небо" – "земля", "заклинать заклинание"); d) заговору как особому жанру (ср. мотив изгнания болезни, засыхания врага и др.). Конструкции, относящиеся к последнему разряду, подразделяются на две группы: окказионализмы (ср. мотив грохота злых сил или неспокойной рыбы) и случаи, когда сходство в плане содержания обусловлено типом заговора, то есть тематика заговора продиктована в конечном счете прагматическими интенциями субъекта заговора (ср. конструкции, описывающие состав тела, отсылку болезни или возвращение скота).

2) Сходство на уровне идей может подкрепляться языковым тождеством, ср. общее название волка – и.-е. *u̯lkʷos в мифологеме "преступник" – "волк" или двери – и.-е. *dhu̯er- в мотиве открытых дверей.

3) Семантические параллели обладают некоторыми общими формальными приемами, ср., например, антонимическую структуру текста в мотиве возвращения скота, оппозицию "здесь" – "там" в мотиве отсутствия места для враждебных субъекту заговора сил, диалог в мотиве встречи адресанта и адресата заговора. Иными словами, можно утверждать, что одна и та же концепция воплощается одинаковыми методами.

4) Соответствия, обнаруженные в древнегерманских, древнеиндийских и восточнославянских заговорах, не случайны и не хаотичны; они затрагивают релевантные с точки зрения содержания комплексы (ср. центральный эпизод "основного мифа" или мифологему сакрального растения, прообразом которого служит мировое древо).

5) Системность семантических параллелей подтверждается, во-первых, объединением пучка мотивов в пределах одной мифологемы (ср., например, фигурирование числа 9, обозначающего количество змеенышей в сцене поединка Громовержца со змеем, и оружие – гром или совокупность признаков в мифологеме о сакральном растении) и, во-вторых, их взаимной ориентацией (ср. противоположные и в содержательном, и в формальном аспекте конструкции A (nom.) – conj. 1 (с ассоциативным значением) – A (dat.). ... – verb ("соединять") и conj. 2 (с дисъюнктивным значением) – A (в косвенном падеже) – conj. 3 (со значением направления) – B (acc.)... – verb ("выходить").

В целом семантические совпадения, зафиксированные в древнегерманских, древнеиндийских и восточнославянских заговорах, затрагивают важнейшие в концептуальном отношении комплексы и обладают элементами определенной организации. Их изоморфизм на уровне содержания дополняется одинаковыми формальными приемами построения текста.

*

Помимо реконструкции общих представлений, отраженных в древнегерманских, древнеиндийских и восточнославянских заговорах, следует рассмотреть примеры кодирования ключевых идей одним и тем же индоевропейским корнем.

1) И.-е. *st(h)ā-, *st(h)ə- "стоять" [IEW 1125].

a) *Eastweard ic* stande "Лицом к востоку я стою" (1, 26); лат.: Stabat *Mater dolorosa* "Стояла печальная мать"; "...Стой твердо (*dhruvás* tiṣṭha), непоколеби-

мый!" [PB: X, 173, 1]; "Встану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь из избы в избу, из дверей в двери, из ворот в ворота, под восток, под восточну сторону..." [Майков 56];

b) *tô* v e r s t o n t *taz plot,* v e r s t a n d e *tiz plot,* s t a n t *plot*, s t a n t *plot fasto* (SBa) "тогда остановилась кровь, остановись, кровь, стой, кровь, стой, кровь, крепко"; "... и ты, кровь, с т а н и, а не кани" [Майков 170].

2) И.-е. *bhendh-* "с о е д и н я т ь" [IEW 127]: *...daz er Aderuna âderon* f e r b u n d e (PS 2) "...чтобы он соединил жилы Адеруне"; "кто знает их, станет отцом отцов, / и он – связь (*bándhu-*)" [AB: II, 1].

3) И.-е. **u̯ergĥ-* "в ы г о н я т ь" [IEW 1154]: w r e c e ð *heo wraðan* "выгоняет она врага" (2, 17); "мы выгоняем (*ví v ṛ h a m i*)" [PB: X, 163].

4) И.-е. **u̯ert-* "(в о з) в р а щ а т ь" [IEW 1156]: *der heiligo Christ unta sce Marti, der* g a u u e r d ô *uualten hiuta dero hunto, dero zohôno, daz in uuolf noh uulpa za scedin uuerdan ne megi* (WH) "святой Христос и святой Мартин, соблаговолите управлять сегодня кобелями, суками, чтобы им ни волк, ни волчица не причинили вреда"; "Возвратитесь (*ní* v a r t a d h v a m)!... Возврати снова (*púnar... ní* v a r t a y a) их назад!... Да возвратятся они снова назад (*púnar... ní* v a r t a n t ā m)" [PB: X, 16]; "... пойду царя Давида просить... все недуги исцелить и нечистую силу змеи отвратить" [Майков 1869: 177].

6) И.-е. **u̯lkᵘos – *u̯lkᵘā* " в о л к – в о л ч и ц а" [IEW 1178]: *...daz in uuolf noh uulpa za scedin uuerdan ne megi* (WH) "...чтобы им не причинили вреда ни волк, ни волчица"; "...И как же во святом граде Иерусалиме гроб Господень на земли не бывает, так бы у моего стада коровьего, конного и овечьего... не бывать волку и волчице, насланных от лихого человека" [Майков 1869: 285].

Семантические реконструкции характеризуют ключевые предикаты мифопоэтической модели мира, относящиеся к космогонической сфере (**st(h)ā-*, **st(h)ə-* "с т о я т ь"), а также действия, типичные именно для заговоров (**u̯ergĥ-* "в ы г о н я т ь", **u̯ert-* "в о з в р а щ а т ь", **bhendh-* "с о е д и н я т ь"). Древнегерманские, древнеиндийские и восточнославянские данные позволяют реконструировать некоторые синтагмы (**u̯lkᵘos – u̯lkᵘā* "в о л к – в о л ч и ц а") и дифференцировать употребления одного и того же индоевропейского корня (ср. экспозиционную формулу "Я с т о ю" и "с т о й, к р о в ь").

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

AB 1976 – *Атхарваведа*. Избранное. Перевод, комментарий и вступительная статья Т.Я. Елизаренковой. М., 1976.

Буслаев Ф.И. 1861 – О сродстве одного русского заклятия с немецким, относящимся к эпохе языческой // Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. I. СПб., 1861.

Иванов В.В., Топоров В.Н. 1963 – К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание. М., 1963.

Иванов В.В., Топоров В.Н. 1965 – Славянские языковые моделирующие системы. М., 1965.

Иванов В.В., Топоров В.Н. 1966 – Постановка задачи реконструкции текста и реконструкции знаковой системы // Структурная типология языков. М., 1966.

Иванов В.В., Топоров В.Н. 1974 – Исследования в области славянских древностей. М., 1974.

Майков Л.Н. 1869 – Великорусские заклинания. СПб., 1869.

РВ 1972 – *Ригведа*. Избранные гимны. Перевод, комментарии и вступительная статья Т.Я. Елизаренковой. М., 1972.

Старшая Эдда 1963 – *Старшая Эдда*. Древнеисландские песни о богах и героях. Перевод А.И. Корсуна. Редакция, вступительная статья и комментарии М.И. Стеблин-Каменского. М.; Л., 1963.

Топоров В.Н. 1969 – К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров) // Труды по знаковым системам. Вып. IV. Тарту, 1969.

Топоров В.Н. 1993 – Об индоевропейской заговорной традиции (избранные главы) // Исследования в области балтославянской духовной культуры. Заговор. М., 1993.

Топоров В.Н. 1995 – О древнеиндийской заговорной традиции // Малые формы фольклора. Сборник статей памяти Г.Л. Пермякова. М., 1995.
Dobbie 1942 – The Anglo-Saxon minor poems / Ed. by E. von K. Dobbie. N.Y., 1942.
Edda 1962 – *Edda*. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern / Hrsg. von G. Neckel. 4-te, umgearbeitete Auflage von H. Kuhn. Heidelberg, 1962.
Genzmer F. 1950 – Germanische Zaubersprüche // Germanisch-romanische Monatsschrift. N.F. Bd. I. № 1. 1950.
IEW 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch / Hrsg. von Pokorny J. Bd. 1–2. Bern, München, 1959.
Kuhn A. 1894 – Indische und germanische Segenssprüche // KZ. Bd. 13. 1894.
Schauffler Th. 1917 – Althochdeutsche Literatur mit Grammatik, Übersetzung und Texterläuterungen. Berlin, 1917.
Schlerath B. 1962 – Zu den Merseburger Zaubersprüchen // II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck, 1962.
Schmitt R. 1967 – Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden, 1967.
Vries J. de. 1956–1957 – Altgermanische Religionsgeschichte. Bd. 1–2. Brl., 1956–1957.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

© 1997 г. Н.А. ЗАМЯТИНА

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ИКОННЫХ НАДПИСЕЙ*

Особый пласт русской письменной культуры – иконные надписи – представляют интерес для исследования их в содержательном, текстологическом, лингвистическом, палеографическом, искусствоведческом, иконографическом, теологическом и других аспектах. Однако при одноаспектном рассмотрении нарушается их автономность, и иконные надписи служат лишь дополнительным иллюстративным материалом. Если проследить процесс изучения икон за полтора столетия, то становится ясно, что надписям на них особого внимания не уделялось, и в настоящее время мы не имеем даже их свода, не говоря уже о специально им посвященном исследовании.

Интерес к иконным надписям, прежде всего, делового характера (вкладным, летописным и т.п.) возник в XIX веке, когда в 1851 году Императорским Археологическим обществом было задумано широкое описание памятников русской старины и надписей на них (см. [Записка 1851]). Результаты этой работы публиковались в изданиях общества (см., например [Макарий 1857; Пискарев 1857; Свирелин 1892; Суворов 1892]). С одной стороны, этот интерес был связан с зарождением русской эпиграфики после нахождения Тмутараканского камня 1068 г. в 1792 году и золотого змеевика Владимира Мономаха XI в. в 1821 году, с другой стороны, XIX век, особенно вторая его половина, был временем пристального внимания к русскому иконописанию: росло число собирателей и знатоков русской иконы (Н.М. Постников, С.П. Рябушинский, Е.Е. Егоров, Г.М. Прянишников и др.), предпринимались поездки на Афон и в Рим, в ходе которых обследовались памятники русской и византийской иконописи, хранящиеся там (см., например [Уваров 1910]), описывались и издавались рукописные руководства для иконописцев – иконописные подлинники и технические заметки по иконописанию (см., например [Григоров 1887–1888; Подлинник иконописный 1903; Симони 1906]). В 1849 году А.С. Уваров описал и подготовил к изданию надписи византийских и русских икон, хранившихся в Отделе христианских древностей в Ватикане, с указанием на случаи несоответствия датировки изображения и надписи (см. [Уваров 1910: 216–238]). Атрибуцию икон с кириллическими надписями, находящихся в Риме, проводил А.С. Петрушкевич (см. [Петрушкевич 1858; Петрушкевич 1865]).

В 1857 году вышло "Собрание надписей с памятников рязанской старины" А.И. Пискарева. В него вошли три летописных надписи с указанием года создания икон [Пискарев 1857: № 14 (1611 г.), № 34 (1665 г.)] и две надписи без обозначения года [там же: № 59 (XVII в.), 63 (XVIII–XIX вв.)].

Коллекционеры иногда прибегали к помощи палеографов для определения времени создания иконы по сохранившейся надписи. Так, И.И. Срезневский в 1871 г. и А.И. Соболевский в 1914 г. давали заключения о надписях на иконах св. Георгия с житием из Синодальной ризницы и Смоленской Божией Матери из собрания С.П. Рябушинского (см. [Труды 1871; Соболевский 1914: 113]).

Палеографы, включая в свои курсы эпиграфической материал, или "вещевую палеографию" (термин И.А. Шляпкина – см. [Шляпкин 1913]), или "написи" (термин

* Никита Ильич Толстой – научный руководитель автора статьи.

И.И. Срезневского – см. [Срезневский 1885]), лишь упоминают надписи на иконах, перечисляя материал, на котором различными способами делались надписи (см., например [Соболевский 1908: 26; Карский 1979: 109; Черепнин 1956: 185]). Как писал Соболевский, причина подобного "невнимания" состояла в том, что "надписи имеют так много своеобразного, что требуют специального изучения, пока невозможного: они даже не приведены в должную известность" [Соболевский 1908: 26]. Из палеографов, оставивших после себя курсы или учебники по русской палеографии, только В.Н. Щепкин посвятил проблемам палеографии иконных надписей несколько страниц в своем учебнике (см. [Щепкин 1967: 211–215]).

В.Н. Щепкин отмечает ограниченность сходства "почерков письменности и почерков утвари и икон" из-за декоративности последних, которая, в свою очередь, проистекает из того, что надписи входят в "общую декорацию памятников", и предлагает сравнивать их с заглавными почерками письменности, также носящими декоративный характер. Кроме нескольких частных палеографических замечаний Щепкин приводит также свои соображения по поводу несоответствия датировки надписи и иконы, отмечая, что сделанная в подражание оригиналу или выполненная на окраине страны или стариком надпись производит впечатление более архаичной. Важным, с его точки зрения, является также то, что югославянское влияние, отразившееся в русской письменности с конца XV в., в русской иконописи нашло свое отражение гораздо раньше, еще с начала XIV в. (см. подробнее [Щепкин, 1967: 211–215]).

Обращение В.Н. Щепкина к этой теме было откликом на проводившийся в 1920 году Разрядом древнерусского искусства в составе Российской Академии истории материальной культуры, по инициативе его заведующего И.Э. Грабаря, палеографический конкурс, в котором его приглашали участвовать. По условиям конкурса, от специалистов-палеографов требовалось "подробное мотивированное заключение" о каждой надписи с 28 памятников древнерусского искусства (икон и фресок) по 53 фотографиям (список фотографий см. в Приложении I). Надписи были предварительно "освобождены от всех позднейших поправок и дополнений" и были представлены на фотографиях "либо изначальными, либо современными непосредственно под ними лежащему слою живописи, хотя и не изначальному, но все же древнему". Экспертиза должна была быть проведена за 2 месяца, гонорар составлял 15 тысяч рублей (см.: Письмо И. Грабаря П.К. Симони от 13 мая 1920 г. – ГИМ ОПИ, ф. 37, ед. хр. 235, л. 4, машинопись. Издано [Котков 1963: 193–195]). Идентичные письма с просьбой участвовать в конкурсе были отправлены акад. А.И. Соболевскому, акад. А.А. Шахматову, проф. В.Н. Щепкину (Отдел рукописей ГТГ, фонд Грабаря, №№ 497, 504. Оба без даты). Из письма Грабаря Н.Я. Марру от 4 апреля 1920 г. следовало, что В.Н. Щепкин и А.И. Соболевский согласились участвовать в экспертизе. В архиве Грабаря сохранился ответ Щепкина (см.: Приложение II) и письмо Соболевского с краткими, лаконичными датировками надписей на иконах, подлежащих экспертизе (см.: Приложение IV). А.А. Шахматов не мог принять участие в конкурсе и порекомендовал Грабарю пригласить профессора Петербургского университета П.К. Симони, лингвиста, палеографа, знатока техники книжного дела и иконописи, работавшего тогда над составлением "Словаря графических искусств старого и нового времени" (см. [Замятина 1994]). Симони с готовностью согласился (см.: Приложение III).

По поручению Шахматова, еще до получения письма Грабаря с условиями проведения экспертизы, Симони составил докладную записку, в которой изложил свои соображения о методике палеографической экспертизы иконных надписей (ГИМ ОПИ, ф. 37, ед. хр. 235, лл. 17–18, машинопись: Докладная записка от 9 мая 1920 г. Издано [Котков 1963: 195–198]). Симони ставит перед палеографами задачу составления "сводной азбуки" всех буквенных начертаний иконных надписей, отмечая при этом невыполнимость пока даже "такой предварительной грубой исследовательской работы", так как "русская эпиграфика, особенно иконная, еще по сие время почти не существует" в силу того, что не собраны и не разработаны еще памятники, и

нет еще надежных снимков с надписей, памятники же иконописи издаются "вообще хуже, чем памятники других отделов археологической науки, а вопроса об изучении палеографической стороны иконных изображений почти что и не подымалось" [Котков 1963: 197]. Симони считает необходимым для палеографа, датирующего икону, непременно самому "осязательно изучить" технику исполнения данной иконы, "различать глазом и при дневном свете... поправки, переделки, подчистки, починки, пропуски букв, вязи и т.д., смешение приемов, т.е. употребление краски и золота... – вообще случаи, не закрепляемые фотографией"; "помимо всего этого палеографу вообще нужно знать, золотом ли или красками, киноварью, суриком, баканом или белилами, или чернилами написаны буквы и знаки надписи" [Котков 1963: 197]. Остается пока неясным, выполнил ли Симони экспертизу. В письме Симони от 26 июня 1920 г. Грабарь пишет о возможности продления срока экспертизы в случае надобности, особенно учитывая, что материалы не были доставлены всем экспертам 1-го мая 1920 г. из-за сложной обстановки в стране [Грабарь 1977: 36, № 28]. В августе 1920 г. в письме Грабарю Симони извинялся, что не смог закончить работу в срок, и просил об отсрочке (письмо Грабарю от 25 августа 1920 г. – Отдел рукописей ГТГ, ф. 106, № 10764). Коллекция снимков и материалы работы, по всей видимости, остались в архиве ученого.

Грабарь надеялся, что ряд подобных экспертиз даст чрезвычайно ценный материал, который "необходимо будет напечатать в особом сборнике Академии" [Грабарь 1977: 36, № 28]. Подобный сборник так и не появился [там же: 311, прим. ред. 47].

В 1936 году вышло первое научное издание по русской эпиграфике – "Библиография русских надписей XI–XV вв." А.С. Орлова (см. [Орлов 1936]), которое было дополнено М.П. Сотниковой в 1952 году новыми надписями и библиографией до 1951 г. (см. [Орлов (с доп. Сотниковой) 1952]). У Орлова, который поставил перед собой задачу описать и снабдить библиографией все известные науке и разбросанные по разным изданиям надписи, зафиксированы надписи с 48 икон (из 303 описанных надписей): XII в. – №№ 53, 57, 63, 65; XIII в. – №№ 89, 98, 106, 108, 121; XIII–XIV вв. – № 67; XIV в. – №№ 138, 147–152, 160, 161, 171–173; XIV–XV вв. – №№ 174, 203; XV в. – №№ 228, 243, 250, 254, 255, 257, 260–263, 283, 288–291, 294–301. В издании отсутствуют снимки и прориси иконных надписей, тексты же приведены только для восьми из них (№№ 98, 106, 121, 147, 148, 243, 250, 255).

В 1964 году выходят "Датированные надписи XI–XIV вв." Б.А. Рыбакова [Рыбаков 1964]. Особую ценность книги составляют таблицы буквенных начертаний, расположенных в хронологическом порядке. Они являются отныне основой для датировки остальных надписей, в том числе иконных. Среди датированных надписей XI–XIV вв. встретилось только две иконных надписи первой половины XII в., сделанные на окладах (те же надписи см. у Орлова [Орлов (с доп. Сотниковой) 1952: №№ 18, 19]), и ни одной, выполненной краской и кистью и являющейся частью иконного изображения. Рыбаков не рассматривает надписи, выполненные в подобной технике, и в своей классификации надписей по материалу и способу нанесения (см. [Рыбаков 1963: 43]).

В 1966 году внимание лингвистов к надписям на предметах и зданиях XI–XIV вв. как весьма ценному и многогранному лингвистическому источнику пытается привлечь Н.В. Подольская (см. [Подольская 1966]). Подольская предлагает классификацию надписей не по материалу и способу, а по предназначению предмета, содержащего надпись. Такая группировка надписей, с ее точки зрения, отвечает цели показать связи между содержанием надписи и назначением предмета. Подольская выделяет три категории предметов с надписями: 1 – культовые предметы, на которых надписи встречаются чаще всего; 2 – бытовые предметы и 3 – части и детали зданий. Подольская подробно, насколько позволяют рамки статьи, останавливается на надписях культовых предметов (икон, крестов, церковной утвари), отмечая особенности иконных надписей: обязательность в силу иконописной традиции; характер содержания (именные, поясняющие при сюжетном изображении, молитвенные, цитаты из Библии);

место обычного расположения (в центре при изображении, на полях в клеймах, на свитках и раскрытых книгах, по краю иконы, на оборотной стороне иконы); особенности языка (передача различных фонетических и морфологических явлений, характерных для того или иного периода истории русского языка, формульность некоторых типов надписей, например, молитв, цитат из Библии и др.); связь содержания надписей с некоторыми другими видами источников (богослужебной литературой, житиями святых); разнообразие стилей: от торжественных богослужебных формул до образцов народно-разговорного языка (см. об этом также [Рыбаков 1963: 41]).

Идущую от Ф.И. Буслаева традицию рассмотрения изобразительного искусства и литературы древней Руси (см., например [Барсов 1885; Борин 1914; Буслаев 1866: 67–148; 210–212; Гусев 1903; Гусев 1898; Кирпичников 1895]) в XX веке продолжают историки, искусствоведы, реставраторы, историки литературы (см., например [Антонова 1957; Бегунов 1966; Данилова 1968; Маясова 1969; Павлова-Сильванская 1968; Попов 1966; Порфиридов 1969; Смирнова 1958]). Два сборника научных трудов были специально посвящены этой теме (см. [Взаимодействие 1966; Взаимодействие 1985]). Первой к этой проблематике обратилась О.И. Подобедова (см. [Подобедова 1954]), определившая направления дальнейших исследований, в частности: сравнение клейм с текстом жития, объяснение расхождений между ними, выяснение зависимости состава клейм и их образного строя от авторской концепции, определение связей житийной иконы и миниатюры, истолкования художником текста жития, способов передачи содержания в житийной иконе и т.д. Впоследствии ученые упростили поставленные задачи и прежде всего были заняты поисками литературного источника иконного изображения, указывая на расхождения между авторским замыслом и текстом жития, описывая состав клейм и уточняя атрибуцию иконы [Кочетков 1974: 3].

В 1974 году появляется исследование И.А. Кочеткова, посвященное общим закономерностям иллюстрирования текста в житийной иконе (см. [Кочетков 1974]). В отличие от других исследователей-нелингвистов Кочетков обращает внимание и на надписи клейм, в частности, на эволюцию употребления глагольных форм в житийных иконах XIV – 2 пол. XVI вв. [там же: 157–158].

В 1985 году к иконным надписям обратилась М.С. Трубачева. В статье "О происхождении и некоторых свойствах надписей на иконах" Трубачева классифицирует иконные надписи по содержанию, предлагая свои термины для обозначения именных подписей Иисуса Христа, Богоматери и святых ("теонимограмма", "агионим" – [Трубачева 1985: 75, прим. 3, 4]): 1 – имена Христа и Богоматери, переданные в сокращенной записи, иначе, теонимограммы; 2 – имена святых, или агионимы; 3 – наименования событий; 4 – тексты на свитках или Евангелии, имеющие литературный источник; 5 – тексты в клеймах иконы, следующие в своей основе житийным и другим литературным источникам; 6 – тексты молитв, помещаемые на полях иконы или включенные в композицию изображения; 7 – пространные тексты к изображенным событиям, включенные в композицию" [Трубачева 1985: 61–62]. Трубачева приводит также некоторые факты истории изучения иконных надписей [там же: 62–63] и полемики реставраторов относительно сохранения или удаления поздних надписей на иконах в процессе их расчистки и реставрации [там же: 63–64]; пытается найти объяснение обязательному присутствию подписей на иконах, прибегая к работам философов, историков литературы и искусства, а также к анализу греческих энкаустических икон V–VIII вв. и памятников раннехристианского искусства, предшествовавших иконам (фресок римских катакомб, мозаик, саркофагов, надгробных плит). В результате проведенного исследования Трубачева приходит к заключению, что "значение надписей... и традиция помещения их подле изображения не были изобретены христианским искусством, а были переняты у римлян... Римская культура была непосредственным источником зарождения некоторых христианских обычаев" [там же: 69].

Такова краткая история изучения различных аспектов русской иконной эпиграфики. Как видим, палеографическая и лингвистическая стороны практически не получили

научного освещения, главным образом, из-за отсутствия специализированных изданий иконных надписей и труднодоступности самих памятников для изучения их филологами. В архивах музеев (например, Государственной Третьяковской галереи и Музея Древнерусского искусства им. А. Рублева) находятся описания надписей на иконах из музейных собраний. В некоторые издания памятников древнерусского искусства вводится описание надписей (см., например [Косцова 1992]), вышло первое специальное издание икон с надписями [Косцова, Побединская 1990].

Иконные надписи требуют комплексного подхода. "Многоаспектность заложена в самой природе надписи, которая представляет собой, с одной стороны, объект лингвистического источниковедения, а с другой – явление средневековой письменной культуры и духовной жизни в целом" [Рождественская 1992: 155]. Уже есть первый опыт "полного анализа" русской эпиграфики как особого типа текста в системе древнерусской письменности, результаты которого были непосредственно определены степенью ее археологической и реставрационной изученности. Автор его, Т.В. Рождественская, специалист-филолог, обращается к палеографическому, текстологическому и лингвистическому, а также прагматическому и социолингвистическим аспектам надписей XI–XV вв. на стенах храмов, предметах быта и памятниках прикладного искусства [Рождественская 1992]. Согласно концепции теории текста в результате "полного анализа" выявляется несколько уровней организации текста: от общих правил построения любого связного текста до уникальной дешифруемой модели "культурного фона" эпохи созданного текста [Николаева 1987]. Именно такой подход позволил Рождественской "реконструировать механизмы функционирования письменной культуры того или иного древнерусского города как центра книжности и просвещения" [Рождественская 1992: 4–5].

Таким образом, круг задач, стоящих перед исследователем иконной эпиграфики, включает в себя, помимо составления возможно более полного свода иконных надписей, рассмотрение материала этих надписей в свете теории текста с ее установкой на "полный анализ".

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Список фотографий с икон, предложенных для палеографического конкурса в 1920 г.

[Отдел рукописей ГТГ. Фонд Грабаря (ф. 106), № 15846.
Машинопись. 1 л. Без даты].

1. (1). Икона Владимирской б(ого)м(атери) из Московского Успенского собора.
2. (2–4). Деталь фрески в Дмитровском соборе, во Владимире.
3. (5–6). Деталь иконы Спаса Нерукотворного в Б. Московском Успенском соборе (оборот(ной) стороны).
4. (7–10). Деталь иконы Св(ятого) "Евана", приобретенной для Национального Музея в Москве.
5. (11–13). Деталь иконы Покрова Богородицы из Суздальского Покровского монастыря.
6. (14–15). Деталь иконы Благовещения из Никольского Единоверческого монастыря.
7. (16). Деталь иконы Успения из обратной стороны Донской б(ого)м(атери) Моск(овского) Благов(ещенского) собора.
8. (17). Деталь иконы Успения из Кирилло-Белозерского монастыря.
9. (18–20). Деталь иконы Грузинской Б(ого)м(атери) из Суздальского Покровского монастыря.
10. (21). Деталь иконы ап(остола) Павла из Деисусного чина Серпуховского Высоцкого монастыря.

11. (22). Надпись на Евангелии иконы Спасителя из чина Московского Благовещенского собора.
12. (23). Деталь иконы "О Тебе радуется" из Суздальского Покровского монастыря.
13. (24). Деталь иконы "Не рыдай Мене Мати" из Кашина.
14. (25). Деталь фрески в Успенском соборе на Городке в Звенигороде.
15. (26–27). Деталь иконы из Благовещенского собора в Кремле.
16. (28–32). Деталь иконы Спасителя (28), Богоматери (29), Иоанна предтечи (30), Арх(ангела) Михаила (31), Арх(ангела) Гавриила (32) из чина Никольск(ого) Единоверч(еского) мон(астыря) в Москве.
17. (33–36). Деталь иконы Одигитрии из Вознесенского мон(астыря) Моск(овского) Кремля.
18. (37–39). Деталь иконы "Апокалипсис" из Б. Моск(овского) Успенск(ого) собора.
19. (40). Икона Варлаама Хутынского из Мироваренной Палаты М(осковского) Кремля.
20. (41–43). Деталь Четырехчастной иконы из Моск(овского) Благов(ещенского) собора.
21. (44–46). Деталь иконы Алексея Божия Человека из Чудова монастыря.
22. (47). Деталь иконы Воскрешения Лазаря из праздн(ичного) чина М(осковского) Благов(ещенского) соб(ора).
23. (48). Деталь иконы Николая Чудотворца из Моск(овского) Новодевич(ьего) монаст(ыря).
24. (49). Деталь Четырехчастной иконы из собр(ания) Новгородского древнехранилища.
25. (50). Деталь иконы Николая Чудотворца из Троице-Сергиевской лавры.
26. (51). Деталь иконы Страшный Суд из Моск(овского) Успенского собора.
27. (52). Деталь иконы ап(остола) Петра из Никольск(ого) Единоверч(еского) монастыря.
28. (53). Деталь иконы Спасителя из Никольск(ого) Единоверч(еского) монастыря.

Заведующий разрядом (И. Грабарь)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Письмо В.Н. Щепкина И.Э. Грабарю. От 14 апреля 1920 г.

[Отдел рукописей ГТГ. Фонд Грабаря (ф. 106), № 12770.
Рукопись на 2-х листах]

(л. 1) Многоуважаемый Игорь Эммануилович,

Я произвел некоторую подработку и опыты по палеографии иконных надписей. Мои наблюдения склоняются к тому, что одни надписи дадут чрезвычайно мало за исключением редких случаев. Палеограф и в данном случае должен судить не по одной какой-нибудь примете, а по совокупности примет, не только рисунки отдельных букв, но помещение надписи, изображения, рисунок фигур etc. etc. Только сравнив все три приметы, палеограф может датировать надпись. Суждение по совокупности примет есть основное требование палеографического метода. (л. 1 об) Ведь и почерк рукописи мы нередко датируем окончательно по данным ее орнамента, миниатюры или водного знака. Совокупность примет еще более необходима в палеографии иконных надписей, которые еще совсем не тронуты в своей оригинальной стороне, где они расходятся с почерками рукописей. Думаю, что, имея перед глазами цельный памятник, а не вырванную из связи фактов надпись, серьезный палеограф все же прежде всего обратится к анализу этой последней, а не к документальным данным о

памятнике. Т(аким) о(бразом), я желал бы убедить Вас, что моя работа может быть плодотворной только на основании фотографий с целых памятников, а равно на основании самих оригиналов. Я, б(ыть) м(ожет), не отказался бы судить и по анонимным вырезкам, но, судите сами, какую неизбежную критику на самый метод подобной датировки я помимо воли должен буду давать во всякой строке, мною написанной в ответ на вырезки. Палеография требует иной постановки опыта, если выводы должны быть определенны. Боюсь, что Шахматов тоже станет на мою точку зрения. Я надеюсь видеть Вас в Комиссии миниатюры.

Искренне Ваш и всегда к услугам,

В. Щепкин

14.IV.1920

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Письмо П.К. Симони И.Э. Грабарю от 16 июня 1920 г.

[Отдел рукописей ГТГ. Фонд Грабаря (ф. 106), № 10763.
Рукопись на 2-х листах]

(л. 1) Глубокоуважаемый Игорь Эммануилович,

получив от Разряда древнерусского искусства Московской Секции Российской Академии материальной культуры за Вашей подписью предложение от 13 мая с.г. заняться исследованием характера письма отдельных букв и надписей на нескольких интересующих Разряд иконах и сообщить свои замечания до 1-го июля с.г., 1) считаю своим долгом горячо приветствовать в Вашем лице как Председателя Разряда счастливейшую мысль о необходимости, наконец, разобраться в массе (л. 1 об) накопившихся иконописных надписей, в разных типах связнописания и декоративной украшающей вязи, разных письменах в клеймах, системах выноски из строки букв и сокращений слов и т.под. на иконах, на поверхности самих иконных досок, воскомастичной и иной амальгамы, на камнях и т.д. – 2) спешу изъявить полное свое согласие на предложение высокоуважемого Разряда мне упомянутой палеографической экспертизы и изъявляю вместе с тем готовность служить целям Разряда и способствовать ему в начатом предприятии – всеми зависящими только от меня средствами.

Единственно, что только меня затрудняло бы, это кратковременность срока: до 1-го июля с.г., т.е., как я понял, через неделю я уже должен отправить с окказиею свой пакет с далеко незаконченною работою. (л. 2) Этот крайне недостаточный, по крайней мере, для меня срок для выполнения порученной мне работы (т.к. занятия в библиотеках Петрограда летом ограничены кратким промежутком времени, когда они открыты, а к тому же у меня еще не закончились учебные занятия со слушателями Института и Библиотечных курсов, где мне пришлось ныне [читать] совершенно новые предметы, еще не читавшиеся и у меня не начитанные также) вынуждает меня просить, насколько будет возможно, у Разряда об удлиннении срока и об отсрочке представления конечной экспертизы.

Считаю долгом принести Разряду в Вашем лице свою глубокую признательность за лестное предложение поработать для общей пользы на поле изучения столь любезного мне дела, как древнерусское искусство и иконописание.

С глубоким почтением, уважением и признательностью, готовый к услугам,
Ваш П. Симони

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Письмо А.И. Соболевского И.Э. Грабарю. От 25 июля 1920 г.

[Отдел рукописей ГТГ. Фонд Грабаря (ф. 106), № 10857.
Рукопись на 3-х листах]

(л. 1) Милостивый Государь Игорь Мануилович!

Вот Вам мои ответы на интересующие Вас вопросы.

Фот. № 2: **ѳѵ** для русской почвы может быть датировано XI–XII в.

Фот. №№ 3, 4: **ісак** и **іꙗков** могут быть датированы тем же временем; особенно архаичны буквы **ꙗ к, ъ**.

Фот. №№ 5–6: надписи, по употреблению **ц** вм[есто] **ч** в – **оцитіи** = очитіи, могут быть считаемы за сделанные новгородцем; письмо XII – нач. XIII в.; правописание – **ъ, ь** вм. **о, е** и наоборот – обычное для ряда памятников XII–XIII вв.

Фот. №№ 7–10: надписи могут быть датированы XII–XIII в. В одном из новгородских Евангелий, кажется, в Ев[ангелии] 1270 г., мне встретилось **иканъ** = іоаннъ (срв. **иксифъ** = іосифъ, **иквъ** = іовъ и т.п., с **к** вм[есто] **о**, что нередко). Помнится **иквaнъ** или близкое написание есть в числе надписей Нередицкой церкви. Имя **Еванъ** мне встретилось, и не раз, в грамотах XIV–XV вв., двинских и вологодских, вообще северно-русских (без местной датировки).

Приподнятый язычок буквы **е** в **еванъ** тянет надпись к XIII в., скорее к второй половине этого в[ека], (л. 1 об.) но другие буквы, особенно **а** в агиосъ, **и** и **ъ**, более архаичны.

Фот. №№ 11 и 12: **к** в **покров,** с высоким перехватом заставляет меня относить надписи к XIV в. Другие буквы более архаичны.

Фот. №№ 14 и 15: надписи – греческие; характерна вязь двух **г**; характерны придыхания и ударения. Ничего ни русского, ни вообще славянского. Времени не берусь определить.

Фот. №№ 16 и 17: надписи – к. XIV или нач. XV в. Характерны **є** с приподнятым язычком и **к** с косой поперечной чертой.

Фот. №№ 18–20: надписи скорее греческие, чем русские или вообще славянские. Времени не берусь определить.

Фот. № 22: надпись XV в. Первое слово **рч҃ь = рече**, с **ь** вм[есто] **е**.

Фот. № 23: надпись – к. XIV в. или нач. XV в. Характерно **к** с косой чертой.

Фот. № 24: надпись – XV в.; письмо – полуустав.

Фот. № 25: то же.

Фот. №№ 26 и 27: то же.

Фот. №№ 28 и 29: надписи греческие или скопированные с греческих. То же можно сказать о №№ 31 и 32.

Фот. № 30: надпись к. XV в. или нач. XVI в. Характерно **ч**.

Фот. №№ 33–36: надписи по шаблонности начертания не поддаются датированию, заметны греч[еские] элементы.

Фот. №№ 37–39: надписи – к. XVI в. или первой половины XVII в.

Фот. №№ 40–43: то же. Характерно **ꙗ = и**, с кривыми чертами, и **ɑ = а**.

Фот. №№ 44–46: надписи – XVII в., ближе к концу, чем к нач[алу] этого в[ека].

(л. 2) Фот. № 48: надписи могут быть датированы XII–XIII в. (кроме: **Николае**, которая – XVII в.). Характерны **з** в **Казма**, с хвостом вперед, **ѳ** в **ѳотинія**.

Фот. № 49: надписи – полуустав XV в.

Фот. № 50: письмо столь искусственное, что всего более похоже на новейшее, подделывающееся под устав XI–XIII вв.

Фот. № 51: письмо – полуустав, XV или XVI в.

Фот. № 52: полуустав XVII в., напоминающий вязь этого столетия.

Фот. № 53: полуустав со скорописными чертами (**соу$^{д''}$те = -ди-**), XVII в.

Извините за краткость и бездоказательность. Не имею под руками никаких книг и не хочу ссылаться по памяти.

25/VII–1920. Ваш покорный слуга. Соболевский.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Антонова В.И. 1957 – Московская икона н. XIV в. из Киева и "Повесть о Николе Зарайском" // ТОДРЛ. М.-Л., 1957. Т. XIII.

Барсов Е.В. 1885 – О воздействии апокрифов на обряд и иконопись // ЖМНП. 1885. Декабрь.

Бегунов Ю.К. 1966 – Житие Александра Невского в станковой живописи н. XVII в. // ТОДРЛ. М.; Л., 1966. Т. 22.

Борин В. 1914 – Две иконы Новгородской школы XV в. святых Петра и Алексия // Светильник. 1914.

Боричевский И.П. 1850 – Объяснение надписи на иконе в Смоленске // Записки СПб. Археологическо-нумизматического общества. СПб., 1850. Вып. III.

Буслаев Ф.И. 1866 – Общие понятия о русской иконописи // Сборник общества древнерусского искусства. М., 1866.

Взаимодействие 1966 – Взаимодействие литературы и изобразительного искусства в древней Руси // ТОДРЛ. М.; Л., 1966. Т. 22.

Взаимодействие 1985 – Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства // ТОДРЛ. М.; Л., 1985. Т. 38.

Грабарь И.Э. 1977 – Письма 1917–1941. М., 1977.

Григоров Д.А. 1887–1888 – Древнерусский иконописный подлинник // Записки Имп. Археологич. общества. Новая серия. СПб., 1887–1888. Т. III. Вып. 1–4.

Гусев П.Л. 1903 – Новгородская икона святого Иоанна (Илии) архиепископа в деяниях и чудесах. СПб., 1903.

Гусев П.Л. 1898 – Новгородская икона святых Бориса и Глеба в деяниях. СПб., 1898.

Данилова И.Е. 1968 – Житийные иконы митрополитов Петра и Алексия из Успенского собора в Кремле в связи с русской агиографией // ТОДРЛ. Л., 1968. Т. 23.

Замятина Н.А. 1994 – Рукописная картотека "Материалы для словаря графических искусств старого и нового времени" П.К. Симони // ВЯ. 1994. № 6.

Записка 1851 – Записка для обозрения русских древностей / Имп. Археологич. общество. СПб., 1851.

Карский Е.Ф. 1979 – Славянская кирилловская палеография. [Л., 1928]. М., 1979: факсимильное издание.

Кирпичников А. 1895 – Взаимодействие иконописи и словесности народной и книжной // Труды VIII-го Археологического съезда в Москве 1890 г., М., 1895. Т. II.

Косцова А.С. 1992 – Древнерусская живопись в собрании Эрмитажа: иконопись, книжная миниатюра и орнаментика. XIII – начало XVII века. СПб., 1992.

Косцова А.С., Побединская А.Г. 1990 – Русские иконы XVI – нач. XX вв. с надписями, подписями и датами: Каталог выставки. Л., 1990.

Котков С.И. 1963 – П.К. Симони об изучении надписей на памятниках древнерусской станковой живописи // Исследования по лингвистическому источниковедению. М., 1963.

Кочетков И.А. 1974 – Житийная икона в ее отношении к тексту жития: Дис... канд. искусствоведения / МГУ им. М.В. Ломоносова, М., 1974.

Макарий (Миролюбов) 1857 – Памятники церковных древностей: Нижегородская губерния. Соч. архимандрита Макария. Спб. [Имп. Археолог. общество], 1857.

Маясова Н. 1969 – Памятник с Соловецких островов: Икона "Богоматерь Боголюбская с житиями Зосимы и Савватия". Л., 1969.

Николаева Т.М. 1987 – Единицы языка и теория текста // Исследования по структуре текста / Отв. ред. Т.В. Цивьян. М., 1987.

Орлов А.С. (с доп. Сотниковой) 1952 – Библиография русских надписей XI–XV вв. (с дополнениями М.П. Сотниковой). М.; Л., 1952.

Орлов А.С. 1936 – Библиография русских надписей XI–XV вв. М.; Л., 1936.

Павлова-Сильванская М.П. 1968 – Житийная икона Параскевы Пятницы с 18 клеймами // Древнерусское искусство: Художественная культура Пскова. М., 1968.

Петрушкевич А.С. 1858 – Древняя икона Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа с старославенскою надписью // Церковный вестник / Изд. И. Раковский. Будин, 1858. № 7.

Петрушкевич А.С. 1865 – О древнейших иконах с кириллическими надписями, находящихся в Риме. Львов, 1865.

Пискарев А.И. 1857 – Собрание надписей с памятников Рязанской старины // Записки Имп. Археологич. общества. СПб., 1857. Т. 8.

Подлинник иконописный 1903 – Подлинник иконописный [XVII вв.] / Изд. С.Т. Большаков, под ред. А.И. Успенского. М., 1903.

Подобедова О.И. 1954 – "Повесть о Петре и Февронии" как литературный источник житийных икон XVII в. // ТОДРЛ. М.; Л., 1954. Т. 10.

Подольская Н.В. 1966 – Надписи на предметах и зданиях – лингвистический источник: по материалам XI–XIV вв. // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966.

Попов Г.В. 1966 – Иллюстрации "Хождения Иоанна Богослова" в миниатюре и станковой живописи к. XV в. // ТОДРЛ. Л., 1966. Т. 22.

Порфиридов Н.Г. 1969 – О некоторых новых фактах параллелизма словесных и изобразительных памятников // ТОДРЛ. М.; Л., 1969. Т. 24.

Рождественская Т.В. 1992 – Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые источники XI–XV вв. СПб., 1992.

Рыбаков Б.А. 1963 – Русская эпиграфика X–XIV вв.: Состояние, возможности, задачи // История, фольклор, искусство славянских народов. V Международный съезд славистов. София, сент. 1963 г. Доклады сов. делегации АН СССР. М., 1963.

Рыбаков Б.А. 1964 – Русские датированные надписи XI–XIV вв. // Археология СССР. Свод археологических источников / Под общей ред. акад. Б.А. Рыбакова. М., 1964. Вып. Е-I-44.

Свирелин А. 1892 – Надписи, имеющиеся в г. Переяславле-Залесском // Труды VII-го Археологич. съезда в Ярославле (1887 г.). М., 1892. Т. 3.

Симони П.К. 1906 – К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного писца при книжном и иконном строении. Материалы для истории техники книжного дела и иконописи, извлеченные из русских и сербских рукописей и других источников XV–XVIII столетий / Собрал и снабдил вводною статьею и объяснительными примеч. П. Симони. СПб., 1906.

Смирнова Э.С. 1958 – Отражение литературных произведений о Борисе и Глебе в древнерусской станковой живописи // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15.

Соболевский А.И. 1908 – Славяно-русская палеография с 20 палеографическими таблицами. 2-ое изд., СПб., 1908.

Соболевский А.И. 1914 – Божия Матерь Смоленская из собрания СП. Рябушинского // Русская икона. СПб., 1914. Вып. 2.

Срезневский И.И. 1885 – Славяно-русская палеография XI–XIV вв.: Лекции, читанные в СПб. ун-те в 1865–1880 гг. СПб., 1885.

Суворов И. 1892 – Надписи на церковных предметах: иконах, крестах, колоколах и т.п. в церквах Вологодского уезда // Труды VII-го Археологич. съезда в Ярославле (1887 г.). М., 1892. Т. 3.

Трубачева М.С. 1985 – О происхождении и некоторых свойствах надписей на иконах // Древнерусское искусство: Исследование и реставрация. Сб. научн. трудов. М., 1985.

Труды 1871 – Труды I-го Археологического съезда 1869 г. М., 1871. (И.И. Срезневский: датировка иконы Георгия Победоносца по надписям).

Уваров А.С. 1910 – Образцы византийского и русского иконописания [1849 г.] // Уваров А.С. Сборник мелких трудов. Изд. ко дню 25-летия со дня кончины / Под ред. гр. П.С. Уваровой. Т. I: Христианские древности и зодчество. М., 1910.

Черепнин Л.В. 1956 – Русская палеография. М., 1956.

Шляпкин И.А. 1913 – Русская палеография по лекциям, читанным в СПб. Археологическом ин-те. СПб., 1913: переп. с изд. слушателей 1905–1907 гг.

Щепкин В.Н. 1967 – Русская палеография [1918–1920 гг.]. Приложение III: Датировка иконных надписей: общие принципы. М., 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1997

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1997 г. Г.Ф. БЛАГОВА

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ В АРХИВНЫХ РАБОТАХ АКАДЕМИКА А.Н. САМОЙЛОВИЧА

Особой заботой Никиты Ильича Толстого в бытность его сначала ответственным секретарем редакции, а в последние годы – главным редактором, был раздел "Из истории языкознания" (позднее – "Из истории науки"); он, как никто другой, умел находить для журнала неопубликованные материалы из лингвистического наследия. Известный как один из крупнейших историков славистики, бессменный член Комиссии по истории филологических наук Никита Ильич относился с неизменным вниманием к работе лингвистов над архивами ушедших ученых. Мне не посчастливилось успеть поделиться с Никитой Ильичем своими разысканиями в архиве академика А.Н. Самойловича.

Размах предпринятых Самойловичем исследований в области истории литературы и литературного языка тюркских народов Средней Азии, тщательность и основательность в обработке огромных заделов материала – в сочетании с четко выраженным принципом историзма – могут свидетельствовать о том, какой поистине классический труд по тюркскому историческому языкознанию и литературоведению остался неосуществленным из-за того, что круто изменилась судьба ученого, трагически оборвалась его жизнь на 58-ом году (см. [Ашнин 1963; 1978а; Благова 1993: 3–5]). При ознакомлении с архивными материалами А.Н. Самойловича также расширяются и обогащаются наши представления об истории изучения в России XX в. уникального памятника тюркского средневековья –"Бабур-наме" (см.: [Самойлович 1994]). Каждая публикация из архивного наследия А.Н. Самойловича может внести хотя бы малую толику в дело уточнения истинного места ученого в современном научном процессе.

Посредством того архивного материала, который, как надеемся, не оставил бы равнодушным Н.И. Толстого, хотелось бы выразить глубочайшее уважение историку науки, Человеку, всей душою радевшему о будущем России и ее культуры, почтить светлую память Никиты Ильича, ушедшего от нас уже несколько месяцев назад, ввиду дня его рождения – 17 апреля, первого дня рождения Никиты Ильича в отсутствии его самого.

Академик Александр Николаевич Самойлович (1880–1938) принадлежит к плеяде русских востоковедов-филологов широкого профиля: он изучал современные и старописьменные тюркские языки; будучи признанным знатоком среднеазиатско-тюркских манускриптов, гармонически сочетал исследования истории литератур и литературных языков тюркских народов Средней Азии, текстологическую работу и эдиционную практику, публикуя тщательно подготовленные, снабженные подробными комментариями, переводом и введением тексты средневековых и более поздних литературных памятников; широко известен вклад ученого в фольклористику и этнографию тюркских народов. По собственному признанию ученого, его ближайшей

специальностью была "история литературы и литературного языка тюркских народов Средней Азии" [Самойлович 1936: 165–166].

В 1917–1918 гг. Самойловичем составлялся сборник под авторским названием "Турецкие этюды"[1] (на архивной папке чужой рукой написан подзаголовок: "Исследование по истории среднеазиатско-турецких литератур и языков") из статей, написанных им за тот же период в связи с изданием, переводом и исследованием "Сборника стихотворений императора Бабура" [Самойлович 1917]. Работа эта осталась незавершенной. Черновой автограф "Турецкие этюды" (выполнен чернилами и карандашом; 872 лл., в том числе лл. 762а, 521а) сохранился в отделе рукописей и редких книг Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург; далее – РНБ) в составе обширного архива А.Н. Самойловича: ф. 671, оп. 487, разр. IV, ед. хр. 100. Рукописное наследие А.Н. Самойловича в ленинградских архивохранилищах описано Л.В. Дмитриевой [Дмитриева 1963; 1978].

Предлагаемый вниманию читателей черновой автограф Фрагмента (так здесь и далее мы обозначаем для краткости публикуемый материал А.Н. Самойловича) входит в состав незаконченного труда "Турецкие этюды" как его VII раздел, хотя такой раздел не числится в плане работы (="Оглавление", ед. хр. 100, л. 1), опубликованном со значительными пропусками Л.В. Дмитриевой: [Дмитриева 1978: 296].

Фрагмент имеет собственное название, текст его заключен в самодельную обложку – пополам сложенный лист писчей бумаги (Самойлович работал, в основном, на полулистах, хотя иногда использовал и полноформатные), левая половина которого (л. 840) оформлена автором как "титульный лист". Этот титульный лист несет важную информацию: в верхней его части проставлена фамилия и инициал автора (А. Самойлович), чуть ниже – заглавие: "VII. [зачеркнуто: Взаимоотношение турецких литератур] О среднеазиатско-турецком литературном языке и его отношении к другим турецким языкам"; внизу "выходные данные" – "Петроград 1917", содержащие, как видим, точную датировку написания Фрагмента.

Сохранившийся автограф Фрагмента является неполным по двум причинам. Во-первых, А.Н. Самойлович предполагал еще продолжить работу над рукописью: так, в тексте он оставлял место для тех данных, которые требовали уточнения и могли быть вписаны позднее, проставлял номера сносок и так же оставлял место для последующего вписывания их содержания. Во-вторых, создается впечатление, что листы, составляющие автограф, некогда были рассыпаны и при этом отдельные листы могли быть утрачены. Во всяком случае, сквозная пагинация на протяжении Фрагмента несколько раз менялась, причем подчас листы нумеровались без учета смысла и наличия текстовой стыковки между ними.

Из содержания Фрагмента и из первоначального намерения Самойловича посвятить этот раздел историко-литературоведческой проблеме (см. зачеркнутый вариант его названия) видно, что соображения о литературном языке (или: языке литературы), о периодизации его истории возникали у ученого при изучении "взаимоотношения турецких литератур", при установлении периодов развития "среднеазиатско-турецких литератур мусульманского периода"(см. в "Оглавлении" – "Введение. I, § 2" [Дмитриева 1978: 296]), а также в связи с попытками "прикрепить" то или иное литературное произведение к "определенной географической области" (ед. хр. 100, л. 847) или же к отдельным группам памятников, характеризующим тот или иной период среднеазиатско-тюркской литературы (ед. хр. 100, л. 845). В параллель к сказанному можно отметить и то, что в соответствии с планом ("Оглавление") "Турецких этюдов" именно лингвистическое исследование заявлялось как стержневое для всей работы: "*Главная часть* [курсив А.Н. Самойловича]. Язык стихотворных произведений Бабура, вошедших в настоящее издание" (ед. хр. 100, л. 2а). Однако

---

[1] Нами сохранена терминология, продолжавшая употребляться еще и в первой трети XX в.: "турецкий" (вм. "тюркский"), "турколог" (вм. "тюрколог"), "туркология" (вм. "тюркология").

если намеченные в "Оглавлении" историко-литературные проблемы так или иначе освещены или затронуты в "Турецких этюдах" или же в последующих отдельных публикациях этого цикла (см., к примеру [Самойлович 1926а; 1926б; 1927]), то лингвистическая "главная часть" в этой работе отсутствует вовсе. По всей видимости, разработка вопросов, связанных с изучением истории среднеазиатско-тюркского литературного языка, требовала от ученого дополнительных усилий по уточнению и обобщению собранного им языкового материала, поскольку этот последний поддавался попыткам периодизации в значительно меньшей степени, нежели материал литературный.

В составе Фрагмента имеется план раздела, посвященного периодизации тюркских литературных языков (л. 846). Из него видно, что во Фрагменте представлен начальный этап этой работы, которую А.Н. Самойлович продолжил в своей незаконченной статье "Общий взгляд на возникновение и развитие мусульманско-турецких литературных языков в связи с разговорными наречиями" (РНБ, ф. 671, оп. 487, разр. IV, ед. хр. 126), датируемой 1918 годом. Эту статью опубликовал в 1973 г. Д.М. Насилов [Самойлович 1973].

В подтверждение сказанного кратко продемонстрируем, как некоторые (2–5) пункты этого плана отражены в статье "Общий взгляд...". Под номерами в кавычках даются пункты плана (ед. хр. 100, л. 846).

"2) Древние тур[ецкие] диал[екты] до монг[олов]". Ср. "Общий взгляд...", с. 105: раздел "I. Домонгольский период".

"3) Тур[ецкие] диалекты при монг[олах]". Ср. "Общий взгляд...", с. 107: "... ко времени монгольского нашествия в Средней Азии, Персии, Малой Азии и Египте существовали диалекты, которые нельзя уместить в установленной акад. В.В. Радловым группе; последнюю, таким образом, приходится пересмотреть и дополнить...".

"4) Тур. письм. яз. до монг[олов]. [Карандашом приписано:] карлуки".
Ср. "Общий взгляд...", с. 109: "Из литературных языков домонгольского периода, которые характеризовал акад. В.В. Радлов, особо важное значение для исследователя литературных языков последующих периодов общетурецкой жизни имеет смешанный западный, а из групп живых диалектов, намеченных мною, – две: западноогузская и кыпчакская. Отсутствие сведений о диалектах карлуков тем ощутительнее, что племя это в начале мусульманской эпохи являлось среди прочих степных турков наиболее культурным, почему можно полагать, что из него именно вышли первые мусульманско-турецкие писатели".

"5) Тур. письм. яз. после монг[олов] до XV в.

уйгурско-огузский"[2].
Ср. "Общий взгляд...", с. 110: "Я не вижу оснований дробить литературные памятники XIII–XIV вв., за исключен[ием] некоторых малоазиатских, на резко разграниченные основные группы... . Смешанный западный литературный язык был, собственно, если придерживаться моей терминологии, огузско-уйгурским" (см. сноску 2).

---

[2] А.Н. Самойлович не только варьировал свой термин "уйгурско-огузский" и "огузско-уйгурский", как в данном случае, но впоследствии в именовании второго периода развития "единого среднеазиатско-турецкого литературного языка исламской эпохи" менял в пределах одной статьи "огузско-кыпчакский" [Самойлович 1928: 21] на "кыпчакско-огузский" [там же: 23], не вкладывая в эти последние варианты тех различий, о которых позднее написал Э.Н. Наджип [Наджип 1965: 3, 10]. В изложении Я. Экманом периодизации Самойловича фигурирует "Kipchak-Oghuz Turkic" [Eckmann 1966: 7]. Между тем, в статье "Чагатайский язык", опубликованной в БСЭ (1934 г.) без подписи и приписываемой А.Н. Самойловичу ("Авторство устанавливается со слов К.К. Юдахина" [Ашнин 1978б; 284]), использован термин "огузско-кыпчакский". В изложении периодизации по Самойловичу, допущены, однако, вопиющие концептуальные несоответствия (на них мы указываем курсивом и разбираем их ниже): "*Не являясь чем-либо единым, чагатайский язык* поддается периодизации, которую А.Н. Самойлович проводит так: караханидский, огузско-кыпчакский и собственно чагатайский (*15–16* вв.) периоды" [Самойлович 1934: стлб. 19–20]. Вряд ли можно согласиться с тем, что это – авторское изложение столь долго вынашиваемой концепции. Или это результат "силовой" редактуры, не вникающей в суть проблемы, спорить с которой автору было бессмысленно в условиях уже нависавшего над ученым обвинения в "пантуркизме"?

О связи между Фрагментом и статьей "Общий взгляд..." может свидетельствовать также ссылка в этой последней статье на "Турецкие этюды", причем, по сообщению Д.М. Насилова, как раз на те листы, которые приходятся на Фрагмент, а именно ГНБ "ф. 671, ед. хр. 100, л. 841, 843–844" [Самойлович 1973: прим. 15 к с. 108]. «Сошлюсь на весьма важное фонетическое обстоятельство: соответствие кыпчакского *j* звуку *д* всех четырех языков группы, устанавливаемое "Турецкими этюдами" в словах, как *ajak* // *адак* 'нога'...» [Самойлович 1973: 108].

Дальнейшее развитие идеи, излагаемые в публикуемом Фрагменте и статье "Общий взгляд на возникновение и развитие мусульманско-турецких литературных языков в связи с разговорными наречиями", получили в позднейшей статье А.Н. Самойловича "К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка" [Самойлович 1928]. В этой статье, работа над которой, как видим, занимала ученого в течение десятилетия (1917–1928, с вынужденными перерывами), четко сформулирована авторская концепция «единого среднеазиатско-турецкого (а не "чагатайского" или "восточно-турецкого") литературного языка исламской эпохи» и периодизации его исторического развития [Самойлович 1928: 21).

Периодизация Самойловича в настоящее время является общепринятой, см., например: [Eckmann 1966: 7, 9; Фазылов 1973: 59]. Во Введении (источниковедческий обзор) к труду К. Броккельмана много ссылок на публикации А.Н. Самойловича, в том числе и на его концептуальную статью "К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка" (см., например: [Brockelmann 1954: 4, 10, 13, 15–17, 20]). Но хотя, по сути дела, им принята концепция "единого среднеазиатско-турецкого литературного языка", в труде об этом ничего не говорится, и в этой связи имя А.Н. Самойловича не упоминается. Оригинальность же авторского освоения концепции Самойловича отразилась в заглавии труда К. Броккельмана: "*Восточнотюркская* грамматика *исламского* литературного языка Средней Азии" (курсив наш. – *Г.Б.*). Как известно, А.Н. Самойлович возражал против употребления термина "восточнотурецкий" (равно как и "чагатайский") в качестве обобщающего именования всех периодов развития литературного тюркского языка Средней Азии [Самойлович 1928: 21].

Фрагмент заслуживает внимания читателей как одна из первых попыток А.Н. Самойловича обобщить в историко-лингвистическом аспекте проведенное им исследование групп средневековых тюркских памятников и наметить периодизацию развития литературного среднеазиатско-тюркского языка, первоначально (как это видно из Фрагмента) – начиная с древнетюркского периода, впоследствии – с XI в. Иными словами, Фрагмент интересен с точки зрения того, как формировалась концепция А.Н. Самойловича[3]. Вместе с тем в нем намечена периодизация также огузских литературных языков – проблема, от решения которой он воздержался в статье 1928 г.

А.Н. Самойлович был первым тюркологом, исследовавшим литературный язык и его историю (при этом не разделяя еще терминологически и по существу литературный язык и язык литературы). Как историк литературы и литературного языка он задавался вопросами: к какой группе или подгруппе памятников относится то или иное средневековое произведение? к какой географической области возможно "прикрепить" (как он выражался) это произведение? (см. л. 847). Впоследствии для тюркологов братских республик СССР станет остродискуссионным вопрос, поставленный под совсем уже другим углом зрения, а именно: к какому этносу можно "прикрепить" то или иное средневековое произведение? Ведь Самойлович справедливо считал, что ни хронологическая дата произведения, ни определенное указание на место его сочинения подобных вопросов не решают (лл. 847, 848).

---

[3] Заметим, что при сходном соотношении более раннего архивного автографа Н.С. Трубецкого и его более поздней публикации по той же проблематике [Troubetskoy 1930] (материалы и выводы статьи-автографа были использованы ученым в статье 1930 г.) редакцией журнала "Вопросы языкознания", тем не менее, была напечатана статья-автограф [Трубецкой 1959] – как раз тогда, когда Н.И. Толстой вступал в исполнение обязанностей ответственного секретаря редакции.

Однако ученый не мыслил решения поставленных им вопросов без использования языковых данных изучаемых произведений: именно выработка языковых критериев могла дать научную опору для их решения. Поиски таких языковых критериев запечатлены во Фрагменте. Для Самойловича вопросы разграничения литературных памятников на группы и подгруппы напрямую связаны с разграничением их по языку, с попытками вычленить, как мы бы теперь сказали, региональные варианты литературного языка. Ср.: "Ни в Средней Азии, ни в Персии, ни в Малой Азии огузская литература в отношении языка (разрядка наша. – *Г.Б.*) не достигала полного единообразия, и там, и здесь на языке литературного памятника сказывалось существование нескольких огузских диалектов, на которых говорили отдельные туркменские племена" (л. 851).

А.Н. Самойлович искал и находил языковые "специфические элементы, которые позволяли бы решительно прикрепить произведение к определенной географической области" (л. 847), стремился, к примеру, определить в памятниках "слова, присущие исключительно языку данной группы огузов" (л. 848). При отсутствии подобных данных он считал, например, неосуществимым "точное разграничение огузских памятников на среднеазиатские, малоазиатские и персидские" (л. 849–848).

Особое внимание Самойловича во Фрагменте привлекают литературно-языковые влияния. Так, он отмечает, что язык среднеазиатско-огузской литературы находился под влиянием соседнего литературного уйгурского языка (л. 851). В свою очередь, наличие огузских элементов в языке Навои и его предшественников он объясняет, вопреки сложившейся традиции, "влиянием памятников огузских" (л. 850). Примечательно, что при определении размеров и глубины литературно-языкового влияния Самойлович считал необходимым индивидуализированный подход: "... влияние это достигало разных размеров в отношении того или иного памятника" (л. 851).

Надо отметить, что сама постановка названных выше вопросов и попытка решения их на научной основе предпринимались в условиях отсутствия таких операциональных понятий, как "диалектная основа литературного языка", "наддиалектность литературного языка" и многих других, которые сформировались во второй половине XX в.

При подготовке Фрагмента к печати из-за неполноты листов в автографе (см. об этом выше) и дефектов в их нумерации[4] нами была предпринята своего рода реконструкция авторского текста. Иными словами, пришлось подбирать листы по смыслу и по наличию текстовой стыковки. Поэтому рядом с текстом на полях указывается номер данного листа по сквозной пагинации "Турецких этюдов", а в скобках приводится номер по второй, параллельной пагинации.

В целом же при подготовке к печати изменения в текст не вносились. Сохранены авторские терминология ("турецкий" вм. "тюркский", "туркология" вм. "тюркология" и т.п.), написания (например, "пахлеви" вм. "пехлеви"; варьирование написаний арабских личных имен, вроде *Джеляль-ед-дин* и *Бурханеддин* вместо современного *Джелал эд-Дин*), своеобразное словоупотребление, стилистические особенности. Также сохранено подчеркивание автором отдельных слов, особо важных для развития авторской мысли, а также разрядка для отдельных фамилий и имен.

В двух случаях текст заменен сносками с лаконичным указанием на характер заметок, содержащихся на данных листах.

Нами были расшифрованы авторские сокращения (в случаях, когда самим текстом исключена возможность их двойного толкования); арабские написания заглавий литературных памятников заменены кириллическими; сделаны отдельные примечания, пояснения, добавлены нужные библиографические сведения. Наши добавления заключены в квадратные скобки, а примечания имеют собственную нумерацию и, кроме того, сопровождаются знаком астериска(*).

---

[4] Так, например, л. 849 (839) по содержанию и наличию текстовой стыковки определенно должен предшествовать листу 848 (832); кроме того, листу 849 должен соответствовать номер 833 параллельной пагинации, а не 839.

© 1997 г. А. САМОЙЛОВИЧ

VII*. О СРЕДНЕАЗИАТСКО-ТУРЕЦКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО ОТНОШЕНИИ К ДРУГИМ ТУРЕЦКИМ ЯЗЫКАМ

Петроград 1917

л. 846: [план раздела]

1) Мел[иоранский] и Радл[ов] (этюды) о чаг[атайском] яз[ыке] [Зачеркнут весь этот пункт.]

2) Древние тур[ецкие] диал[екты] до монг[олов].

3) Тур[ецкие] диалекты при монг[олах].

4) Тур. письм. яз. до монг[олов]. [карандашом приписано:] карлуки.

5) Тур. письм. яз. после монг[олов] до XV в.

уйгурско-огузский

6) Тур[ецкие] письм[енные] языки после XV в.

чаг[атайский], азерб[айджанский], малоаз[иатский][1*].

л. 854 (838) Мы делим историю среднеазиатско-турецкой литературы на три периода.

I – Древнетурецкий период обнимает время от проникновения в Среднюю Азию (впоследствии: Туркестан) так называемой енисейско-орхонской письменности, родственной, по-видимому, пахлевийской, до момента окончательного вытеснения ее письменностью, так называемой, уйгурской. Пределы этого периода точно неизвестны, приблизительно же определяются веками VI–IX христианской эры. Литературным памятником этого периода для Западного Туркестана является Аулиэтинская надпись на камне. Других памятников, ни сохранившихся, ни хотя бы только упоминавшихся в истории, неизвестно.

Язык этого периода был наиболее близок к современным южнотурецким наречиям, а культура – кочевая, шаманская. Название периода: древнетурецкий основывается на том, что в это время политическое господство принадлежало народу турк.

II – Уйгурский период обнимает время от проникновения в Среднюю Азию различных новых видов [далее слово написано неразборчиво: среднеазиатской? переднеазиатской?] письменности (наряду с индийской), из которых в конце концов возобладала так называемая уйгурская, и разных культур [л. 854v (838v)], из которых возобладала буддийская, местами же христианская, до распространения ислама. Начало этого периода можно относить к [пропуск] веку, конец к векам XI–XIII, в зависимости от местности. Памятников уйгурского периода довольно мало, и преимущественно на них сосредоточен интерес современной туркологии. Язык этого периода, отличный [? – последнее слово неразборчиво] в зависимости от памятника, в общем или одинаков с языком предыдущего периода, или обнаруживает существенные особенности, тогда может быть называем литературным уйгурским. Название уйгурский период основывается на том, что в это время политическое господство принадлежало государству [последнее слово написано неразборчиво] уйгуров.

[Зачеркнуто: III – Мусульманский период.]

---

* Зачеркнуто прежнее название раздела VII: "Взаимоотношение турецких литератур". После л. 840, "титульного", следует двойной разворотный лист, сложенный вчетверо; шесть заполненных его четвертушек имеют различную пагинацию: лл. 824–826, 842–844; по содержанию эти листы относятся к классификации тюркских народов.

1* Между пунктами 4 и 5 автором проведена горизонтальная линия, разделяющая план на две части, видимо, по хронологическому принципу: в верхней части плана (до черты) на полях проставлена римская цифра I, в нижней его части (после черты), также на полях – римская цифра II.

В настоящей работе нас интересует следующий, III период, почему мы и не останавливаемся более подробно на двух предыдущих.

л. 845 (829) Первый период ср[еднеазиатско]-тур[ецкой] литер[атуры] мус[ульманской] эпохи отличался разнообразием лит[ературных] языков:

I. Отдельную группу образуют памятники:

1) Ахмед Есеви
2) Сулейман Бакыргани
3) Легенда про Хаким-ата
4) Предсказания на 12-летний цикл.

II. Другую группу образует:

"Ревнаку-ль Ислам".

III. Третью группу:

1) "Тефсир"
2) "Юсуф-у Зулейха" [оставлена для последующего вписывания 1/3 листа] и т.д.

л. 850 (834) [Абзац зачеркнут дважды:] Среднеазиатско-огузскую литературу мусульманской эпохи я начинаю с "хикметов" ходжи Ахмеда Есеви, святого поэта XII века. Были ли у него предшественники среди огузов-мусульман, неизвестно.

[Есеви (по всей вероятности), а также Бакыргани посвящен л. 858 (842), представляющий собой окончание утраченного л. 857 (841):] ... Азии детально не обследованы и что среди приписываемых ему стихотворений, которые дошли до нас в поздних манускриптах, не все в действительности сочинено им. Не подвергались филологическому обследованию с достаточной полнотой и произведения, приписываемые Хаким-ата, хотя им посвящены работы: 1) С.М. Матвеева – Мухаммеданский рассказ о св. Деве Марии (1895), 2) Протоиерея Е.А. Малова – Ахыр заман китаби, мухаммеданское учение о кончине мира (1897 г.), 3) [оставлено место для последующего вписывания[2*]].

[Так же особняком в ряду разрозненных листов находится замечание Самойловича о Рабгузи; см. л. 853 (837):] Преинтересная, местами прямо веселая книга казия в Рабат-и Огузи, по имени Насреддин сын Бурханеддина: "Сказания о пророках" ("Кысас-и энбія"), написанная в начале XIV века, поныне вовсе почти не использована исследователями турецкого языка и турецкой литературы, несмотря на то что неоднократно раздавался призыв заняться этим сочинением[1]. [Примечание 1 отсутствует.][3*] [Листы 855 (839) – 856 (840) представляют собой разрозненные заметки, набросанные карандашом.]

л. 847 (831) К числу памятников несомненно огузских принадлежит, как я уже отмечал, известный роман в четверостишиях с редифом "Кысса-и Юсуф". К какой подгруппе огузских памятников относить это интереснейшее по языку сочинение? Автора этого произведения мы знаем только по имени (Алий); откуда он родился и где он жил, неизвестно. Хронологическая дата романа (XIII в.) вопроса не решает. Язык романа смешанный и вместе с тем лишенный специфических элементов, которые позволяли бы решительно прикрепить произведение к определенной географической области [зачеркнуто: расселения огузов. Пока этот роман приходится оставить в общеогузской группе][4*].

л. 849 (839) На основании так называемых сельджукских стихов, сочиненных персами: Джеляль-ед-дином и его сыном Султан-Веледом ради курьеза, высказывалась мысль, что малоазиатско-огузская литература зародилась самостоятельно, независимо от среднеазиатско-огузской[7], но существует и обратное мнение: о преемственности между этими литературами[8]. [Для примечаний 7, 8 в низу л. 849 оставлено место.] Я склоняюсь в пользу второго мнения. Точное разграничение огузских

[2*] См. из позднейших работ: [Боровков 1948].

[3*] О Рабгузи и его сочинении см. также: [Самойлович 1928: 22; Schinkewitsch 1926–1927].

[4*] Конкретные замечания о характере языка "Кысса-и Юсуф" см.: [Самойлович 1928: 18].

памятников на среднеазиатские, малоазиатские и персидские осуществимо только по отношению [л. 848 (832)] таких произведений, [зачеркнуто: в которых определенно указано место их сочинения или] в которых встречаются слова, присущие исключительно языку данной группы огузов и обычно заимствованные у новых, по переселению, соседей. При отсутствии подобных данных помянутое разграничение отпадает. Таким образом намечается сводная группа огузских литературных памятников мусульманской эпохи: общеогузская, а в ней подгруппы: 1) среднеазиатско-огузская, 2) малоазиатско-огузская [зачеркнуто: Есть ли необходимость в установлении особой персидско-огузской] и 3) персидско-огузская.

л. 851 (835) Не замирала литературная деятельность и среди тех огузов, которые обосновались в Персии[5]; восходит ли азербайджанская литература, известная нам с XVI в., к огузской, пока не выяснено[6] [Для примечаний 5, 6 в низу л. 851 (835) оставлено место]. Ни в Средней Азии, ни в Персии, ни в Малой Азии огузская литература в отношении языка не достигала полного единообразия, и там, и здесь на языке литературных памятников сказывалось существование нескольких огузских диалектов, на которых говорили отдельные туркменские племена. Кроме того, язык [зачеркнуто: среднеазиатско-]огузской литературы находился [зачеркнуто: по-видимому,] под влиянием соседнего литературного языка, так называемого уйгурского, причем влияние это достигало разных размеров в отношении того или иного памятника.

л. 850 (834) [Зачеркнуто: Среднеазиатско-]огузская литература в свою очередь оставила свой след на язык литературы "чагатайской" и специально стихотворной ее части. Ошибается М. Гартман, когда он заподазривает османское влияние на Неваи[7]: южно-турецкие элементы в языке Неваи те же, что и у его предшественников, они вполне объясняются влиянием памятников огузских, и ставить его в этом отношении особо никаких оснований не имеется.

л. 852 (836) [К концу фразы с предыдущего листа относится: "Флейшером"[3]. Зачеркнуто: Среднеазиатско-] огузская литература мусульманской эпохи, тесно связанная с историческими судьбами [зачеркнуто: западных] о г у з о в, или т у р к м е н о в, не получила на своей родине крупного развития, будучи подавлена литературой собственно "чагатайской", принявшей достаточно определенные формы только с XV века, но и в Средней Азии она все же окончательно не исчезала, а дожила до наших дней в виде скромной и сильно обезличенной чагатайским влиянием литературы провинциальной – новотуркменской, которую мы знаем с XVIII века[4]. [Для примечаний 3, 4 в низу л. 852 (836) оставлено место]. Зато в Малой Азии, новом отечестве откочевавшей туда части огузов, наряду со среднеазиатско-огузской литературой явилась малоазиатско-огузская, развившаяся впоследствии в богатейшую литературу османскую.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

(к ст. А.Н. Самойловича)

Боровков А.К. 1948 – Очерки по истории узбекского языка. 1. Определение языка хикматов Ахмеда Ясеви // Сов. востоковедение. V. М.; Л., 1948.

Самойлович А.Н. 1928 – К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка // Мир-Али-Шир. Л., 1928.

Hartmann M. 1905 – Materialen zu einer Geschichte der Sprachen und Litteraturen des vorderen Orients. Heidelberg, 1905.

Schinkewitsch J. 1926–1927 – Rabγūzī's Syntax // Mitteilungen des Seminars für orientalischen Sprachen. Berlin, 1926–1927. Bd. XXIX–XXX.

---

[7] [Hartmann 1905]. [Для примечания 7 в низу л. 850 (834) оставлено место.]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

(к ст. Г.Ф. Благовой)

Ашнин Ф.Д. 1963 – Александр Николаевич Самойлович (1880–1938) // Народы Азии и Африки. 1963. № 2.

Ашнин Ф.Д. 1978а – Александр Николаевич Самойлович. 1880–1938 // Тюркологический сборник 1974. М., 1978.

Ашнин Ф.Д 1978б – Список трудов А.Н. Самойловича (с указанием рецензий на них) и литература о нем // Тюркологический сборник 1974.

Благова Г.Ф. 1993 – Из истории тюркской текстологии. А.Н. Самойлович – исследователь "Бабур-наме". М., 1993.

Дмитриева Л.В. 1963 – Материалы к описанию рукописного наследия А.Н. Самойловича // Народы Азии и Африки. 1963. № 2.

Дмитриева Л.В. 1978 – Материалы к описанию рукописного наследия А.Н. Самойловича // Тюркологический сборник 1974.

Наджип Э.Н. 1965 – Кыпчакско-огузский литературный язык мамлюкского Египта XIV века: Автореф. дисс. .... докт. филол. наук М., 1965.

Самойлович А.Н. 1917 – Собрание стихотворений императора Бабура. Ч. I – Текст. Пг., 1917 (Издания факта вост. языков Петроградск. ун-та, № 44).

Самойлович А.Н. 1926а – Чагатайские туюги Лютфи // Доклады Академии наук СССР. Сер. В, 1926, май–июнь.

Самойлович А.Н. 1926б – Извлечения из трактата по просодии Мир Али Шира Невайи "Мизāну-ль авзāн" // Восточный сборник. I. Л., 1926.

Самойлович А.Н. 1927 – Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атаи // Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. 1927. Т. 2. Вып. 2.

Самойлович А.Н. 1928 – К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка // Сб. Мир-Али-Шир. Л., 1928.

Самойлович А.Н. 1934 – [без подписи] Чагатайский язык // БСЭ. Т. 61. М., 1934.

Самойлович А.Н. 1936 – Стамбульские впечатления 1936 года // Звезда. Л., 1936. № 12.

Самойлович А.Н. 1973 – Общий взгляд на возникновение и развитие мусульманско-турецких литературных языков в связи с разговорными наречиями // Сов. тюркология. 1973. № 5.

Самойлович А.Н. 1994 – Новый перевод Записок Бабура // ИАН ОЛЯ. 1994. № 1.

Трубецкой Н.С. 1959 – Об одной особенности западнославянских языков // ВЯ. 1959. № 2.

Фазылов Э.И. 1973 – А.Н. Самойлович – исследователь тюркских памятников средневековья // Сов. тюркология. 1973. № 5.

Brockelmann C. 1954 – Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954.

Eckmann J. 1966 – Chagatay manual. Bloomington, 1966.

Troubetskoy N.S. 1930 – Über die Entstehung der gemeinwestslavischen Eigentümlichkeiten auf dem Gebiete des Konsonantismus // ZfSl 1930. Bd. VII. Hf. 3–4.

№ 2 1997

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5-ти томах / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1: *А – Г*. М.: Международные отношения, 1995. 584 с.

1995 год оказался в России "урожайным" на словари, посвященные славянской традиционной культуре, в частности – мифологии. Назовем здесь два петербургских издания, популярный характер которых не умаляет их научной ценности – "Русский демонологический словарь" Т. Новичковой и "Новую АБЕВЕГу русских суеверий" М. Власовой, а также московский энциклопедический словарь "Славянская мифология", подготовленный сотрудниками Института славяноведения и балканистики. Увенчал этот ряд первый том словаря "Славянские древности" под редакцией академика Н.И. Толстого, ушедшего, к сожалению, спустя год из жизни. Словарь создан постоянным авторским коллективом в таком составе: Т.А. Агапкина, Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Г.И. Кабакова, Е.Е. Левкиевская, А.А. Плотникова, О.А. Терновская, С.М. Толстая, Н.И. Толстой, В.В. Усачева. Статьи для первого тома писали также: Э.Г. Азимов, Н.Е. Афанасьева, О.В. Белова, Е.Э. Будовская, С.П. Бушкевич, М.М. Валенцова, А.Ф. Журавлев, Э.И. Зеленина, Л.С. Лаврентьева, И.А. Морозов, Л.В. Мошкова, Л.Г. Невская, М.Р. Павлова, Б.Н. Путилов, О.В. Санникова, И.А. Седакова, Л.А. Софронова, А.Б. Страхов, А.Л. Топорков, В.Н. Топоров, А.А. Турилов. Читатель, интересующийся проблемами лингвистики, фольклористики, этнографии, мифологии, найдет в этом списке немало известных имен.

Словарь представляет собой действительно монументальное издание. Его первый том состоит из вводной статьи Н.И. и С.М. Толстых, заметки о пользовании словарем, пространной библиографии, насчитывающей около 1200 наименований плюс 135 лингвистических словарей и атласов и множество литературы, упомянутой в приcтатейных библиографиях и не вошедшей в основной список, списка сокращений, девятнадцати карт, демонстрирующих диалектное и этнокультурное членение славянского мира, свыше 220 статей (А – Г), обнимающих практически все основные сферы традиционной духовной культуры славянских народов, списка иллюстраций. Широта и глубина замысла и обстоятельная тщательность его воплощения позволяют согласиться с тезисом Н.И. и С.М. Толстых о том, что словарь "подводит итог более чем вековому изучению славянского фольклора, мифологии, этнографии, народного искусства" (с. 5).

Идея создания словаря такого рода не была совершенной новостью для науки, о чем сказано во вступительной статье (с. 6). Там же названы его основные предшественники и аналоги. Из них особо следует выделить десятитомный "Настольный словарь немецких народных поверий" (Handwörterbuch des deutsch Aberglaubens. Herausgegeben von H. Bächtold-Stäubli, E. Hofman-Krayer. Bd. 1–10. Berlin; Leipzig, 1927–1942), который высоко ценил Н.И. Толстой. Замысел собственного словаря возник у редактора, очевидно, достаточно давно. Еще в марте 1978 г. в докладе на конференции "Итоги и перспективы славяноведческих и балканских исследований: вопросы координации" Н.И. Толстой назвал среди ближайших задач коллектива группы этнолингвистики и славянских древностей Института славяноведения и балканистики создание "Атласа духовной культуры Полесья", а в перспективе и Карпат, а также "словаря славянских духовных древностей (в двух томах: I – от праславянского к индоевропейскому; II – от современных славянских к праславянскому)" [Толстой 1979: 20]. В течение пяти после-

дующих лет этот замысел претерпел значительную эволюцию, итоги которой представлены в докладе Н.И. и С.М. Толстых на IX Международном съезде славистов в Киеве (см. [Толстые 1983б]) и проспекте будущего словаря, вышедшем отдельной книжкой [Этнолингвистический словарь... 1984].

Концепция словаря сформировалась на фоне весьма активных в 60-е – 70-е годы у нас исследований в области реконструкции славянской (балтийской, балканской и др.) традиционной духовной культуры. Инициаторами и исполнителями этих работ были преимущественно филологи, для которых они стали естественным продолжением попыток выработать методы реконструкции семантики древних языковых единиц – от морфем до целых текстов. Зачастую такая реконструкция сталкивалась с затруднениями, преодоление которых требовало выхода за пределы естественного языка, в сферы других культурных кодов. На фоне общего распространения семиотических идей богатый арсенал лингвистических методов стал при этом, как это предсказывал еще де Соссюр, переноситься на исследования других областей народной духовной культуры. Среди сторонников и пропагандистов этой "лингвистической экспансии" были Н.И. и С.М. Толстые. Впрочем, сам Н.И. Толстой подчеркивал, что переносимые методы во многих случаях «называются "лингвистическими" главным образом или лишь потому, что они впервые или ярче всего были применены в науке о языке или даже в каком-то из ее разделов». По сути дела они относятся "не к чисто лингвистическому, а к логическому или семиотическому аппарату, и в этом и ценность этой методики для лингвистики, так как она не изолирует науку о языке, а вводит ее в более широкий круг научных дисциплин" [Толстой 1983: 182].

Полем, на котором развертывалась указанная экспансия, стала пограничная дисциплина, сформировавшаяся на стыке лингвистики (в частности, диалектологии), этнографии (из недр которой некогда диалектология вышла), фольклористики, теории народного искусства. Она получила название славянской этнолингвистики (откуда соответствующий термин в подзаголовке словаря). Н.И. и С.М. Толстые не раз подчеркивали, что термин этот не нов. Среди родоначальников этнолингвистики обычно называют двух знаменитых американских ученых – этнографа Ф. Боаса и лингвиста Э. Сепира (см. [Толстой 1995: 28–29]), но речь, как кажется, скорее идет об истории термина, чем самой дисциплины в ее отечественном варианте. Сами Н.И. и С.М. Толстые заметили в свое время, что "недостаток этого термина в том, что он ассоциируется прежде всего с одним из направлений американской лингвистики и этнографии, связанным с именами Ф. Боаса, Э. Сепира, позднее Б. Уорфа. Вместе с тем он удачно передает идею синтеза языкознания и этнографии в изучении культуры" [Толстые 1983а: 65]. Н.И. Толстой отмечал, что "Э. Сепир и Б. Уорф придали этнолингвистике тот характер, который она в общем языкознании сохраняет по сей день. Этнолингвистические идеи и методы применяются почти исключительно к языкам и социумам с бесписьменной традицией или к современным языковым процессам и социумам без оглядки на их историческое развитие. Общеязыковедческая и синхронно-лингвистическая направленность в значительной мере ограничивают возможности разработки и применения этнолингвистической методики в научных исследованиях и делают саму этнолингвистику периферийной, факультативной дисциплиной в языкознании" [Толстой 1995: 29]. Заметим, что в настоящее время в США эта дисциплина фактически распалась на несколько более частных, а сам термин почти не употребляется, немногим лучше его судьба во Франции (см. [Кабакова 1993]). На отечественной же почве термин утвердился, главным образом, благодаря работам Н.И. Толстого, провозгласившего "обращение этнолингвистики к историческим, историко-генетическим проблемам и задачам, к диахроническому плану исследований..." [Толстой 1995: 29].

Для Н.И. Толстого "этнолингвистика есть раздел языкознания или – шире – направление в языкознании, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции" [Толстой 1995: 27]. В той же работе он говорит об этнолингвистике в широком и суженном понимании. В первом случае она "включает в себя диалектологию, язык фольклора и часть истории языка, связанную с исторической диалектологией и культурной и этнической историей народа, наконец, почти все аспекты изучения языка как социального явления" [Толстой 1995: 32]. В узком смысле этнолингвистика – отрасль языкознания, "которая ставит и решает проблемы языка и этноса, языка и культуры, языка и народного менталитета,

языка и мифологии и т.п." [Толстой 1995: 34]. Во всех этих вариантах центральной оказывается проблематика соотношения языка и семиотически понимаемой культуры, причем с явным акцентом на культуре традиционной и диахроническом рассмотрении.

Изучение указанного круга проблем возможно вообще по нескольким направлениям. Пытаясь дифференцировать ряд терминов, часто употребляемых как синонимические, польский лингвист Януш Анушевич определяет эти пути следующим образом: **культурная лингвистика** изучает связи между языком и культурой, причем язык трактуется как предварительное условие, импликатор, составная часть, резервуар, "приводной ремень", а также интерпретатор и интерпретант, заключающий в себе наиболее существенные ее смыслы. Направление исследования культурной лингвистики: язык – культура – человек (общество) – действительность. **Антропологическая лингвистика** или **этнолингвистика** изучает связи и зависимости между языком и человеком (обществом), а также культурой и действительностью, которые его окружают. Это наука о человеке, увиденном сквозь призму языка, творящем язык, человеке, чей образ сохранен в языке. Она исследует отношение язык – человек (общество) – действительность – культура. Наименование этой дисциплины этнолингвистикой, по мнению Анушевича, лишь отчасти обоснованно, поскольку этнолингвистика (во всяком случае, в той ее традиции, которая сложилась в Польше и, добавим, в СССР) занимается исследованием связей преимущественно между народным (простонародным, крестьянским) языком и народной культурой (фольклором). Наконец, **лингвистическая антропология** изучает связи между культурой, языком и данным обществом, имея в качестве исходной точки не язык, а культуру [Anusiewicz 1995: 10–11]. Представляется, что понятие этнолингвистики в работах Н.И. Толстого в той или иной степени включает в себя все эти понимания, к которым следует добавить также упоминавшееся изучение кодов (символических языков) традиционной культуры лингвистическими (общесемиотическими) методами на базе идеи о корреляции и зачастую структурном изоморфизме языка и культуры. В последнем случае речь идет в сущности о "славянской семиологии" (семиотике), которая "призвана определить набор семиологических средств и символов в славянской культурной сфере, их соотношение и систему, их общность для славянского мира и их локальные различия (диалектность)" [Толстой 1995: 25–26]. Именно эти задачи на материале традиционных культур славянских народов и с постоянным учетом необходимости установления системных отношений между этими культурами, а затем – реконструкции путей былого развития и прасостояний системы, решает монументальный словарь, вышедший с привычным уже для нас подзаголовком "этнолингвистический". Подлинным объектом толкования в нем являются не слова и не реалии в широком смысле (предметы и явления внешнего мира, лица, действия, растения, животные, их свойства и отношения) «и не их ментальные корреляты (концепты, понятия, образы), а соответствующие им з н а к и языка культуры в целом (в единстве их "реальной" формы и символического содержания)» (с. 8).

Итак, Словарь изначально понимался редактором как один из столпов глобального предприятия реконструкции духовной культуры праславян, славянского "прасуществования" в связи с проблемами этно- и глоттогенеза. Вторым столпом был Атлас, что вполне естественно в свете неоднократно подчеркнутой Н.И. Толстым установки на описание и анализ славянских древностей в ареалогическом, "диалектологическом" аспекте (с вычерчиванием соответствующих изоглосс, изодокс и изопрагм). Вопрос создания общеславянского атласа, естественно, не поднимался как невыполнимый – и из-за недостаточности и необработанности имеющегося в распоряжении науки материала, и просто по малости сил достаточно узкой группы единомышленников. Но много лет велась работа над Полесским этнолингвистическим атласом [Толстые 1983а] на базе материалов многолетних экспедиций Института славяноведения и балканистики, причем высказывалась идея создания в пару к нему словаря языковых и культурных древностей Полесья. Серия подобных частных толково-функциональных словарей и соответствующих атласов, описывающих хотя бы наиболее архаические зоны Славии, будь она создана, смогла бы стать реальной базой для решения поставленной задачи реконструкции славянской духовной культуры. Словаря для этого, конечно, недостаточно. Объем его все же ограничен (хотя только первый том имеет объем без малого 47,5 печатных листов), а материал необъятен. Потому во вводной статье словарь определен как "словарь-указатель, опреде-

ляющий лишь сферу функционирования и основные культурные контексты выделенных единиц" (с. 7), "с элементами толково-функционального словаря" (с. 8). И хотя отмечается, что "все, что можно сделать в направлении реконструкции праславянских форм, семантики и символики толкуемых культурных фактов на почве собственно славянской, то есть методом внутренней реконструкции, авторы старались отразить в словаре" (с. 8), читая словарь, нетрудно забыть об этой его сверхзадаче. И напрасно, ибо концепцией и содержанием словарь обязан именно ей. Н.И. и С.М. Толстые не раз подчеркивали важность реконструкции праславянского состояния духовной культуры. Такая реконструкция, по их мнению, могла бы сыграть в исследовании славянских духовных древностей и культуры роль не меньшую, чем реконструкция праславянского языка в истории славянского языкознания (см. [Толстые 1983б; 215; Теоретические проблемы... 1984: 74]). Но при этом редактор словаря центр тяжести работы перенес на внутреннюю реконструкцию, считая, что, пока не выполнена кропотливая работа сопоставления и анализа внутриславянских данных, обращение к внешней реконструкции, привлекающей свидетельства других индоевропейских и иных традиций, хотя и может дать в силу значительной степени архаичности славянских культурных форм определенные результаты, но по сути ненадежно и преждевременно [Толстые 1983б: 215–216]. Здесь можно усмотреть полемическую направленность против предпринятых в 60-е – 70-е годы более или менее успешных попыток реконструировать существенные фрагменты древнеславянской духовной культуры, прежде всего мифологии, с широким привлечением инокультурных параллелей. Не место в данной заметке входить в подробности разногласий научных направлений. Заметим только, что создание и воплощение проекта фундаментального энциклопедического словаря общеславянской значимости – прекрасный способ аргументации в споре.

Не следует также упускать из виду, что, хотя авторы словарных статей преимущественно не строят предположений о форме тех или иных праславянских реалий и содержании соответствующих концептов, сам словник, опубликованный еще в проспекте словаря, и, по нашим наблюдениям, касающимся первого тома, претерпевший не столь уж большие изменения в окончательной редакции, преимущественно за счет расширения агионимической части, являет собой определенную гипотезу, шаг в плане такой реконструкции.

Еще в 1978 г. Н.И. и С.М. Толстые высказывали понимание реконструкции не только как восстановления исходной праформы или прасостояния, но и как любого приближения к ним, возможность и глубина которого зависят от степени исследованности и полноты материала и по мере изучения меняются [Толстые 1978: 356]. Последовательно распространяя на материал народной культуры "лингвистические" методы и понятия, они отмечали позднее, что "всякая реконструированная прасистема выполняет, во-первых, функцию системы соответствий между развившимися на ее основе позднейшими этнокультурными феноменами, а во-вторых, дает в том или ином приближении картину реального прасостояния (в данном случае – состояния праславянской духовной культуры). При реконструкции абстрактного типа задача сводится к восстановлению инварианта из множества вариантов и последующей его типологической и исторической оценке в качестве эвентуальной праязыковой модели и ее необходимой коррекции" [Теоретические проблемы... 1984: 74]. Системой таких инвариантов, составляющей костяк парадигматики совокупности кодов традиционной славянской культуры, и оказывается словник словаря (исключая, конечно, обзорные статьи типа "Астрономия народная", "Ветеринария народная" и др.), а тексты статей, описывающие зафиксированные в источниках множества вариантов – рефлексов реконструируемых архетипов, как бы аргументируют в пользу именно такой – теперь уже не априорной – реконструкции набора ключевых инвариантных понятий.

Более того, Н.И. Толстой неоднократно замечал, что аксиоматичное уже в лингвистике представление о диалектной системе языка как развернутой в пространстве диахронии его развития вполне относится и к народной культуре – в силу существенной неравномерности ее изменений по разным регионам. Потому последовательное указывание национальной (и по возможности – региональной) отнесенности данных в словарных статьях позволяет хотя бы в идеале говорить о шагах к восстановлению не только прасистемы, но и путей ее эволюции, а реконструируемые факты распределять в "пространстве времени" от системы, принимаемой за исходную, до конечных культурных идиомов [Теоретические проблемы... 1984: 74]. К сожалению, ограниченность объема

словаря при глобальности замысла не позволила с необходимой точностью отразить в нем именно этот – диалектологический аспект проблемы. По сравнению с проспектом он даже менее выражен, в частности, опущены карты, которые предполагалось приложить к статьям. Впрочем, в рамках словарного жанра детальное картографирование рассматриваемых явлений и невозможно; это – задача атласа, а точнее их большой серии, о которой мы уже говорили. К сожалению, о такой серии приходится только мечтать.

Мы не раз упомянули проспект словаря, вышедший в 1984 г. Сравнение с ним окончательного текста интересно с точки зрения наблюдения эволюции замысла и его исполнения. К сожалению, сейчас прямо сопоставить два варианта возможно только для одной статьи проспекта – "Борода", принадлежащей О.А. Терновской (прочие статьи остались за пределами первого тома, ограниченного четырьмя буквами). Сравнение производит поразительное впечатление: перед нами фактически новый текст. Он значительно сокращен, некоторые места сохранены, но большая часть переработана до неузнаваемости и перекомпонована. Перед нами, очевидно, свидетельство многолетней работы над текстом, который, видимо, прошел через стадии нескольких промежуточных вариантов. Обнаруживается и определенная эволюция в подходе к материалу. В окончательной редакции статьи, как и указано во вводной части словаря, принято направление от "формы" к смыслу и функции, то есть реалии (а точнее, как уже указывалось, соответствующие им культурные знаки) в нем являются "объектом толкования, их названия – компонентом формальной характеристики, а семантика и функции – компонентом содержательной дефиниции" (с. 8). В первоначальном варианте, базирующемся в принципе на тех же основаниях, исходной точкой мыслится все же **лексема** (**borda*) и речь идет о ее **семантике** и предметных соответствиях в разных славянских традициях. Заметен, таким образом, некоторый дрейф по направлению от лингвистики (этнолингвистики) к этнографии (этносемиотике), что, учитывая цель и задачи энциклопедического словаря славянских древностей, естественно и закономерно. Впрочем, не забудем, что наши наблюдения основаны на сопоставлении редакций только одной словарной статьи.

В заключение выскажем надежду, что создание и издание словаря славянских древностей будет доведено до конца. Ни уход из жизни Н.И. Толстого, ни понятные объективные трудности нашего времени и субъективные обстоятельства авторов (многие из которых за полтора десятка лет работы над словарем стали известными учеными с собственными интересами и проектами) не должны помешать завершению Словаря, который должен стать не только новым этапом в изучении традиционной духовной культуры Славии, но и лучшим памятником своему редактору.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Кабакова Г.И. 1993 – Этнолингвистика во Франции // ВЯ. 1993. № 6.

Теоретические проблемы... 1984 – Теоретические проблемы реконструкции древнейшей славянской духовной культуры. Ответы на вопросы // СЭ. 1984. № 4.

Толстой Н.И. 1979 – Этногенетический аспект исследований древней славянской духовной культуры // Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований. М., 1979.

Толстой Н.И. 1983 – О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (язык и этнос). Л., 1983.

Толстой Н.И. 1995 – Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Толстые Н.И. и *С.М.* 1978 – К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингвоэтнографический аспект) // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1978.

Толстые Н.И. и *С.М.* 1983а – О задачах этнолингвистического изучения Полесья // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 1983.

Толстые Н.И. и *С.М.* 1983б – Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистического словаря славянских древностей // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1983.

Этнолингвистический словарь... 1984 – Этнолингвистический словарь славянских древностей. *Проект словника. Предварительные материалы.* М., 1984.

Anvsiewicz J. 1995 – Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław, 1995.

А.В. Юдин

Ласло Дэжё. **Деловая письменность русинов в XVII–XVIII веках. Словарь, анализ, тексты** / Под общей ред. И. Удвари. Nyíregyháza, 1996. 335 с.

Л. Дэжё – известный украинист, много лет занимающийся исследованием закарпатской русинской письменности, автор ряда монографий и статей, в которых разрабатывается эта проблематика. Среди них работы, посвященные развитию закарпатских говоров [Дэжё 1967], анализу лексики и грамматических особенностей "Няговской постиллы" – одного из старейших литературных памятников живого языка восточных славян [Дэжё 1985]. Значительное место в работах Л. Дэжё занимает изучение роли унгаризмов как органической составляющей части словарного состава закарпатских памятников письменности.

Новая книга состоит из четырех разделов. В ней, как и в упомянутой монографии о языке "Няговских поучений", исследуется лексика документов, отражающих урбариальную реформу Марии Терезии 1767 г., призванную упорядочить систему крепостных повинностей (урбарий – разновидность делового документа). Привлекаются лишь те документы, которые написаны на украинском языке и могут считаться памятниками закарпатских говоров. Часть из них написана латиницей, часть – кириллицей. В качестве дополнительных источников используются переписка М. Ольшавского, местного священника, ставшего впоследствии епископом Мукачевской епархии, и записи-маргиналии в церковных книгах. Такие записи традиционно используются исследователями языка памятников (см., например, работы И. Панькевича, базирующиеся на подобном материале подкарпатских [закарпатских] церковных книг). Самый большой раздел – Словарь (С. 6–186). Его основной корпус (48,7%) составляет лексика, отражающая экономическую и общественную жизнь Закарпатья указанного периода. Представлена в нем также лексика сельского хозяйства и ремесел.

В Словаре заглавные русинские слова снабжены русскими эквивалентами. Фактически словарь является двуязычным русинско-русским словарем. За переводом следует краткий пример с указанием памятника, откуда взята цитата, и места (см. третий раздел книги "Урбариальные записи", где приводится список комитатов и сел, в которых были записаны обработанные автором тексты), если иллюстративный материал взят из урбариальной записи. Такая локализация лингвистических данных весьма важна и повышает ценность приводимого материала. Для сравнительной характеристики слов используются данные словарей украинского языка Желеховского, Гринченко и словарь "Няговских поучений", опубликованный автором в 1985 г. Нередко словарная статья заканчивается ссылкой на "Словарь украинского языка" (СУМ) иногда с приведением помет из него ("уст.", "друг. знач."), "Словарь староукраинского языка XIV–XV вв." (ССУМ), "Этимологический словарь украинского языка" (ЕСУМ).

В разделе "Анализ" дается общая характеристика памятников закарпатской русинской письменности с описанием исторического фона, на котором развивалась письменность. Основное внимание уделено истории церкви и культуры и их взаимоотношениям. Автор ставит вопрос о комплексном подходе к изучению такого материала как памятника деловой письменности. Он справедливо замечает, что "история лексики представляет собой не только лингвистическую, но и историческую, социолингвистическую проблему, является комплексной областью исследования" (с. 188). Автор касается прежде всего таких вопросов как история общества, экономики, миграции, культуры. История литературного языка должна рассматриваться в комплексе с венгерской и украинской историей XVI – XVIII веков. Одной из своих задач исследователь считает описание языкового положения Закарпатья, сферу употребления русинского языка XVI–XVIII вв. на фоне общей языковой ситуации, создавшейся на этой территории.

Подраздел "Тематическая классификация" включает в себя ту часть русинской лексики, которую отражают материалы официальной письменности, так как в памятниках религиозно-литературного жанра она представлена мало. Материал разбит на следующие тематические группы: "Неорганическая природа", "Органическая природа", "Сельское хозяйство", "Промышленность", "Транспорт, торговля", "Общественные, экономические, политические отношения и учреждения". "Повседневная жизнь человека", "Интеллектуальная, эмоциональная, научная лексика и лексика художеств", "Грамматические элементы". Все эти группы подразделяются на подгруппы. После каждого фрагмента следуют краткие выводы о лексическом составе тематической группы, иногда грамматическая,

семантическая или этимологическая (главным образом иноязычных элементов) характеристика отдельных слов. Тематическая классификация позволяет автору придти к заключению, что "в лексике сельского хозяйства доля венгерских элементов незначительна по сравнению такими тематическими группами, как экономическая и государственная терминология" (с. 211). В конце раздела приводятся статистические данные.

Венгерские заимствования выделены в самостоятельный подраздел. Именно в памятниках деловой письменности, по мнению автора, они представлены более репрезентативно по сравнению с живым народным языком. Материал расположен в виде словаря с переводом слов на русский язык, с указанием венгерской лексемы и источника, откуда взято слово.

Раздел "Урбариальные записи" содержит подробную характеристику документов этого жанра с указанием места и времени составления каждого из них (приведены списки сел по комитатам: Мараморош, Угоча, Берег), а также сведения при каждом селе, какие записи были в нем произведены (или сохранились): текст Присяги, Вопросы, Ответы крестьян на 9 вопросов, имена конскрипторов. По мнению автора установление лица конскриптора было немаловажным обстоятельством, позволяющим определить его языковые особенности, проявившиеся в урбариальных записях 1771–1774 гг. В некоторых из них отразились черты западнозакарпатских, в других – восточнословацких говоров. Урбариальные записи составлены латиницей по правилам венгерского правописания того времени, так как конскрипторами были венгры или словаки, знавшие венгерский язык. Объяснение правописания текстов, написанных латиницей, дает возможность читателю прочитать и понять их. Кроме описания способа передачи звуков приводится таблица обозначений тех звуков, в письменной передаче которых наблюдаются различия в записях. Характерные черты вокализма и консонантизма, отмечаемые автором в разных группах записей, дают материал для воссоздания диалектного ландшафта указанных территорий в их историческом развитии. В анализируемых записях выявлены и такие языковые особенности, которые характерны для словацких и западнозакарпатских говоров со словацкими чертами. Спорадически встречаются явления, свидетельствующие о некотором влиянии других западнославянских языков. Кроме того, языковые данные свидетельствуют о том, что явилось результатом значительных миграционных процессов с запада на восток: среди жителей села могли быть лица, сохранившие языковые особенности западного говора. Далее идут тексты (с. 170–324) по селам. Каждый текст предваряет историческая справка о времени основания села и о жителях с указанием фамилий и ссылка на источник этой информации, с указанием имени конскриптора.

В числе недостатков и недочетов можно указать следующие: в словаре не используется система отсылок, что позволило бы показать многообразие словоформ или территориальные различия. Иногда из приводимого контекста не понятно, почему так переведено то или иное слово. Отсутствие изложения принципов составления словаря также затрудняет пользование им.

Тематическая классификация в словаре весьма условна. Например, к религиозной лексике причислены слова *селеменець*, *селеменіця* "злой дух" и *шатанскый*; вряд ли их можно отнести к этой рубрике. Это же слово *селеменець* включено в основной словарь (с венгерским соответствием), но отсутствует в списке венгерских заимствований. Лексемы *шатанскый* нет в словаре, так что можно только догадываться о ее значении. Нет объяснения, каков принцип отбора материала в словарь, почему одно слово присутствует в обоих разделах, а другое – отсутствует в словаре или не упоминается в Тематической классификации. Наличие значительного числа смысловых опечаток также снижает уровень книги. Особенно их много в датах. Так указанный год рождения Ольшавского – 1733 г. противоречит году вступления его в должность епископа: в одном случае (с. 192) 1733 г., в другом – 1743 г. (с. 202). Обе даты не соотносимы с годом рождения. Не всегда корректен русский язык. Книга Л. Дэжё займет достойное место в ряду трудов по исторической русинистике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дэжё Л. 1967 – Очерки по истории закарпатских говоров. Budapest, 1967.

Дэжё Л. 1985 – Украинская лексика середины XVI века. Няговские поучения. Словарь и анализ. Debrecen, 1985.

В.В. Усачева

Славянская лингвистическая география с момента своего зарождения прошла долгий и многотрудный путь развития. Претерпев существенные изменения как в общетеоретическом, так и методологическом плане, она углубила онтологическую специфику объекта исследования и методов его изучения.

Современный этап славянской лингвистической географии может быть охарактеризован как этап создания диалектологических атласов самого разного типа (территориальных, национальных, межнациональных, проблемных, интерпретационных и др.), которые позволили не только усовершенствовать приемы и методы исследования, но и расширить исследовательскую парадигму. Этому в немалой степени способствовало возрастание интереса к изучению лексико-семантических диалектных различий, широкомасштабное лексикографическое и монографическое описание диалектной лексики. Создание мощной лексикографической базы дало возможность выявить словарные и семантические диалектные различия и в то же время обнаружить существенные пробелы в их лингвогеографическом распределении.

Известно, что при изучении диалектов наибольшие трудности вызывают т.н. "лексические диалектизмы", судьбы которых часто оказываются индивидуальны. В отличие от фонетических и морфологических различий, образующих довольно компактные пучки изоглосс, лексические диалектизмы предстают, на первый взгляд, в виде "хаотического" переплетения изоглосс, не поддающихся прочтению. Однако накопление и каталогизация диалектных различий на лексико-семантическом уровне привели постепенно к преодолению скептического отношения к фактам лексики и словообразования (идущего со времен младограмматиков) как к фактам, которые в силу своей мозаичности и повышенной языковой проницаемости не позволяют провести ареальную классификацию того или иного диалектного континуума[1] (не случайно эти различия квалифицируют часто как "аморфные и некоррелятивные" [Ивич, 1965: 19]).

Активное изучение лексико-семантических диалектных различий, успехи, достигнутые польскими и словацкими диалектологами в составлении лексических и словообразовательных атласов, сделали актуальной задачу создания лексических атласов восточнославянских языков, в связи с чем во всех трех восточнославянских научных центрах широко развернулась работа над созданием национальных лексических атласов.

Одной из первых эту задачу решила белорусская школа лингвистической географии. Успех белорусских диалектологов оказался во многом предопределен публикацией в 1963 г. диалектологического атласа [ДАБМ 1963], позволившего четко отработать методику сбора и картографирования материала. Пройдя путь серьезных теоретических обобщений материалов ДАБМ (что выразилось прежде всего в написании такого чрезвычайно важного для белорусской лингвогеографии труда, как [ЛГТБГ 1968], белорусские диалектологи в 1971 г. обратились к сбору материала для лексического атласа, поскольку карты ДАБМ "дали возможность описать лишь фонетический и морфологический уровень белорусских народных говоров" (ЛАБНГ, 3). "Лексічны атлас беларускіх народных гаворак" (ЛАБНГ) явился, таким образом, логическим продолжением "Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы".

Накопленный опыт создания лингвистических атласов свидетельствует о том, что качество атласа, содержательность и информативность его карт во многом обусловлены такими факторами, как состав вопросника (именно вопросник, его объем обеспечивает полноту материала и надежность выявленных диалектных различий), методика сбора и записи материала, его структурная интерпретация, картографическая концепция атласа и сетка его населенных пунктов.

Лексический атлас имеет довольно плотную сетку населенных пунктов (хотя и более редкую, чем в ДАБМ), а именно 149 пунктов, включая и семь дополнительных, получивших буквенное обозначение (например, 25а, 49а, 96а и т.д.). Средняя нагрузка сетки один населенный пункт на 1600 кв. км при среднем расстоянии между ними 30–40 км (ср. в [ДАБМ 1963] 10–15 км). Что касается вопросника, то он содержит около четырех тысяч вопросов (3972), построен-

---

[1] Сошлюсь в связи с этим на мнение Г. Пауля, полагавшего, что "наиболее характерным признаком являются звуковые отношения... Менее всего характерны словарный состав языка и его употребление. Здесь чаще всего встречаются заимствования из одного диалекта в другой, как и из одного языка в другой" [Paul, 1880: 242].

ных по ономасиологическому и семасиологическому принципу и охватывающих 56 предметно-тематических групп. В отдельный раздел выносится "Семантика", объединяющая в своем составе многозначные слова (хотя отдельные семантические вопросы включаются непосредственно в различные тематические разделы вопросника) и "Словообразование и ударение" (где группируются вопросы, позволяющие выявить особенности в слово- и формообразовании, акцентуации в парадигмах склонения или спряжения). Несмотря на то, что вопросник построен по тематическому принципу, внутри многих его разделов используется принцип лексико-семантических групп (см., например, предметно–тематический раздел "Рельеф" или "Сельское хозяйство"). Такой детализированный вопросник позволил впервые в лингвистической географии применить системный подход к картографической репрезентации лексики (напомним, что еще в начале века вопрос о системности в исследовании диалектной лексики даже не ставился, в связи с чем большинство лингвистических атласов, в том числе и лексических, традиционно строились как дифференциальные). Следует, однако, сказать, что в процессе подготовки материала к печати часть его по разным соображениям была отведена от картографирования, но в дальнейшем (как указывают авторы) он будет, несомненно, использован как при составлении диалектных словарей, так и при написании монографических исследований.

Кроме материала, собранного в полевых условиях, привлекались материалы картотек диалектных словарей (в частности, "Слоўніка беларускіх гаворак паўночна–заходняй Беларусі і яе пагранічча", "Тураўскага слоўніка" и др.), т.е. материал Атласа был пополнен и проверен авторами обращением к областным словарям. В результате Атлас явился своеобразной иллюстрацией диалектных словарей, поскольку ни один из них не дает полного представления об ареалах слов и их значений. Благодаря системному принципу построения вопросника, в Атласе впервые удалось представить в пространственной проекции основные звенья словарного состава белорусских народных говоров, выявить ареалы слов, принадлежащих к разным предметно-тематическим и лексико-семантическим группам, локализовать семантические и структурные различия картографируемых лексем.

Как известно, современные диалекты представляют собой сложное явление, в котором наряду с архаизмами, регионализмами и диалектизмами, представлено множество черт, свойственных и литературному языку. Одинаковое внимание авторов как к собственно лексическим (и семантическим) диалектизмам, так и к словам, входящим в словарный состав литературного языка, позволило представить на картах диалектные различия во всей их структурной сложности (в том числе выявить в полном объеме и лексико-семантические различия картографируемых слов). Все это позволяет оценить Атлас как крупное лингвистическое явление, причем не только в восточнославянском, но и общеславянском масштабе, поскольку ни одна из славянских стран пока не располагает таким фундаментальным сводом диалектных различий, относящихся к лексике и словообразованию, какой содержится в ЛАБНГ (даже в таком крупномасштабном издании, как [ASJ 1968–1984] только один том посвящен полностью лексике и один словообразованию).

Белорусский лексический атлас состоит из пяти томов, каждый из которых представляет собой блок тематически связанных карт:

1 том посвящен растительному и животному миру (в него входит 368 карт, иллюстрирующих лексику 10 предметно-тематических групп: домашние и дикие животные, домашние и дикие птицы, лес, плодовые деревья, кустарники, ягоды, цветы, травы, грибы, пчеловодство, рыбы и рыболовство, земноводные и насекомые);

2 том – сельскому хозяйству (хотя содержание этого тома значительно шире, поскольку сюда включены карты, репрезентирующие лексику, относящуюся к предметно-тематической группе "Атмосферные и климатические явления", а также "Рельеф"), всего 354 карты, представляющие лексику 15 предметно-тематических групп: небесные светила, погода, поверхность земли, водоемы, пути сообщения, движение, перемещение в пространстве, сельское хозяйство, поле, почва, посев, выращивание и уборка урожая, огородничество и огородные культуры, молотьба и очистка зерновых, сенокос, корма, орудия труда и их части, телега, сани;

3 том – человеку: названия человека по роду деятельности, имущественные отношения, торговля, внешние особенности и черты характера, организм, болезни, гигиена, языковые характеристики, термины родства, дети, старинные верования, производственно-бытовые праздники, традиционные и религиозные праздники – всего 10 предметно-тематических групп (293 карты);

4 том – традиционной народной культуре: строительству, постройкам, в том числе названиям хаты, печи; освещению в хате, мебели, усадьбе, ограде, обработке льна, ткачеству, приготовлению пищи, посуде, названиям одежды и украшений, шитью, обуви – всего 11 предметно-тематических групп (439 карт);

5 том включает цветные карты, посвященные семантике, слово- и формообразованию, акцентуации (361 карта).

В 1 томе, кроме лингвистических карт, помещены исторические (или точнее историко-административные) карты, которые позволяют соотнести факты территориального варьирования лексики с данными истории, археологии и этнографии.

Большинство карт каждого тома Атласа являются лексическими или лексико-словообразовательными, так как на них эксплицируются различия в наборе лексем (служащих обозначением того или иного денотата) и/или их структурной организации. Значительно меньше собственно словообразовательных, семантических и лексико-семантических карт. Иногда встречаются чисто фонетические карты, иллюстрирующие различия в фонетическом оформлении картографируемого слова (см., например, карты №№ 6 'рабы' (т. 1), 26 'дождж' (т. 2), 86 'падэшва' (т. 3) и др.), и очень редко лексико-этнографические (см., например, карту № 52 'старажытны магільны насып' (т. 2)), хотя присутствие этих карт в Атласе представляется чрезвычайно важным, поскольку в силу своей изначальной комплексности они позволяют совместить лингвистическую информацию с этнографической, что значительно повышает их ценность в решении исторических и этногенетических проблем (см., например, удачную, на наш взгляд, серию лексико-этнографических карт в "Лексическом атласе Архангельской области" Л.П. Комягиной). Сошлюсь в связи с этим на слова Н.И. Толстого, который, обосновывая необходимость составления лексико-этнографических карт, указывал на то, что "метод параллельного рассмотрения изоглосс и изопрагм полезен потому, что он стимулирует сбор и обработку материала в пространственной проекции, привлекает внимание этнографов к фактам лингвистическим, а лингвистов – к этнографическим. Однако его основная ценность в комплексном подходе к материалу, к предмету исследования в том, что этнографические показания дополняют и завершают лингвистические и, наоборот, лингвистические показания дают часто прочную базу этнографическим разысканиям" [Толстой, 1977: 22].

В Атласе, к сожалению, отсутствуют также мотивационные и номинационные карты, хотя материал для этих карт имеется в каждом томе (см., например, карты первого тома №№ 224 'буякі', 240 'ваўчкі', 244 'адуванчык', 252 'спарыш', 285 'ваўнянка' и др., материал которых иллюстрирует различия в мотивировочных признаках, или карты №№ 30 'знаходзіцца ў стане цечкі', 37 'асенняе ягня', 181 'страчковы корань дрэва', 279 'баравік' и др., репрезентирующие различия в принципах номинации).

Не лишней, как представляется, была бы и публикация в каждом томе или в конце пятого тома обобщающих ареалогических карт (типа карт изоглосс или карт ареальных площадей, на которых синтезируются материалы всего тома и иллюстрируется диалектное членение белорусских говоров, см., например, подобные карты в словацком национальном атласе или в архангельском атласе Л.П. Комягиной).

К числу несомненных достоинств Атласа относится его частеречная многоаспектность, поскольку во многих лингвистических программах и вопросниках основное внимание уделяется чаще всего существительным (как части речи наиболее изученной в лингвогеографическом плане). Сведения же о других частях речи собираются, как правило, попутно и очень избирательно, что не позволяет составить представления о диалектной специфике таких частей речи, как прилагательное, наречие или глагол. Белорусским диалектологам посчастливилось избежать этой односторонности в подходе к материалу: наряду с существительными, здесь широко представлены прилагательные (особенно их много во 2 томе, в разделе, посвященном личностной характеристике человека, его физическим, психическим, моральным и иным свойствам), наречия, глаголы и даже частицы (сожаление в связи с этим вызывает отсутствие подзывных слов в томе, посвященном сельскому хозяйству). На картах Атласа отчетливо выявляется специфика этих частей речи как на фонетическом, так и на лексико-словообразовательном уровне (иногда же они прослеживаются и в семантике, особенно много таких карт в 3 томе атласа, см., например, карты №№ 3 'лупаты', 124 'пратаць', 183 'чвэрыць', 186 'вайцяць', 188 'дзейкаць' и др.).

Чрезвычайно интересной и в лексико-словообразовательном и в лингвогеогра-

фическом отношении является серия антропонимических карт 5 тома (см. карты № 74–84, посвященные мужским именам собственным), которые практически никогда не встречаются среди атласируемых явлений.

Удачным представляется и способ подачи диалектного материала: 1) в виде отдельного общего индекса, прилагающегося к каждому тому; 2) в виде строго классифицированного в структурном, семантическом и ареальном плане списка картографируемых лексем в каждом комментарии к карте (что не только значительно облегчает чтение карты, но и дальнейшую исследовательскую работу).

Как уже отмечалось, вопросник Атласа отличается чрезвычайной детализированностью. Однако в Атлас вошла лишь половина карт от общего числа вопросов. Эта излишняя строгость авторского коллектива к отбору материала для картографирования сказалась, к сожалению, на тематическом объеме Атласа, вследствие чего возникли досадные лакуны (в 1 томе, например, ощущается отсутствие карт, посвященных названиям лошадей и собак по их функциональному назначению, названиям шкуры и мяса животных; 2 том только бы выиграл, если бы в него вошло больше карт, посвященных названиям дорог, в частности, плохой дороги, зимней или летней дороги; в 3 томе явно недостает оценочных названий человека, типа *красивый ~ некрасивый, высокий ~ невысокий, толстый ~ худой* и т.д., а также названий, указывающих на физические недостатки человека, типа *слепой, глухой, косоглазый, горбатый* и др.), вместе с тем в каждом томе имеются малоинформативные карты, необходимость и целесообразность составления которых вызывает сомнения (см., например, карты №№ 187 '*паворысты*', 202 '*калодка*' (т. 1) или 94 'значэнне слова *берва*', 127 '*навіна*', 133 'значэнне слова *пеліка*', 134 'значэнне слова *цындра*' (т. 2), 150 '*прылунелы*', 155 'значэнне слова *атарыца*', 189 'значэнне слова *майначыць*' (т. 3) и т.д.).

Особо следует отметить высокий уровень картографического решения карт, большая часть которых отличается четкостью и строгостью картографической репрезентации материала. При разработке картографической концепции Атласа авторы опирались на опыт славянской лингвогеографической школы, а также Общеславянского лингвистического атласа. Картографическое решение каждой карты строится на строгой иерархически организованной системе графических средств. Системный подход к выбору картографических знаков позволил соблюсти их типологическую соотнесенность, когда выбор знака, обозначающего первый член ареальной оппозиции в инвариантном ряду, предопределяет последующее графическое решение карты. Построение каждой легенды в одном ключе позволило авторам передать на карте чрезвычайно сложные, разноплановые структурные и семантические различия, используя при этом лишь классический набор геометрических фигур и их графических модификаций. Вместе с тем на некоторых картах принцип системного картографирования последовательно не выдерживается (см., например, карту № 221 (т. 1) 'шыпшына', на которой через квадрат передана лексема *шыпшына*, а кругом – лексема *шыпшыннік* или карту 42 'гадун, аднагадовае жарабя' (т. 1), где лексема *гадавік* передается кругом, а структурно соотносимые с ней лексемы *гадун, гадунец* – эллипсом; карту 56 'низкае месца' (т. 2), на которой внутренние диакритики круга, репрезентирующего лексемы *ніз, нізіна, нізіна́*, не соответствуют диакритикам квадрата, передающего лексемы *дол, далі́на, даліна́*). Не достаточно четко выдерживается и принцип картографической передачи фонетических и словообразовательных вариантов: на многих картах Атласа фонетические варианты передаются разными заливками знака (см., например, карты 1 тома №№ 61 'пастух': лексемы *па́стыр* и *пасты́р*; 75 'логава ваўка': лексемы *ло́гавішча* и *лагаві́шча*; 86 'кажан': лексемы *каржа́н* и *ко́ржан*; 96 'качар': лексемы *селязе́нь* и *се́лезень* и др.), тогда как словообразовательные – внутренними диакритиками (см., например, карты №№ 63 'падпасак': лексемы *падпа́сак, падпа́савіч, падпа́січ*; 66 'званок на шыі каровы, авечкі': лексемы *звано́к* и *зване́ц*; 82 'ласка': лексемы *ла́ска, ла́сачка, падла́ска* и т.д.). Однако нередко значение этих знаков оказывается прямо противоположным (см., например, передачу словообразовательных вариантов с помощью разной заливки знака на картах 1 тома №№ 41 'жарабец': лексемы *жарабе́ц* и *жарабо́к*; 202 'калодка': лексемы *кало́да* и *кало́дка*; 264 'свірэпа': лексемы *свірэ́па* и *свірэ́піца;* 251 'трыпутнік: лексемы *падаро́жнік* и *прыдаро́жнік*, хотя в той же легенде лексемы *ба́бка, ба́бнык, бабо́к* передаются знаком с внутренними диакри-

тиками и т.д.; или передачу фонетических вариантов через внутренние диакритики на картах №№ 19 'цыцка у каровы': лексемы *цы́цка* и *цыцка́;* 36 'авечка': лексемы *аве́чка, гаве́чка, ве́чка*; 51 'шкадлівая жывёліна': лексемы *шкадлівая* и *шко́длівая*; 81 'тхор': лексемы *тхо́р* и *хо́р* и др.).

Как известно, наглядность карты, ее репрезентативность во многом зависит от правильного выбора ее цветового решения. На большинстве карт Атласа знаки, имеющие заливку или внутреннюю диакритику, закрепляются, как правило, за лексемами, покрывающими большие ареалы, вследствие чего карты легко прочитываются (даже при беглом просмотре), однако иногда встречаются и так называемые "слепые карты", картографическое, а точнее цветовое решение которых представляется неудачным (см., например, карты 1 тома №№ 104 'жаўток', 143 'яловы лес', 174 'цень ад чалавека' или 2 тома №№ 189 'агурок', 194 'качан', 195 'храпка' и др.), практически не различимы знаки на карте № 38 'маркач' (т. 1), соответствующие лексемам *маркаль* и *мархаль*.

Однако все эти погрешности (неизбежные во всякой большой работе) кажутся незначительными перед главным итогом Атласа – границы фонетических и морфологических явлений нашли свое продолжение в границах лексических, семантических и словообразовательных. Взаимно усиливая друг друга, они подтверждают диалектное членение белорусских говоров, предпринятое белорусскими диалектологами на основе материалов ДАБМ (см., например, следующие карты, иллюстрирующие типичные диалектные ландшафты, свидетельствующие о противопоставленности белорусских говоров:

северо-восточные диалекты: т. 1 к. 28 'прамая кішка' (с характерной для них лексемой *гузечніца*); к. 168 'драўляны' (*драўлянны*); т. 2 к. 78 'муціць воду' (*бузяніць, бузіць*); к. 91 'галашчок' (*галута, галутва*); т. 3 к. 53 'дзясны' (*ялкі*); к. 171 'хлапчук' (*мальчук, мальчонак*) и т.д.;

среднебелорусские диалекты: т. 1 к. 181 'страчковы корань дрэва' (с характерной для них лексемой *пастарнак, ствол*); к. 350 'здрок' (*зык*); т. 2 к. 171 'поле пасля гароху' (*гарошнішча*); к. 186 'стрэлка ў цыбулі (*цыбук*); т. 3 к. 157 'залоўка' (*залвіца*) и т.д.;

юго-западные диалекты: т. 1 к. 188 'вываранцень' (с характерной для них лексемой *вываранцень*); к. 222 'ажыны' (*ажыны*); к. 310 'пчолы-разведчыкі' (*скаль*); т. 2. к. 88 'груда' (*храпа*); к. 175 'ніжняя частка снапа' (*гузыр*); т. 3 к. 136 'значэнне слова асца' (*сліна*); к. 148 'кідаць (пра эпілепсію)' (*трасе*); к. 158 'цешча' (*тэшча*) и т.д.

Причем на картах атласа отчетливо выделяются не только основные диалектные массивы, но и зональные, а также более мелкие единицы диалектного членения белорусских говоров – группы, см., например, карты, иллюстрирующие зональное противопоставление белорусских говоров:

юго-восточная зона: т. 1 к. 125 'сіваграк' (с характерными для нее лексемами *сіваграк, сіваграка, сівакрака, сівадрака*); к. 296 'нізка грыбоў' (*нізка*); т. 2 к. 118 'даць выспятка' (*даць выспятка, даць насцака*); к. 163 'спарыння ў жыце' (*ражок*); т. 3 к. 55 'паднябенне' (*неба, нёба*); к. 142 'пякотка' (*печая*) и т.д.

северо-западная: т. 1. к. 15 'рабро у жывёлы' (с характерной для нее лексемой *жабрына*); к. 297 'пчала' (*пшчала*); к. 318 'дымар' (*курэль*); т. 2 к. 113 'сесці на цыпачкі' (*на какарачкі*); к. 138 'паласа ворнай зямлі' (*шнур*); т. 3 к. 17 'шанцуе' (*шэнціць*); к. 38 'сварка' (*вада, звада*) и т.д.;

восточная: т. 1 к. 207 'касцёр дроў' (с характерными для нее лексемами *скі́рда, скірда́*); к. 223 'чорныя парэчкі' (*смурода, смуроды*); т. 2 к. 2 'месяц' (*месячка*); к. 40 'ледзяшы' (*сусолкі*); т. 3 к. 78 'застраміць' (*заскабаць*); к. 134 'нудзіць' (*вадзіць*) и т.д.;

западная: т. 1 к. 57 'рожа, хвароба ў свіней' (с характерной для нее лексемой *чырвонка*); к. 196 'пілавінне' (*пілавінне*); т. 2 к. 62 'рудая вада на балоце' (*руда*); к. 139 'гоні' (*гоны*); т. 3 к. 82 'пухір' (*вадыр*); к. 168 'айчым' (*айчым*) и т.д.;

средняя: т. 1 к. 319 'чмель' (с характерной для нее лексемой *чмель*); к. 335 'жак' (*венцер*); т. 2 к. 28 'навальніца' (*навальніца*); к. 183 'прарасці' (*пахрасцілася*); т. 3 к. 86 'падэшва' (*падэшва*); к. 227 'араты' (*араты*).

Этот теоретический итог Атласа имеет чрезвычайно важное значение, поскольку совпадение лексических ареалов с фонетическими и морфологическими опровергает неоднократно высказывавшееся мнение о том, что какой-либо связи между лексическими и фонетическими изоглоссами не наблюдается (см., например, [Dauzat, 1921: IX]).

Теоретическое осмысление данных лексики и словообразования в ареальном аспекте поможет в дальнейшем расширить

представление о дифференциальных признаках белорусских говоров и выделить новые как противопоставленные, так и непротивопоставленные различия.

Карты Атласа, в основе которых лежит синхронный принцип выявления диалектных различий, открывают в то же время широкие перспективы и для диахронного изучения белорусских говоров в их исторически обусловленной динамике.

Создание "Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак" – это, несомненно, крупный успех белорусских диалектологов. Издание Атласа имеет не только важное культурно-историческое значение для изучения белорусских диалектов (и шире – истории белорусского языка), но и общетеоретическое, поскольку славистика впервые приобрела такое крупное фундаментальное ареальное исследование диалектной лексики, которое дает неопровержимые доказательства надежности лексических данных для установления границ диалектного членения. Карты атласа наглядно проиллюстрировали, что лексические диалектизмы – это не "хаос изоглосс", пересекающих исследуемую территорию без какой-либо закономерности: они обнаруживают совершенно определенные тенденции к группировке в более или менее компактные пучки изоглосс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ДАБМ 1963 – Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.

Ивич П. 1965 – Опыт структурной классификации диалектных различий в славянской языковой области // ОЛА Материалы и исследования. М., 1965.

ЛГГБГ 1968 – Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак. Мінск, 1968.

Толстой Н.И. 1977 – Некоторые вопросы соотношения лингво- и этнографических исследований // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.

ASJ 1968–1984 – Atlas slovenského jazyka. Bratislava, 1968–1984.

Dauzat A. 1921 – Essais de géographie linguistique. Vol. 1 Noms d'animaux. Introduction. Paris, 1921.

Paul H. 1880 – Prinzipien der Sprachdeschichte. Halle, 1880.

Т.И. Вендина

Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А.С. Герд. СПб: Изд-во СПбГУ. Вып. 1 (*А – дрожжаник*). 1994. 509 с.; Вып. 2 (*Дрожжевик – косячок*). 1995. 447 с.

Русская диалектная лексикография, имевшая богатую традицию в прошлом веке, получила могучий стимул в послевоенный период, когда и академические институты, и практически все вузы страны были вовлечены в создание Русского лингвистического атласа. Эта идея позволила сконцентрировать силы наших диалектологов на широком ареальном обследовании лексики, дала концептуальное и материальное обоснование многим диалектологическим экспедициям (resp. диалектологической практике студентов), привела к созданию фундаментальных карточек. Такие монументальные своды русской народной лексики, как "Словарь русских народных говоров", "Псковский областной словарь с историческими данными", "Архангельский областной словарь", "Словарь брянских говоров" послужила образцом для множества региональных словарей: деулинского и мещерского (resp. рязанского), московского, новгородского, смоленского, вологодского, донского, ярославского, орловского, акчимского (resp. пермского), русских говоров Мордовии, Мурманской, Новосибирской, Сахалинской областей и др.

Понятно, что и по составу словника, и по качеству лексикографической обработки, и по принципам составления эти словари достаточно разнообразны. Тем не менее их совокупность образует богатейший банк данных по русской диалектной лексике, который в полной мере сможет быть исследован лишь в будущем веке. А поскольку, по мнению многих лингвистов, диалекты находятся на пороге исчезновения, то само создание таких словарей, картотек и других материалов имеет непреходящую ценность для русистики.

"Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей" (СРГК) – достойное пополнение многочисленной семьи диалектных словарей, появившихся в послевоенное время. Идея его создания (высказанная уже в 1963 г.) принадлежит Н.А. Мещерскому, который, проведя немало лет в карельской ссылке, хорошо знал и высоко оценивал значение русских говоров этого региона для истории нашего языка. А.С. Герд воплотил эту идею в жизнь. Им были организованы многочисленные диалектологические экспедиции, разработаны единые принципы сбора и интерпретации соответствующего материала, привлечены

к словарной работе коллективы русистов Санкт-Петербургского, Петрозаводского, Сыктывкарского, Тверского университетов и Карельского, Вологодского, Череповецкого, Кировского, Псковского и Костромского пединститутов.

Участие ученых из различных регионов в создании СРГК не случайно: осознавая архаичный характер русских говоров Карелии, А.С. Герд и его сотрудники постепенно расширяли собственно "карельский" ареал. Кроме регионов современной Карелии, словарь включает материал Мурманской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Тверской областей, которые ретроспективно представляют территорию бывшей Обонежской пятины Великого Новгорода. Поэтому, собственно говоря, СРГК можно считать словарем масштабным – тезаурусом лексики Русского Севера. Благодаря инициативе и энергии главного редактора и интенсивной работе большого коллектива этот словарь был закончен и отредактирован полностью, прежде чем был представлен к изданию, а два его тома вышли в "рекордный" (по сравнению со многими другими диалектными справочниками, издаваемыми по методу "долгостроя") срок – в пределах одного года. Уже это делает его концептуально целостным и композиционно органичным.

СРНГ – словарь дифференциального типа, что подчеркивается в предисловии (1 : 4). Но дифференциальность его проявляется, по сути дела, лишь в принципах отбора лексики, элиминирующих слова, общие с литературным языком (в том виде, в каком они отражены в 17-томном Академическом словаре). Довольно многие же характеристики этого словаря несут заметный отпечаток лексикографического максимализма ларинской школы, поскольку и Н.А. Мещерский, и А.С. Герд, и многие составители словаря – прямые или опосредованные ученики Б.А. Ларина. Кроме максимальной, диахронически нацеленной широты ареала, СРНГ стремится и к весьма полному отражению семантики и вариантности описываемых слов, документирует большинство словарных статей удачно подобранными контекстами, включает немало ценных этнографических данных о духовной и материальной культуре русских, карел, вепсов Крайнего Севера и т.д. Словарь поэтому станет не только важным источником для изучения языка Русского Севера, но и для исследования целого комплекса проблем, связанных с проблемами этногенеза прибалтийско-финских народов и русских.

Максимализм описания находит надежную основу в богатейшей картотеке, насчитывающей свыше 1,5 млн. карточек. Эта фундаментальная база позволила отобрать и включить в словарь не только собственно диалектизмы, но и массу этнографизмов, профессионализмов, экспрессивных синонимичных рядов (особенно глагольных), префиксальных и суффиксальных образований, идиоматики и т.п. Тонко и точно регистрируются составителями как малейшие отклонения от общелитературной сочетаемости, так и элементы идиолекта, что делает словарь и ценным источником для изучения системы русской разговорной речи и ее творческого потенциала.

Языковой материал, описанный в СРГК, самоценен как зеркальное отражение жизни севернорусов в прошлом и настоящем. Составители стремились точно передать элементы народного быта во всем многообразии. Отсюда – большая детализация профессионализмов, которая достигается не только четкими и развернутыми дефинициями, но и группировкой народных терминов в виде коллокаций, т.е. в предельно полном наборе сочетания. Так, по коллокациям к словам *бревно, доска* или *класть* легко воссоздать в целостности процесс домостроения на Русском Севере: *балочное бревно* ‘одно из бревен венца сруба, в которое врубаются балки пола’, *башмачное бревно* – ‘бревно с углублением для закрепления стропила’, *верховое бревно* – ‘одно из бревен верхнего венца сруба, в которых укрепляются стропила’, *князевое бревно* – ‘бревно на стыке скатов крыши, на которое опирается кровельный тес’, *сквозное бревно* – ‘бревно, которое кладется поверх ряда надоконных бревен’ (1 : 110–111); *балочная доска* – ‘половая доска, накладываемая на балки’, *половая доска* – ‘крышка из досок на полу, открывающая вход в подполье’ (1: 493–494); *класть в шпунт* – ‘соединять доски без гвоздей’ (2: 358) и мн. др. Этнографически точны и детализированы многие словарные статьи, образующие своего рода энциклопедические "гнездовья": *изба, корзина, короб* и др.). Читатель найдет здесь и рецепты народной кухни (например, *калитка* 2: 318–319), и описания народных игр (*зелёная улица*), и народные названия праздников с праностикой (*Дарья – засори пролуба*; *Евдокия плющит*), и описания суеверных обрядов (*зачертиться*), ритуалов (*погоду заливать, заметать следья, за-*

плетать бороду) или демонологических персонажей (*жихарь, жихарёк, жихариха*) и многие другие слова-реалии, неотторжимые от традиционной народной жизни Русского Севера.

Немало в словаре и образных терминов типа *бабья драка* 'растение лилия' (1: 504), *в ёлочки* 'одна из стадий роста льна' (2: 25), *бабушка-затворница* 'цветок ромашка', *лягуший кисель* 'икра лягушек' (2: 350), которые хорошо отражают креативные потенции разговорной речи. Обращают на себя внимание и оригинальные, подлинно народные словечки с ощутимой субъективной образностью типа *затоскливеть* 'сделаться плохо (о самочувствии)' (2: 218). Читатель найдет здесь и контексты, пронизанные неспешной народной мудростью: "*На свете, как на море, колыбается, так и жизнь*" (2: 408). В подобном ключе – и нехитрые житейские истории-притчи, которые многому могут научить спешащих жить современников. Вот одна из них – для наших "новых русских": "*Часы-то были у богацев, а один из-за цясов-то помер, зудился, зудился, что уронил на снеге на дороге, переживал так да помер*" (2: 260). Нередки и образчики ядрёного народного юмора – ср. характеристику дальней родни оборотом *девятая кость от задницы* (2: 444). Не обходят стороной авторы и грубые, бранные слова и выражения или их эвфемизмы: *ёколомене* 'бранно' (2: 24), *ё-кроё* 'как выражение удивления, возмущения чем-н. в сильной степени; бог ты мой' (2: 19); *зауголок* 'внебрачный ребенок' (2: 225) и т.п.

Экспрессивной лексике и фразеологии в СРГК отведено, как уже сказано, большое место. Кроме больших традиционно диалектных экспрессивных рядов лексики (особенно глагольной) составители отразили немало фактов, "навеянных" взаимодействием диалекта и литературного языка. Таковы, например, слова *бездельник* 'о телевизоре' (1: 52), *зонтик* 'парашют' (2: 257), *избач* 'библиотекарь', 'клубный работник, затейник', 'киномеханик в клубе', 'заведующий сельским клубом', *избачка* женск. к *избач* (2: 271), *берестовые калоши* 'лапти' (2: 320), *черная квартира* 'изба, отапливаемая по-черному' (2: 335), *идти по большевикам* 'идти вместе с кем-л., быть на чьей-л. стороне' (2: 268). Весьма многочисленны и всякого рода контаминации, словообразовательные и фонетические переосмысления, возникшие в результате такого взаимодействия: *Еруслан* 'об аэроплане, самолете' (2: 28), *комедень* 'забава, шутка' (2: 410), *заявление крови* 'о приливе крови (в голову) при повышенном кровяном давлении' (2: 243), *излияние мозгов* 'кровоизлияние' (2: 281) и т.п. Вообще современная жизнь, судя по материалам словаря, весьма активно вторгается в диалектную речь, перерабатывая многие актуальные понятия на свой лад. Ср. экспрессивные слова и обороты типа *Китай* 'о многолюдном населенном пункте' (2: 354), *смешить Европу* 'вызывать насмешки своими действиями или поведением' (2: 20), *Малая земля* 'о человеке маленького роста' (2: 250 – возможно, намек на одноименную брошюру малого формата Л.И. Брежнева) и т.п.

Пробным камнем качества словарей, как известно, являются дефиниции и филиация значений. И в этом отношении СРГК отвечает самым высоким требованиям. Детализированная семантическая дифференциация – одна из главных целей словаря. И эта цель составителями успешно достигается, что показывают многие словарные статьи: *водить* (13 значений), *жить* (20), *заступить* (12), *играть* (9), *имать* (15), *класть* (21) и т.п.

Важным элементом детализации и конкретизации семантики является последовательное стремление отразить лексику во всех ее валентностных отношениях. Отсюда – большое число устойчивых словосочетаний к лексемам активной валентности: *дерево* (*глухое дерево, комлевое дерево, креневое дерево, мяндовое дерево, фальтовое дерево* и др.), *зайти* (*зайти вглубь, зайти в годы, зайти в душу, зайти в память, зайти нездоровью* и др.), *идти* (*идти на леший след, идти на опашку, идти в защиту, идти в нырки, идти на жоры, идти на косы глаза* и др.). Даже когда лексикографическими знаками такая сочетаемость не выделяется, в контексте она сохраняется – например, онежский оборот *ни жерздины, ни кола* (возможно, – локальный вариант известной идиомы *ни кола, ни двора*) "запакован" в цитации к слову *жердина* (2: 49). Контекстный материал словаря вообще имеет большую ценность, и исследователь может добыть из него нужную ему информацию. Так, синтаксист обнаружит в иллюстрациях типичную для региона синтаксическую конструкцию Им. с инф. (*байна топить*) – 2: 38; *вода зажигать* – 2: 122; *яма искать* – 2: 295), а паремиолог – немало пословиц

(*Пуганый заяц и куста боится* – 2: 244; *Под лежачий камень вода не канет* – 2: 325), *Не тот зеворот, который заехал оглоблей в рот, а тот зеворот, который держал открытый рот* (2: 248).

СРГК – один из самых богатых диалектических словарей по отражению в нем фразеологии. Многие большие гнезда строятся едва ли не исключительно на фразеологии в широком смысле слова – см. *Бог, голова, дух, душа, земля, камень* и др. Для историко-этимологических интерпретаций особо важны локальные варианты общелитературной идиоматики типа *ни клочка* (*сучка*) *ни задорчинки* (2: 117), *городить авию (1: 16), на авось божию* (1: 17) и т.п. Многие фраземы, зафиксированные в СРГК, значительно расширяют ареал славянской идиоматики. Так, например, сравнительный оборот *земля землей* 'о грязном пьяном человеке' (2: 249) подтверждает предположение Н.И. Толстого, что сербохорв. *пијан као мајка земыа* имеет ареальные проекции и в восточнославянских диалектах.

К достоинствам словаря относится и пристальное внимание к словообразовательным потенциям диалектного слова. Так, ряд префиксальных образований с *из-* насчитывает свыше 350 лексем (2: 269–287), а образований с *за-* свыше 3300 лексем (2: 79–244). Ср. вариантные ряды типа *досего, досёго, досё, досев, досево* (1: 492); *досюдни, досюдошний, досюлешный, досюли* (1: 497); *зде, здёка, здёкава, здене, здесева, здесёка, здеся, здесява, здесяка, здесякова, здесяку, здесятко* (2: 246); *зимось, зимусь, зимуся* (2: 253) или *корела, корелачить, корелечить, корелка, корелить, корелок, корелы, корельщина, кореляк, кореляне, корелять, корелячинье, корелячить* (2: 423). Такие словообразовательные парадигмы еще раз убеждают в неисчерпаемом богатстве народной речи.

Любой коллективный труд, особенно словарный, да еще стремящийся "остановить мгновенье" живой речи, разумеется, не может быть абсолютно унифицированным. При всех исключительно трудоемких попытках главного редактора и редакторских групп провести такую унификацию по всем аспектам, в некоторых случаях можно найти поэтому некоторые разночтения при описании тождественных или близких языковых фактов. Таково, например, отражение народных сравнений в словаре. В одних случаях они выделены с помощью пометы *в сравн.* ("Матерьял как брюховинка" – 1: 125; "Женихов у нас, как у заплоты льду" – 2: 177; "Старушка старенькая, как клюшечка" – 2: 377; "Сидят на танцах, как колобушки" – 2: 400; "Как кострома, бегает" – 2: 443) без дефиниции; в других даются под знаком, общим для устойчивых сочетаний > с дефиницией (*как выпитый* 'изможденный' 1: 278; *глядит как мертвый из-под савана* 'глядит исподлобья, неприветливо, мрачно' – 1: 344; *как осиное гнездо* 'об очень пьяном человеке' – 1: 345); в третьих, даже маркируются знаком сильной идиоматичности Δ и толкуются (*как в руку вложить* 'понятно, доходчиво' – 1: 206); в-четвертых, не выделяются вообще (*как гмыря* – 1: 344; *как елец* – 2: 24; *забизяндал, как комар* – 2: 81; *как строкивой зажгли* – 2: 121; *залилась, как бочка* – 2: 149). Примеры такого неадекватного подхода встречаются даже на одной странице. Так, сравнение *сидит, как кокач* 'о замерзшем человеке' дается с пометой *в сравн.*, а (*стоит*) *как коковень* 'очень крепко' – под > (2: 389). Лингвистического основания для столь "разнобойного" описания однородных единиц, как кажется, нет. Во всяком случае, приведенные примеры достаточно однородны и "перекрестны", несмотря на их разную группировку составителями.

При отмеченном выше стремлении авторов к дифференциации и детализации лексики нельзя не обратить внимания на некоторую недифференцированность подачи устойчивых словосочетаний и идиоматики. В основном они даются под одним и тем же знаком >, хотя и функционально, и семантически эти два класса устойчивых словосочетаний весьма различны. Отсюда в одном гнезде без дифференциации помещаются столь разные обороты, как профессионализмы-термины типа *лапти драть* 'плести лапти', *сок драть* 'гнать сок' и идиомы типа *зубы драть* 'сплетничать, болтать попусту, трепать языком', *драть дёром рот* 'громко петь' (1: 505) или *прибавить байну* 'о тепле, паре в бане' и *дать байну* 'наказать, выругать кого-н.' (1: 31). Знак Δ, используемый составителями для идиоматики, поэтому не очень эффективно "работает": ведь под ним даются практически такие же обороты, которые в других гнездах обозначены >: *сердце закатило* 'сердце заболело, сердце схватило' (2: 128), *кляч в горле встал* 'об ощущении комка в горле' (2: 379). Ср.

обороты типа *в худых душах* 'устать, утомиться', данные под > (2: 13), но обладающие даже большей квотой идиоматичности, или *сердце захолонуло* (2: 233), *сердце пошатнулось* (2: 121), которые вообще не выделены из контекстов в корпусе словаря. Кстати, несколько непривычен для фразеологов и знак ◊, которым в словаре обозначены "примеры, иллюстрирующие лексическую сочетаемость слов, нетипичную для литературного языка" (1: 4) типа "Я и чаю не едала до утрешнего" для *едать* (2: 20). Традиционно это именно знак высшей идиоматичности, фразеологических сращений.

Можно было бы отметить и некоторые другие непоследовательности в отражении фразеологии в словаре – например, отсутствие управления для глагольных оборотов (типа *затрясёт стыд* – 2: 220; *изморозь взяла* – 2: 283 и др., для которых контекст дает реакцию *кого*); не выделенность фразеологических единиц для слов типа *закукры* (*на закукры, на закукрах*), *закукорки* (*на закукорки* – 2: 144); нестабильность в выделении грамматической доминанты устойчивого словосочетания и т.п. Эти упреки, однако, относятся не столько к составителям СРГК, сколько к общему состоянию лексикографической разработки диалектной русской фразеологии. И в этом отношении рецензируемый словарь скорее даже более последователен и корректен, чем многие другие. Главное же, – и в области описания этой группы единиц составителям удалось с большой полнотой отразить массу находящихся в броуновском движении речевых устойчивых и неустойчивых словосочетаний. А это – главная задача любого хорошего словаря. Конечно, и здесь, как и в области лексики, еще можно будет искать и находить новый материал (ср. слово *закалюка*, отсутствующее в словнике на – 2: 127, но отраженное в контексте к слову *запоперечить* на – 2: 181). Но это будут уже отдельные находки – дополнения к фундаментальному корпусу, описанному знатоками говоров Русского Севера.

Каждый словарь, как и любая книга, имеет свою собственную судьбу. Судьбой СРГК стало то, что он органически объединил экспедиционную работу на необъятных территориях Русского Севера, стал задолго до своего издания хорошей лексикографической школой для многих диалектологов. Этот словарь – подлинная энциклопедия народной крестьянской жизни. И не только жизни традиционной, уже минувшей. "Отражая тенденции развития разговорной речи, он... тем самым обращен в будущее, – подчеркивает в предисловии А.С. Герд. – Через определенный промежуток времени неизбежно встанет проблема создания новых словарей по тем же областям, и тогда словари, подобные данному, будут служить основной шкалой для самых различных сопоставлений и сравнений" (1: 5). Два вышедших из печати тома "Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей" имеют все основания для того, чтобы стать такой шкалой для нашей диалектологии. А устремленность его составителей в будущее свидетельствует и о том, что он после выхода сохранит и статус высшей лексикографической школы.

В.М. Мокиенко

Новгородский областной словарь. Вып. 1–12. Новгород, 1992–1995.

В критических оценках состояния русской диалектной лексикографии до недавнего времени общим местом были сетования на неравномерность охвата словарными описаниями великорусской этноязыковой территории: одни зоны, например, северновеликорусские, представлены региональными лексиконами с большей или меньшей полнотой (об их "достаточном" количестве говорить нельзя будет, конечно же, никогда), лексикографическое описание других, например, южновеликорусских, намного беднее. Без подробного описания диалектной лексики в жанре словаря оставались даже области, исключительно важные в историческом, историко-культурном и историко-языковом плане, например, Новгородская, Владимиро-Суздальская земли и др. Бумом региональной лексикографии нынешнее время, разумеется, не назовешь, но все же положение, по счастью, меняется. Одним из свидетельств этому – "Новгородский областной словарь", подготовка и издание которого, осуществлявшиеся сотрудниками Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (ранее – Новгородского государственного педа-

гогического института)[1], завершены в позапрошлом году.

"Новгородский областной словарь" (его составители для сокращенного обозначения словаря предлагают пользоваться аббревиатурой НОС) относится к диалектным лексиконам дифференциального типа, средним по величине: суммарный объем его двенадцати выпусков – около 115 печатных листов. К сожалению, авторы не указывают ни количества словарных статей, составляющих каждый отдельный выпуск, как это принято в ряде изданий подобного жанра, ни общего числа диалектных слов, получивших в лексиконе отражение. Однако по моим прикидкам "Новгородский словарь" включает около 23 тысяч вокабул, а если принять во внимание фразеологию, помещаемую в различные словарные статьи, то общее число лексических и сверхсловных единиц, составляющих в нем предмет лексикографического анализа, по-видимому, близко к 25 тысячам. Наряду с нарицательной лексикой, вслед за изданиями типа "Архангельского областного словаря", рецензируемое собрание включает некоторые категории ономастических имен: микротопонимию (собственные названия ручьев, холмов, земельных участков и т.п.) и прозвища-"микроэтнонимы". Базой для создания словаря послужила картотека, насчитывающая приблизительно 400 тысяч карточек. Материал для "Новгородского словаря" собирался с 1959 г. в течение тридцати лет на территории бывшей Новгородской губернии (современная Новгородская область и часть Ленинградской области – Волховский и Тихвинский районы). На этой территории распространены главным образом новгородские (окающие) и псковские (акающие) западные среднерусские говоры и говоры Ладого-Тихвинской группы северновеликорусского наречия.

"Новгородский словарь" существенно расширяет наши представления о лексическом составе говоров Новгородской области и сопредельных местностей. Значительное количество приводимых в нем слов отсутствует в сводном "Словаре русских народных говоров" – наиболее крупном собрании диалектной лексики во всей славянской лексикографии. Таковы, например, лексемы *бабары́га* (название рыбы), *брыздо́к* 'отборное зерно злаковых культур', *высходня́г* 'тропа, по которой можно выйти из лесу', *гла́балка* 'чесалка (для шерсти)', *долгопря́слый* 'долговязый', *душемера* (нареч.) 'много, сколько душе угодно', *ерусал* 'грязь, размякшая почва', *жгуль* (жен. р.) 'жгут', *жолничи́* (множ.) 'стебли (например, табака)', *закули́жина* 'отдаленный участок (край) болота', 'кривой поворот', 'боковая часть грядки', 'приспособление для колки дров в виде клина', *зерём* 'мокрое место' (ср. др.-русск. *зеремя* 'место, где живет стадо бобров', XV в.; слово праславянского возраста, кроме юго-западных памятников древнерусского языка, до сих пор отмечавшееся из всех славянских языков лишь в старобелорусском, XVI в. [Трубачев 1963: 179; Филин 1972: 543–544]), *и́ворок* 'непослушный, своевольный человек' (родственно словам *ивер, иверень* 'осколок, клочок; щепа; мусор'; ср. семантически близкие простореч. *оторва*, белор. диал. *асколак* 'сорванец'), *киловóз* 'участник свадебного поезда, едущий последним', *кла́пень* (муж. р.) 'семенник у конопли', *копóн* 'пруд', *кровомóчка* 'болезнь коров', *лозгу́ша* 'картофельная шелуха', *лыбя́ница* 'ягода, похожая на землянику, но крупнее и поспевающая позднее', *мали́ца* 'малина' (с не отмеченной до сих пор суффиксальной вариантностью), *междуе́лки* (множ.) 'отдельные островки травы', *мóкуш/мóкош* – с тринадцатью (!) значениями, организованными в семь (!) словарных статей ('мох', 'вид рыбы', 'нечистая сила', 'человек маленького роста', 'грязь, мусор', 'моченый хлеб' и др.; в СРНГ – лишь *мокоша́* новг. 'нечистый дух', яросл. 'хлопотливый человек'), *москли́жка* 'лодыжка, щиколотка' (ср. *мостолы́га* 'голень', фиксированное в русских говорах Литвы), *не́ганый* 'сытый' (правильно ли установлено значение?: *Ох, у меня лошадь негана), несу́де/несу́ди* (предлог!) 'вроде' (для выражения компаративных отношений), *не́ша* 'сплетник' и др.

Немало в словаре слов, отмечаемых в новгородских говорах в иных, по сравнению с уже зафиксированными другими региональными словарями, значениях, например: *бодя́га* 'вид супа', 'о любой плохой еде' (представляющее прекрасную основу для истолкования фразеологизма *разводить бодягу*, – вопреки имеющимся толкованиям

[1] Авторы-составители – А.В. Клевцова и В.П. Строгова при участии Л.Я. Петровой (в трех выпусках) и А.В. Никитина (в одном выпуске); ответственный редактор – В.П. Строгова; научный консультант лексикографического предприятия – А.С. Герд.

анекдотического качества [Шанский и др. 1987: 122]), *водолей* 'кормовая часть рыбацкой лодки', *голо́вница* 'корзина из лучины', *губа́* 'полоса невытеребленного льна', *дед* 'часть приспособления для обработки льна', *ежева́тый* 'колючий (о волосах)', *желтопузи́к* 'желтый груздь', *за́водень* (муж. р.) 'летняя страда', *зелёнушка* 'щука в возрасте одного года', *изгаля́ться* 'пристально смотреть' (ср. серб.-хорв. *га́лити* 'пялить глаза', словен. *gáliti se* 'непристойно заголяться'), *квасцы́* 'жидкий отстой свернувшегося молока, сыворотка', *клык* 'кочка на болоте', *кожеви́на* 'выделанная шкура животного', *корянка* 'коромысло для переноски белья', *косынья́* 'пространство между скатами крыши сзади дома, зашитое тесом или дранкой', *красну́ха* 'рябина', *красу́ха* 'красная глина', *ляжьё* собир. 'простой народ' (к *ляд?*), *мари́на* 'период дождей', *ни́кать* 'искать что-л.', *ну́треник* 'только что родившийся теленок; теленок, родившийся зимой' и т.д.

Материалы "Новгородского словаря" не только дают возможность уточнить географию различных славянских слов и расширяют круг их значений, но позволяют в ряде случаев дать толкование неясным в семантическом отношении словам древнерусских текстов, подтвердить или опровергнуть те или иные этимологические трактовки.

Некоторые примеры.

В новейшей книге А.А. Зализняка о северо-западном окраинном древнерусском диалекте, отражаемом новгородской берестой, фрагмент текста грамоты № 112 (кон. XII – 30-е гг. XIII в.) [*се ес*]*и пояле исполовницоу мою телицоу вода- (е) ... [ко]-во-со племенемо* (текст дается здесь в упрощенной графике) переведен как '[Вот ты] взял (вероятно, в жены) мою испольщицу; отдай же телку [и корову (?)] с потомством' [Зализняк 1995: 382]. Слово *исполовница*, извлеченное из этого же текста берестяной грамоты, в [СлРЯ XI–XVII вв., 6: 282] оставлено без перевода, с вопросительным знаком вместо толкования. Перевод Зализняком слова *исполовницоу* как 'испольщицу', т.е. 'женщину, арендующую землю с платой в пол-урожая, женщину-соарендатора', весьма маловероятен. Данные "Новгородского словаря" (вып. 3, с. 119: *исполо́вный* 'взятый на время на договорных условиях'. *Коровушка у нас исполовная*), дополняя сведения о семантике производных от *испол-*, имеющиеся в СРНГ[2], позволяют судить, что речь в берестяной грамоте идет об арендуемой и с п о л у корове, незаконно, по мнению автора грамоты, уведенной компаньоном.

Глагол *лыбить(ся)* (праслав. **lybiti*) и, далее, существительное *улыб(к)а* давно поставлены в этимологическую связь с обозначением 'лба, черепа' (праслав. **lъbъ* > русск. *лоб*) – с мотивацией 'скалиться, напоминая череп' [ЭССЯ, 17: 14]. Эта этимология весьма удовлетворительна, однако для окончательной убедительности ей недоставало одного формально-семантического звена, а именно примеров с корневым *-у-(-ы-)* в словах, несущих не производную семантику 'улыбаться', а более раннюю или же прямо выводимую из значения 'лоб'. "Новгородский словарь" этот пробел восполняет: ср. включенные в него (вып. 11, с. 92) микротопонимы *Улы́бушка* в Валдайском р-не (названия холма, возвышенности и "островины" на болоте) – с несомненной мотивацией анатомическим значением, ср. диал. *лоб* 'мыс, крутой берег; возвышенность; утес', *взлобок* 'пригорок' и под. (понятно, что имя реки *Лыбедь*, при всей вероятности его связи с понятием 'гора' [ЭССЯ, 17: 12–13], ср., видимо, аналогичный по отправной мотивации гидроним *Горынь* – в силу его проприальной десемантизованности – весомым аргументом в указанной этимологии быть не может).

Замечательно слово *задавлю́ка* 'что-л. очень кислое' [ЭССЯ, 3: 23], должное служить в порядке семантической параллели подтверждением этимологии, правильно связывающей слово *оскомина* с глаголом *скомить / щемить* 'давить', – в возражение Вяч.Вс. Иванову, который зачем-то увидел[3] в русск. *оскомина* совершенно невероятное заимствование из очевидно периферийного лат. *oxycominum* 'маринованная маслина с тмином' (отмечаемого в "Сатириконе" Петрония), в свою очередь явного грецизма.

Материалы рецензируемого словаря непременно будут использованы в реконструкции лексического состава праславянского языка. Обратим внимание на слово

---

[2] *Исполово́й*. "Коровы *исполовые* были, от хозяев; мы кормили, молоком пользовались, а им отдавали телят и коровы им шли на мясо" [СРНГ, 12: 237].

[3] В докладе, сделанном 31 августа 1995 г. в Отделе структурной типологии славянских языков Института славяноведения и балканистики РАН.

чере́ха 'вода красноватого цвета', записанное в Чудовском р-не. Не может ли это слово уточнить этимологическую трактовку слова *череха* 'черешня' (праслав. **cerxa*), известного пока лишь в болгарском, македонском языках и в гуцульских говорах украинского языка и признающегося [ЭССЯ, 4: 78] заимствованием через латынь из греческого? Во всяком случае, название черешни в последнем мотивировано цветом (к и.-е. **kʷerəs-* 'черный, темный'). Любопытно слово *месе́нь* (муж. р.) 'месяц' (в году): *На май месень ни шубы, ни кафтана* (Крестецкий р-н). Оно, возможно, представляет собою исключительно архаичную форму еще индоевропейского **mē-sen-*, не осложненную суффиксом *-ko* (**mē-sen-ko* [ЭССЯ, 18: 193], если это не переразложение древней основы с заменой ее сегмента суффиксом *-enь*: **mĕsę-cь* → **mĕs-ęcь* → **mĕs-enь*.

Данные "Новгородского словаря", как уже говорилось, весьма ценны в качестве "источника знаний" о русской диалектной фразеологии: *маткин берег!* (выражение досады, вероятно, эвфемистическое преобразование популярного непечатного восклицания), *по пустым вторникам* 'о чем-либо неважном, ненужном (говорить)' – речение, корректирующее тезис о положительной отмеченности вторника в восточнославянских представлениях в противовес южнославянским [СД, 1: 455–456], *бить на́белки* 'сердиться' (из ткацкой терминологии; ср. смолен. *бить борону* 'ссориться, спорить'), *глотать солнце* 'бездельничать', *голодный ветер* 'западный ветер', *хоть пол грызи* 'очень плохо', *где Макар коз не даивал* 'далеко' (ср. *куда Макар телят не гонял*), *дурак понюхал* кого-л. (о глупце), *душа в пясточку ушла* (фразеологизм, допустимо думать, сохраняющий более раннее лексическое наполнение; *пясть* – 'кисть руки, горсть, кулак'), *жечь рыжики* 'беседовать', 'изменять супругу' (с последним ср. еще фразеологизм *сварить грибов* 'нарушить верность'), *на живот плечистый* (о пузатом человеке с большим аппетитом), *журавли задумчивые* (о смирных людях), *как кур в отрепьях* (о ленивом, неповоротливом человеке), *лапти сделать* 'изменить девушке', *Мартын засватал* (о состоянии человека, когда он начинает зевать, хочет спать), *с лягушечьего рта ветер* 'ветер, приносящий дожди' и мн. др.

Значимость введения в научный обиход новых и довольно многочисленных лексических и фразеологических данных новгородских диалектов велика и неоспорима. Нет сомнения в том, что они будут широко привлекаться в историко-семасиологических, лингвогеографических, глоттогенетических исследованиях, в частности, для решения проблемы западнославянского, севернолехитского влияния на сложение древненовгородского диалекта – проблемы, весьма (а на мой взгляд, преувеличенно) остро возбуждаемой в работах некоторых последователей А.А. Зализняка.

К огорчению, лексикографический уровень рецензируемого издания далеко не всегда отвечает строгим требованиям современной диалектологической науки.

В описании построения словаря прокламируется различение фонетических и морфолого-словообразовательных вариантов слова, причем для вторых предусмотрена их подача в разных словарных статьях. Однако этот принцип соблюдается не слишком аккуратно (см. статьи *бахмурный/бахмурый, баша–баша/баши–баши, бодучий/бодачий, бродыня/бродня, бруить/бруять... клюкухи/клюкуши, колты/колтки, кроль/кроля... самоклажа/самоклада, сглуха/сглуши...*; относить вариантность таких лексем к фонетике ошибочно).

Построение словарной статьи, заданное выбранными принципами, выдерживается не с неукоснительностью. Возможны в словаре и такие погрешности, как нарушение алфавитного порядка в следовании статей (см., например, вып. 12, с. 121–122).

В словаре встречаются неверные грамматические характеристики, ср., например, противоречие между пометами "(-)и" (флексия родительного падежа), "ж." (женский род) при вокабуле *ба́ганъ* ('ягоды голубики', собирательное?) и реальной формой родительного падежа в примере: *из баганя варенье...* В заголовочном представлении фразеологизма не всегда, вопреки установкам словаря, необходима лемматизация (приведение, например, глагола, к форме инфинитива): она может устранить необходимое понимание словосочетания, как, скажем, в случае с фразеологизмом *за копейку зайца догнать* – "о жадном" (фразеологизм употребителен только с финитной формой 3-го лица *догонит*. – *А.Ж.*). Есть и прямые нелепости, связанные с синтаксической, а отсюда и семантической, несогласованностью толкуемого и толкования: *Рукомойная грязь*. О высоком мастерстве в вязании, ткачестве [*Учили с рукомойной грязи брать* (рисунок)].

Не всегда точно устанавливаются в

словаре значения диалектных слов. Толкования многих слов, относящихся к категории физиографической номенклатуры, слов, обозначающих этнографические реалии, и т.п., страдают неидентифицируемостью, чаще всего вызванной пробелами в познаниях собирателей и отсутствием под рукою, например, определителей растений, рыб, насекомых. Но если словарные толкования типа 'комнатное растение с розовыми цветами' или 'рыба с большой широкой головой' – это наша беда, то определения вроде 'вид игры' или 'вид корзины' должны быть прямо поставлены в вину собирателю, поскольку возможность выяснить, в чем состоит эта игра и чем отличается эта корзина, у него, как правило, имеется. Неточно определение 'звезда' для лексемы *курочка*$_1$ – это не синоним слову *звезда*, как можно было бы предположить, а собственное название определенного светила в определенном созвездии, литературное наименование которого составителю неизвестно (скорее всего, речь идет об одной из звезд скопления Плеяды или о созвездии в целом).

Можно заподозрить, что иной раз составители словаря исходят из лексико-семантической системы литературного языка, и диалектному слову приписывается значение, ему не свойственное. Так, скорее всего, обстоит дело со словами тихв. *обыдённо* и *обыдённый* 'повседневно, буднично' и 'будничный': это позднее, развившееся в литературном языке со 2-ой пол. XIX в., значение в диалектную речь, насколько мне, занимавшемуся этими словами [Журавлев 1983; 1995], известно, не проникло; судить о данном случае наверное мешает отсутствие текстуальных иллюстраций, но ср. приводимое в словаре тихвинское же слово *обыдёнкой* 'в течение одного дня'.

Иногда неточное толкование сильно десемантизованного фразеологизма-"присловья" вызывается его неоправданным отрывом от слова-"стимула", к которому он привязан намертво: *Как у зайца ломов*. О большом количестве чего-л. ненадежного. *У меня домов, как у зайца ломов, где поужинаю, там и спать* (по-видимому, клишированная реакция на вопрос "Где твой дом?"; составители не заметили даже рифмы. – *А.Ж.*) (статья *лом*).

Очень нередко слову приписывается в словаре более узкое значение, а клишированному речению или паремии – более узкая применимость, чем те, которыми они обладают на самом деле: *Балакать*... Говорить на чужом языке. *Немцы-то балакали* (скорее всего, просто 'говорить' – *А.Ж.*); *Крутые горки*. 2. О трудных родах. *Крутые горки, да забывчивы* (очевидно, что приведенная в качестве иллюстрации пословица может быть применена не только к ситуации с родами. – *А.Ж.*). Вполне ли можно доверять толкованиям типа *белы́нь* (жен. р.) 'белая туча' (*Вон белынь какая ползет*...)?: не 'белизна' ли, с чисто речевым отнесением "абстрактнозначного" слова к конкретному явлению?

Сомнительны толкования слов *бала́бка* 'житель, приезжий из другой местности' (с иллюстрацией: *Толя балабка ставит себя неветь куды, а сам приехал неизвестно аткуда и гардится;* ср. у Даля новг. *балабка* 'белый хлебец, булка', не исключено, что здесь – 'пустомеля', *пардо́н* 'отдых' (*И пардону не знала*) или фразеологизма *завести балы* 'рассказывать что-либо' (*Ну завел балы!;* следует: 'снова начать опостылевшие всем разговоры'; отметим, кроме того, видовую несогласованность глаголов в толкуемом фразеологизме и в толковании – оплошность, к сожалению, очень характерную для региональной лексикографии).

Невниманием к природе фольклорного слова следует объяснять отождествление лексического значения, с одной стороны, и кодируемого слова, слова-отгадки (на загадку), с другой. Ср.: *Ба́ба*$_4$... Соха. *Стоит баба на дороги, раскорячены ноги, пришел мужик* (загадка)... (конец загадки, видимо, в силу откровенно эротического второго ее плана[4], опущен, чего делать не следовало: лингвисту и фольклористу жеманничать не пристало). Понятно, что у слова *баба* языкового значения 'соха' нет, и его использование в загадке нуждается в специальных средствах лексикографического представления (впрочем, давно выработанных и хорошо известных).

Не всегда достаточны прагматические характеристики тех или иных слов. Так, например, в словарь включается лексема *лёдна*, записанная в Опеченском р-не, с толкованием 'голова'. Никаких помет при ней не дается, как нет и примера на свободное употребление (за особым знаком приводится только фразеологизм *на свою лёдну* 'не к добру'), и остается неясным, является ли оно просто синонимом слову *голова*, что чрезвычайно маловероятно, или

[4] Параллели см., например, в [Топорков 1995: 385–386].

отягощено какими-либо, скорее всего существенными, стилистическими и иными ограничениями на употребление.

Словник "Новгородского словаря" мог быть несколько шире, чем то получилось в окончательной его версии. В одной диалектологической записи могло встретиться несколько диалектных слов, но карточка нередко используется составителями для иллюстрации только одного из них. В словнике пропущены многие диалектные лексемы, которые обнаруживаются в текстуальном иллюстрировании других вокабул, например, *вязтись* 'вязаться' в примере к статье *шепоты* 'род обуви' (*шепоты вязлись*), *гомыла, гомыля* – в статье *каленка* (случай тем более досадный, что значение слова вырисовывается из контекста не с безусловностью, а в СРНГ даны лишь варианты калуж. *гамыля* и псков. *гомолина* 'кусок хлеба'), *гуднюк (гуднюг?* 'заросли какого-то растения', 'кустарник'? слова в СРНГ нет) – в статье *пороснюк, ерюга* (слова в СРНГ нет; вероятно 'пьяница, бездельник', ср. *ярыжка*) – в статье *край, половичина* 'половица' – в статье *слуда* (в словнике присутствуют лишь статьи *половница* и *половничина*), *сухрес-нахрес* 'крест-накрест' – в статье *бабка*$_3$ 'укладка снопов' и др. Таким образом может теряться и существенная морфологическая информация, например, проигнорирована форма мужского рода *картов (картоф)* 'картофель' (статья *калитка*$_2$ 'ватрушка': *кладут картоф толченой;* при заголовочном слове *карто́в* помета "ж."). Неясным в таких случаях может оставаться наличие варьирующих диалектных форм, например, является ли слово *паранина* (см. статью *жни́тва*) вариантом к *парени́на* 'поле под паром', или же это просто опечатка. Невнимание к таким словам при использовании данной записи для иллюстрации другого слова часто имеет следствием неполное очерчивание их ареала на территории Новгородской области. Так, география слов *дели́нка* 'небольшое дело' и *волоко́шко* 'волоконце' должна быть расширена за счет Поддорского р-на (см. примеры к статьям соответственно *баклушница* и *костижина, отрепи*), *восор(к)а* 'оса' – за счет Чудовского р-на (статья *крючок*$_1$ 'слепень'), *неве́дь* 'неизвестно' и *подылок* 'подзолистая почва' – за счет Маревского р-на (статьи *балабка* и *серый* соответственно) и т.д. Выявлена не вся содержащаяся в полевых записях фразеология (ср., например, *баенная нечисть* '(какая-то) болезнь' в статье *баенный, откупать бал* 'нанимать помещение для вечеринки' в статье *бал, серое тесто* в иллюстрации к уже упомянутой статье *калитка*$_2$, возможно, бранное *анчут горбатый* в статье *анчут* и т.д.).

Нужно сказать (уже адресуя упреки не только составителям словаря) и о не блещущей добротностью технической его базе. Двенадцать выпусков словаря напечатаны четырьмя разными шрифтовыми гарнитурами. Ударный гласный в заголовочной форме обозначается строчной буквой (остальные – прописные), а в иллюстрациях не обозначается никак (из-за чего, к сожалению, утрачивается информация об акцентуации в парадигме). Этот недостаток, следует заметить, не был неизбежным: оригинал-макеты большинства выпусков делались с помощью компьютера. Начиная с 3-го выпуска, с переходом на компьютерный набор, изменен знак, за которым в пределах данной статьи помещается фразеология ("треугольник" заменен "диезом"), но это обстоятельство нигде не оговорено. Встречаются даже такие курьезные вещи, как словарная статья, напечатанная вверх ногами (вып. 1, с. 43).

Конечно, упомянутые упущения и изъяны (а я привел лишь немногие примеры) не дают возможности признать качество словаря весьма высоким. И все же выход его в свет нужно принять с удовлетворением. Сколь ни серьезны упреки, адресуемые составителям лексикона, их работа, требующая подвижнических усилий и огромного времени, неоценима и как всякая деятельность, направленная на фиксацию исчезающей диалектной лексики и фразеологии, на ее введение в научную практику, заслуживает внимания и благодарности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Журавлев А.Ф. 1983 – Семантика и происхождение слова *обыденный* // Этимология. 1981. М., 1983.

Журавлев А.Ф. 1995 – Скрытые межкультурные конфликты в диалектной лексикографии // Словарь и культура. М., 1995.

Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.

СД – Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1. М., 1995.

СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–21–. М., 1975–1995–.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–29–. М.-Л. (Л.; СПб.), 1965–1995–.

Топорков А.Л. (ред.) 1995 – Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольк-

лор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки. М., 1995.

Трубачев О.Н. 1963 – О составе праславянского словаря. (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). М., 1963.

Филин Ф.П. 1972 – Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.

Шанский Н.М. и др. 1987 – Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1–22–. М., 1974–1995–.

А.Ф. Журавлев

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Статьи, посвященные памяти академика Никиты Ильича Толстого, будут публиковаться и в следующем номере журнала.

CONTENTS

O.N. Trubačev (Moscow). My recollections about Nikita Illych Tolstoy; N.I. Tolstoy. Slavia Orthodoxa and Slavia Latina – the general and the different in the literary-linguistic situation (preliminary evaluations); V.L. Yanin, A.A. Zaliznyak (Moscow). The birch charters from the Novgorod excavations of 1996; E.E. Babaeva, A.F. Žuravlev, I.I. Makeeva (Moscow). On the project of "The historical dictionary of contemporary Russian"; V.G. Gak (Moscow). Typology of analytical verbal forms in Slavonic languages (irradiation and concatenation); N.D. Arutiunova (Moscow). On shame and frost; T.I. Vendina (Moscow). On the problem of the central and marginal areas of Slavia; A.A. Plotnikova (Moscow). A semantic approach to the description of terminology in South Slavonic ritual ceremonies; V.B. Krys'ko (Moscow). Verba pretii in the history of Russian and other Slavonic languages; E.V. Padučeva (Moscow). The genitive case of the subject: syntax or semantics?; O.A. Lapteva (Moscow). On the formal and functional patterning of colloquial syntax; T.A. Mixailova (Moscow). On the "grammar" of exorcism (the verbal magic in Old Irish poetic tradition); T.V. Toporova (Moscow). Indo-European parallels of Old Germanic exorcisms; N.A. Zamiatina (Moscow). From the history of the icon inscriptions research; **From the history of science:** G.F. Blagova (Moscow). Periodization of the literary Turkic languages in the archive works of Academician A.N. Samoilovič; A. Samoilovič. On the Middle Asian-Tirkish literary language and its relation to other Turkic languages. Petrograd 1917; **Reviews:** A.V. Yudin (Odessa). Slavonic antiquities: an ethnolinguistic dictionary in five volumes; V.V. Usačeva (Moscow). *Laszlo Dezsö*. Butheness writings of the Ruthenes in the XVII–XVIII centuries; Dictionary, analysis, texts; T.I. Vendina (Moscow). Lexical atlas of the Byelorussian folk dialects (volumes 1–5); V.M. Mokienko (St.-Petersburg). A dictionary of Russian folk dialects of Karelia and neighboring regions; A.V. Žuravlev (Moscow). The Novgorod regional dictionary.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.12.96 Подписано к печати 07.02.97 Формат бумаги $70\times100^{1}/_{16}$

Офсетная печать Усл.печ.л. 15,6 Усл.кр.-отт. 28,3 тыс. Уч.-изд.л. 18,5 Бум.л. 6,0

Тираж 1789 экз. Зак. 985

Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 201-74-42

Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6